ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (11)

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ■ 1923 ■ ПЕТРОГРАД

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
М. Горький. Автобиографические рассказы	3
Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер. Стихи	44
Алексей Толстой. „Аэлита“. Роман (продолжение)	52
С. Обрадович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов. Стихи	92
Николай Огнев. „Евразия“. Повесть	101
Всев. Иванов. „Голубые пески“. Роман (продолжение)	127
А. С. Мартынов. Мои украинские впечатления и размышления	146
Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая	177
В. Смирнов. Наше денежное обращение и пути его оздоровления	189
С. Членов. Современный Берлин (Впечатления)	201
И. Майский. Демократическая контр-революция (продолжение)	214
Внутри Сов. России.	
Вяч. Шишков. „С котомкой“ (окончание)	235
За рубежом.	
М. Павлович. Рурские события и угроза будущей войны	259
П. Китайгородский. Власть нефти	269
Н. Бухарин. По скучной дороге. (Ответ моим критикам)	275
Литературные края.	
А. Воронский. Литературные заметки	290
М. Левидов. Организованное упрощение культуры	306
В. Кряжин. История одного отречения	319
Библиография.	
Рецензии *Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Шанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.* и др.	328
Объявления	353

Главлит. Москва. № 5417. 10.000 экз.

„Мосполиграф". 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Автобиографические рассказы.

I. Время Короленко.

М. Горький.

...Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю,—в этот год я призывался в солдаты.

Часть пути—по ночам—ехал с кондукторами товарных поездов на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб, по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани—по Оке—свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому,—Софья Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия, вообще, изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены,—очень красивое время года, но несколько неудобно для путешествия пешком, а особенно—в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я, почему-то, не понравился и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник,—человечишко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами,—возложил на меня обязанность кормить спутников моих, на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай.

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще—в то время—чувствовал себя малограмотным—но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь. Я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой и нелегкой жизни. Я был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, что правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь—кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной, Николай Елпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно упорно задумался над чем-то.

— Может быть, и так,—говорил он, выбивая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть, и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение—мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это—и моя сердечная симпатия к нему—внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани,—где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова. Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке светлые шерстинки разной длины, на угловатом черепе—прямые давно немытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо сложенного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался,—над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

— Допустимо, но—я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слышать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку.

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю»—можно об'яснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта—я и Анатолий—отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными, больше чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так—вот. Я должен итти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали междоусобную брань,—обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонии в Симбирской губернии,—быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне.—Может быть, это подойдет вам?

Но убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора Тверской и Смоленской артелей, а затем—сотрудника «Православного Обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения,—за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»,—что мне очень не понравилось,—культура—та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон Литературы»; умный, широко образованный старик, целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я, в ту пору, несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

... Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал «Сон Макара»,—рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаз в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов,—а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом,—одна из забавных шуток странной русской жизни.

Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое—из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как печальное изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите. Хорошие стихи—приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то же время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер,—печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне—я не расслышал.
Только сказала ты нежное что-то...

Он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал,—грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но—симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его—талантливая пианистка, а сам он—морфинист. Он был организатором и председателем «Технического Общества» в Нижнем, оспаривал, на заседаниях этого общества, значение кустарных промыслов и—открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий

губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон в клетках прыгали чижы, щеглята, снигири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга»...

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер?—брюзгливо говорил он.—Вы—не еврей, не поляк. Вот,—вы пишете, ну, что же? Вот, когда я выпущу вас,—покажите ваши рукописи Короленко,—знакомы с ним? Нет? это—серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом,—в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, заговорил:

— Это—медали в память исторических событий и лиц. Вот взятие Бастилии, а это—в память победы Нельсона под Абукиром,—историю Франции знаете? Это—об'единение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани—смотрите, как прекрасно сделано. Это—Кювье,—значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенснэ, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство,—ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружечков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв—со вздохом— витрину, он спросил меня: люблю ли я певчих птиц? Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура!—Замечательная птица! И,—вообще,—птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с Богом... Да,—вспомнил он,—вам учиться надо, ну, там—писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И—не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И—вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

... Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой ад'ютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского?—Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой,—следил за вашими успехами в литературе и, нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам,—конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

... В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом—расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Не задолго до призыва я познакомился с офицером-топографом—Паскиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир, работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом,—маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то не слаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле—пустыню. Горы,—это хаос, пустыня—гармония!

И прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит,—сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты.— Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены,—я вам все устрою.

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается,—вы политически неблагонадежны; тут ничего нельзя сделать.

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство!

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в Московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

... Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода,—я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов—в пышных шапках снега, скворешни—в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком,—по колени—плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои об'яснения, причины визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И—не громко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь? В Вятке? Ага...

В маленькой, угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду—простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня—мне было неловко.

— Тут у вас написано—«зизгаг». это... очевидно, описка, такого слова нет. есть—зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко—человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли,—да? Вы жили с ним в это время?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил, между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас!—неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил:—Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубоватого окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом,—оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова,—должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это—бывает.

Я сказал, что—знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишите: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»... Раз—так,—не годится. Это—неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак,—вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы и она не столько величественна, как неприлична,—сказал Короленко улыбаясь. Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского; это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного—бежать от срама... Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, автором тяжеловесных рассказов, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов, и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство—не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но—ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Дрягин — милый и умный— принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности,—но—надо писать с натуры, не философствуя. Потом—у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но—это хорошо! А о стихах он сказал—это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи—ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо,—кажется, о «круговращении» жизни,—не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял:—что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил...

И—стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали—в лучшем случае—только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком, солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о запросах народа и обязанностях интеллигенции, о гнилой заразе капитализма, который никогда—никогда!—не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И—вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем—почти два года—ничего не писал. А—иногда—очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был Н. Н. Златовратский,—о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко.

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара»—это, разумеется, очень выдвигало его. Но—в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет,—говорили о нем—от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г.—кажется Л. И. Богданович—написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха!—немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но однако довольно влиятельный среди молодежи.—Оп-писание физиологического акта рождения,—дело специальной литер-ратуры и тараканы тут не при чем. Он п-подражает Толстому, этот К-короленко...

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности,—говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта, весьма обычная, история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец» умер в тюрьме; его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее; один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка,—был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском Вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые могут быть чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще и дешевле, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов,—В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале Земского собрания, за крестным ходом, всюду,—нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев, А. А. Савельев, председатель земской управы Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех, какие мне известны; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержащую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом трезвых философов», иногда члены кружка читали интересные рефераты,—я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии»,—каковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского... К «трезвым» «философам» примыкали земские статистики Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни,—каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного Каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев,—обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, — да Короленки боится. Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал

за делами,—на губернатора-то не надеются. Короленко этот уж подсек дворян—слыхал? [1]).

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в Бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лжи».

— Ты, мил-друг, не тоскуй,—скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест.

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью—казалось, что вот сейчас расправятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу, помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил-друг—сей минут божья думка душе моей коснулась,—скоро, значит, Господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга.

— Молчок!—сказал он важно и радостно.—Не говори—знаю!

В четверг его убила лошадь.

... Не преувеличивая можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»—впрочем, это уже не однажды было сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней—убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь; «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу,—рассказывал он мне,—приходит племянник Семен, тот—знаешь?—в ссылке который,—он тогда студент был,—желаете, говорит, книжку почитаю? И, вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо. Ведь как человек человека пожалеть может. С этого часа и повернуло меня. Позвал кума-приятеля, вот, говорю, сукин ты сын,—прочитай-ко. Тот прочитал,—богохульство—говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду,—разругались навсегда. А у него—векселя мои были, и начал он меня подсиживать. Ну—мне, уж, все равно, дела я свои забросил,—душа отказалась от них. Об'явили меня банкротом, почти три

---

[1]) Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как „аглицком королевиче“ суть „интеллигентная легенда“. В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем-Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в Нижегородском краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от Балахнинского плотника.

года в остроге сидел. Сижу—думаю: будет дурить. Выпустили из острога,—я, сейчас, к нему, Короленке,—учи. А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому... «Вот как»,—говорю. «Очень хорошо,—говорит,—вполне правильно». Так-то брат! А Горинов откуда ума достал. Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит.

Я высоко ценю рассказы такого рода, они об'ясняют, какими, иногда, путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки темные и казались странно выпуклыми, точно бусины.—Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку,—Зарубин обжаловал действие полиции, в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной»,—тогда старик поехал в Петербург, в Сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний, и принес указ в редакцию «Нижегородского Листка», предлагая опубликовать. Но, по распоряжению губернатора, цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты,—он всем говорил «ты»,—ты, что же, друг, законы не признаешь? Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна,—Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели,—какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович.

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством и хотя некоторые называли «фокусником», но—большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес,—все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 901 году меня посадили в тюрьму,—Зарубин, тогда еще не знакомый со мною,—пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы—родственник арестованного?—спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю—каков!

— Вы не имеете права на свидание.

— А—ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный,—людьми вы правите, а Евангелие не знаете? Но у прокурора было свое Евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех—нередких—русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее,—когда терять уже нечего—становятся «праволюбами», являясь в сущности только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу,—да и по результатам—слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец, и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту он пожаловался мне:

— Не умен, не силен, не догадлив народ, мы, купечество, еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся,—земщики эти ваши, земцы, Короленки—пастыри. Короленко—особо неприятный господин; с виду—простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время—почти три года—значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору, Баранову, «влияние на деятельность земства»,—все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека.

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения», или «Красного креста»,—вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он, наверняка, израсходует свою энергию по мелочам. Жаль,—это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее—равной.

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе и—напрасно. Он—типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя, как художника, хотя именно его качества реформатора должны были—в соединении с талантом—дать ему больше уверенности и смелости, в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором, между прочим, а не прежде всего...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе»,—человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно—тем ценно было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо—как уже сказано—решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка чель-

ком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня—я хорошо видел это—начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили,—на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

— Почему вы спокойны?

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях»,—новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий,—впоследствии врач во Франции, в Орлеане—человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития—от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать—наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму,—весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало, приблизительно, так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса,—значит: дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою и все чаще—молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом»,—в эксцессе их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героекомическое, но меня увлекал их романтизм—точнее—социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят—нет на земле; на ней терпеливо живет

близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, торопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более островраждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной,—в этом кипении идеи я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминал жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар,—«закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа,—я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня;—как небрежно груженое судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался—как многие—говорить суровым басом, это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди—чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова не ясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой и особенно равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным—добрым, бескорыстным, красивым—до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека—человеком. Но—все-

таки я был душевно голоден и одуряющий яд книг не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и, порою, я кричал:

— *Шире бери!*

— Держи карман шире!—иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на «Откосе», высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев—реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако, как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал—испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете,—сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем. Как живете? что делаете?

После нескольких незначительных фраз, он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве, он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но—хорошо помню—более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в летнем легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и, при этом, еще заботился о «сокращении потребностей»—питался, в течение нескольких недель, одним сахаром, с'едая его по две осьмых фунта в день,—не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небывалого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину, в полноте недоступную никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук,—он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней,—существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый в облаке душного серого

дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения—вредны,—неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами,—вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

— Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?

Он доказал ей, что Короленко—вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература—он ее не читал—«пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и, наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении—и, конечно, красиво—бросилась на диван, возгласив жалобно:

— *Господи, это же не человек, а—дурная погода!*

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю—выбрать, потому что мне кажется теперь их не вырабатывают, а именно—выбирают. Вот, быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой... Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка об'яснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений,—сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но—по существу, все, что он говорил о марксизме было уже—в других словах—знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А—почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился—так ему было удобнее смотреть в лицо мне—и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом не мало верного. Вы наблюдаете хорошо.

И—усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И, как-то особенно крепко, он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это—дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость,—а прежде всего, конечно, в тюрьму,—все это—самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее—это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и этим сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни,—но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда, для того чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться.—А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы,—обращайте больше внимания на достоинства. Подсчет недостатков увлекают всех нас,—это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек,— однако он сделал великое дело—выступил защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, это великий подвиг. Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима—справедливость. Когда она, накопляясь понемногу маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя—вносите в жизнь справедливость,—вот как я думаю.

Он, видимо, устал,—он говорил очень долго,—сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно или—рано,—светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он—версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же, пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я—серьезно думаю—кажется, у вас есть способности... Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но—вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь—надолго, разошлись...

II. В. Г. Короленко.

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса,—В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский Вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г.—или Г—ий,—их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще боле прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже»—ну, вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы—упрямый, все аллегории пишете? Что же,—и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство—не дурное качество...

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода—выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но—любопытно. Говорят—вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти три года почти! И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет»—он очень понравился мне и красотой, и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал—на мой взгляд—изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед затем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками и, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом—спиться с круга, «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне—это очень смущало меня. Порою, он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю—мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин,—этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком,—на-те вам в оплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони,—должно быть, от весел или топора,—он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды,—они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они—бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они—злые люди. Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и—кому бы на шею сесть?

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня сразу, открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них,—продолжал Короленко.—Богатого языка люди! Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града»—это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми. Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной твердости этого человека.

— На Волыни и в Подольи—не были? Там—красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским,—он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные—не мудрые—сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется—он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное и, как будто, он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, Господи? и всегда боится: не так.

— Странно слышать это,—задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпывает этнография,—нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня—почва, на которой мы все растем и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почв надо так же осторожно, как и энергично. Вот я, летом, беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество—прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете—я могу писать?—спросил я.

— Конечно!—воскликнул он несколько удивленно.—Ведь вы уже пишете, печатаетесь,—чего же? Захотите посоветоваться—несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который, после жаркого дня и великой усталости, выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но— почему-то—я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески—просто, не стесняясь ни с чем, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две, я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее»

и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку:

«Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики,—сказал он, потрясая топором,—нет, это я полки в чулане устраивал. Но—некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свеже выпеченным хлебом.

— Всю ночь—писал, а после обеда уснул, проснулся—чувствую: надо повозиться!

Он был непохож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с,—начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему,—прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской,—я бы сказал барышне:—недурно, а—все-таки выходите замуж. Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки,—это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизм. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви—болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что!

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они—оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но—все-таки и снова—аллегория. Не доведут они вас до добра. Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь! Это—романтизм, а он—давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист. В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным,—нет, не так?

— Возможно.

— Ага! вот видите! Я же говорю: мы кое-что знаем о вас. Но—это недопустимо, личное—изгоняйте! Разумею—узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза,—я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте,—можно говорить с вами запросто? Знаю я вас—мало, слышу о вас—много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали.

По-моему вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, не глупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо.

— Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините!

Он начал шутить, потом, вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован! Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске. Что он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

— Неугомонный человек,—задумчиво сказал В. Г.—Теперь—снова сошлют его куда-нибудь. Что он—здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это—не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело—хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие—больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать,—мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком,—все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать не мало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толку эта компания поумневших.

Подразумевался, популярный в то время, рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел»,—о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы—демократ, вам нечего учиться у генералов, вы—сын народа!—внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа; это чувство, от времени, усиливалось и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это—мне кричали:

— Вот видите, вы уже заразились!

Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива—водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «в дребезги» напоить меня, но не мог понять—зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное—пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите—просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его об'ектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в Бога верует,—говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой»: находили, что это—«этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника,—взят из «Нравов Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеремонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но—зачем же, именно, папуаса? И—почему—только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда?—удивленно спросил он.—А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красные и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа»,—это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы,—он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае это—было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг, задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще—не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо. Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе»,—там, где описан дождь,—не то стихи, не то ритмическая проза. Это—нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется,—это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу,—сказал он в ответ на мою благодарность.—Нас—не много! И всем нам—трудно!

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали,—правда, что в деле Натансона, Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощанника. Вытащить ее было легко,—она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было—бесцветное, неумное существо, с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом, она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше, я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто—милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят,—она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики..

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал:

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато!—О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А, вообще, вы хорошо рассказываете. Вот что,—попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале,—и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно!

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит—пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша»,—рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева, написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и, сердечно, как только он умел делать, поздравил меня:

— Вы написали недурную вещь. Даже, прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувства,—это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист.

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но, в то же время—романтик! И, вот что,—вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу...

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас много, мяса—нет, курите—не нужно, без удовольствия,—что это с вами?

— Не знаю.

— А—пьете много,—есть слух.

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько, не плохо сделанных, сплетен обо мне.

Потом, памятно, сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его—на всякий случай—бьют по голове,—это изречение одного студента Петровца.—Ну, так пустяки—в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском Богатстве» да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал.—хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости, и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью,—навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами,—в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке—ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте,—не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару? Там у

меня есть знакомый в «Самарской газете»—хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей,—главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне—уехать из города несколько обижали, но, в то же время, его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и—чужой вы во всей этой фантастике. Нет, вы послушайте меня!— Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом Иегудиил Хламида, Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но—всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай: мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию—Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы и таким образом обыватель получал в виде премии к покупке своей, поларшина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но—архиерей являлся особенно выдающейся фигурой, он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов; по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные,—это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса. Разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб, оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать—откуда они взяли идолов? Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока

следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и—только.

Одним словом—я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии—Скукин—слово—сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати—о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, — допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные; уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я—земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который—помните?—произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим.

Я вежливо осведомился—кто больше возбуждает гордость его—предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он запал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на своё место. Будучи болен и, потому, сердит,—я заметил, что плохо понимаю гордость человека, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить,—Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас—творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак,—вы утверждаете... А между тем, нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него, на стол загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим,—на позор мой,—освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано: —

— Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину.

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

— Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?

Шесть лет,—с 95 по 901 год,—я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно вполголоса сказал товарищу:

— Гляди—Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол,—в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало»,—среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц,—и, вероятно, как все молодые люди, только что ошарашенные славой,—я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника; его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и—только сознайся!—они великодушно простят тебя. Но—в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

— Ага-а!

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруеши?—пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся; но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество—а, может быть, это метод исследования?—выражается очень разнообразно, главным же образом—в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда—опрокинуть что-нибудь и, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд—рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо—не дешево стоило ему Мультанское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье,—едем вместе?

Сел за стол, против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман—трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности—нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки и спросил:

— Что же вы—стали марксистом?

Когда я сказал, что—близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Не ясно мне это. Социализм без идеализма для меня—непонятен. И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город—интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят—Москва своеобразнее,—не знаю. На мой взгляд—ее своеобразие—какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе. Здесь—декабристы, Петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев,—вставил я.

— Марксисты,—добавил В. Г., усмехаясь.—И всякое иное заострение прогрессивной, т.-е. революционной, мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите. Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте—московский все-таки!

Он сразу, нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом,—на другой же день по приезде в Петербург, я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова: редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция—разрешение.

На другой день, по приезде моем в Петербург, ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участие Поссе в чествовании Чернышевского, ибо «Поссе—человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплоатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако—не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплоатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил с большою семьей впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но—он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли»,—молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей, мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов, другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но—на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ об этой канители и, юмористически грустно, сказал:

— Вот,—пригласят читать, а выйдешь на эстраду—схватят, снимут с тебя штаны и—выпорют.

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю,—мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его,—не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

III. О вреде философии

... Я давно уж почувствовал необходимость понять—как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и—

в сущности—очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса; эта книга показалась мне скучной,—я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой «Нерукотворенного Спаса». Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то угрюмо, не то—насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, умник, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин—весьма вкусное лакомство, а главное—полезен, укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор—суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей. Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе зубы, все они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что—намеренно или нечаянно—отравился в 901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89—90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато-забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании. Помню—мы взяли в земской управе какую-то счетную работу,—она давала нам рубль в день,—и вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито-гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь—смотрите там».

Сто двадцать три
И двадцять два—
Сто сорок пять
Сто сорок пять!—

Поет десять минут, полчаса, еще поет,—теноришко его звучит все более гнусно. Наконец—прошу:

— Перестань.

Он смотрит на стенные часы и—говорит:

— У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Аллилуйю» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра...

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему: «Гегель и Сведенборг». Гегелева феноменология духа воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли Кавказским хребтом, он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется—Николай, сожалея, ответил:

— Не могу, брат, не сумею об'яснить тебе это, уж очень суемудрая штука. Ты—не поймешь. Но, знаешь ли,—забавнейшая история.

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением говорил мне о «мистике разумного». Я, действительно, ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

— Это, брат, так же интересно, как семячки подсолнуха грызть, и—приблизительно—так же полезно.

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

— Ага, требуется философия, превосходно. Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

— Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса.

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем густо обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника, густо разраслись, закрыв дорожки тысячью цепких веток; по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

— Будем философствовать,—говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища. Он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал—«подожди»—и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд; небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна доносился старческий кашель.

— Вот что, брат,—заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос,—тебе следует отнестись ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто,—забыл кто именно,—весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это—еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

— Ты—человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уж чувствуешь: свобода мысли—единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

— Все, что я сказал тебе—вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь. Я—рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

— Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же, не считаясь с фактами—творить фантазии. В стороне от этого—под, над этим—Бог. Но—Бог—это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но—я его не хочу. Видишь—как нехорошо я думаю. Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они—в положении чертей, которым надоел грязный ад, но не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

— Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но не знаем — то ли, так ли мы думаем, как надо. А ты—и в это не верь! Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью,—я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв

друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута! Вероятно—одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни. Эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем—человек жаден. Это одно из его достоинств, но—по недоразумению, а, вернее, по лицемерию—оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

— Спасибо, Николай!

— Пустяки.

Я пошел.

— Слушай-ка,—весело и четко прозвучал голос Николая,—в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан. Так он говорит:—Истина—это только мышление о ней.—Ну, иди. До завтра.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел на небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном лирическом настроении,—вот передо мною открываются «врата великих тайн»!

Но на другой день Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на-бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьв, точно огромные пауки, а ветки и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы,—вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного

сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

— Ты уснул? Не слушаешь?

— Больше не могу.

— Почему?

Я об'яснил.

— У тебя, брат, слишком разнузданное воображение,—сказал он, закуривая папиросу.—Это не очень похвально. Ну, что ж, пойдем гулять?

Пошли на «Откос», по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром,—это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха,—и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на «Откосе», глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд и—вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или—по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку, и вот—сейчас она низринется на землю.

Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной,—все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток,—чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглу-

шающим звоном,—от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот—все на земле превратилось в столб зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди—я, один на четыре вечности. Именно—на четыре, я видел эти вечности,—огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я Бога,—это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах,—благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога—пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечье ухо,—обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине,—вырастает и—слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее «Откоса» и отводил домой, ласково уговаривая:

— Засэм гуляйш больной? Больной—лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался,—это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время, как скучный голос,—неведомо чей—шептал, напоминая тихий шум дождя:

— Черти делятся на различные категории, но общая цель всех—помогать людям в поисках несчастий.

— Это—ложь!—кричал я, озлобляясь.—Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей и—вот он у меня в комнате. Он—круглый, как мыльный пузырь, без рук; вместо лица у него—циферблат часов, а стрелки из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что

это—муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека,—толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

— Вон!—кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену,—это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопать дверьми, не беспокоить спящих, вылезаю в сад,—там сижу до утра.

Утром, за чаем хозяйка говорит:

— А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

В ту пору я работал как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

— Вы—с ума сошли! Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедля переписать,—сегодня истекает срок подачи. Удивительно!—Если это—шутка, то—плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

— Ночь бесконечно длится.
Муке моей нет меры!
Если б умел я молиться!
Если бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона; я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

— Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете,—такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет, и похудели вы ужасно.

— Бессонница,—сказал я.

— Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади ломового извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

— Анафема!

Или вот на скамье бульвара, у стены Кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:

— Бога нет!

Она удивленно, обиженно воскликнет:

— Как? А—я?

Тотчас превратится в крылатое существо и улетит,—вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога нет, но я хорошу вижу, каковы будут последствия моей искренности,—я, как можно скорее, стороной, почти бегом—ухожу.

Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, — убеждаешься, что оно существует.

Земля — очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, — оставаясь темной, — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, — оно длится секунды.

Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, — наверное, применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал:

— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, — это будет полезно.

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне.

— Я кое-что слышал о вас, и—прошу извинить, если это не понравится вам — вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышле-

нием. Все, что вы читали, видели, — возбуждало у вас фантазию, а она — совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но — на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано — хорошо. Сначала — изучить, потом — противоречить, — так и надо.

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого черта:

— А—бабеночка очень полезна для вас.

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал — от крестьян — трагикомическую историю ее разрушения.

(Продолжение следует).

Свистун.

1.

Заткала цветами весна подоплеку—
Вот сяду на кочку и буду свистать.
Я знаю, я знаю, что солнце высоко.
Я знаю, что солнце с земли не достать.

Хотя и сказал мне ученый калека,
Что солнце глотает горячую медь,
Я думаю, можно его человеку
Соломенной шляпой на череп одеть.

Какое мне дело до книжных теорий,
Когда я в душе натуральный мужик.
По-моему, братцы, поповский Егорий
Был самый высокий из всех большевик.

Лишь в сказке, лишь в сказке летают медведи
И водятся зайцы в зеленом песке.
Да если б была там хоть капелька меди,
Ведь солнце давно б утонуло в реке.

2.

Однажды возил я у барина просо:
Шутя зарабатывал луку мешок,—
Из заслинки леса в зубах с папиросой
Профессор Ключевский ко мне подошел.

Заводит со мной по душам он беседу.
Не знаешь ли, дескать, какой это князь
Крестил твоего без'языкого деда,
Когда он в Днепре полоскался, как язь?

— Владимир,—сказал я, снимаючи шапку.
— А как его бабушку звали, Илья?
Какое мне дело до княжеской бабки,
Когда у меня еще жива своя.

— Учился ты, барин, годов, поди, восемь.
Историю знаешь, как лошадь хомут.
У князевой бабки сотлели все кости.
Скажи, если умен, мою, как зовут?

— Не знаю, не знаю,—бормочет профессор:
— Ведь я со старухой твоей незнаком...
Целуется солнце с березовым лесом;
Моргает, чтоб сдал я профессора в лом.

Не верьте ж, ребята, ученым пророкам.
На солнце всего лишь—седьмая верста...
Заткала цветами весна подоплеку.
Вот сяду на кочку и буду свистать.

Дм. Земляк.

Где-то под Ачинском.

Сосна да пихта. Лес да лес,
Да на опушке горсть домишек,
А поезд в гору лез да лез,
Разгромыхав лесные тиши.

А поезд—мерно лязг да лязг —
Все лез да лез, да резал кручи,
С тишайшим лесом поделясь
Железной песней—самой лучшей.

Сосна да пихта. Шесть утра.
В красноармейском эшелоне
Еще горнист не шел играть —
Будить бойцов и эти лона.

Был эшелон как эшелон:
Семь сотен красной молодежи,
Которой солнце бить челом
Неслось небесным бездорожьем;

Которой—след горячих дней
Был по ноге, костюм—по росту
И так же шел, суровый, к ней,
Как горным высям чистый воздух;

Которой—путь сиял таков,
Что мерять пафос брали версты...
Был эшелон—семьсот штыков:
Семьсот штыков—одно упорство.

Сосна да пихта. Сонь да тишь.
Да в этой сони горсть домишек,
Таких, что сразу не найти,
Таких, что даже тиши тише.

И вдруг—горнист. И вдруг—рожок.
И вдруг,—как пламя на пожаре,—
Басок дневального обжог:
— Вставай, вставай, вставай, товарищ!

П. Незнамов.

Век.

Век мой, зверь мой—кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь—строительница—хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли
Снова в жертву, как ягненка.
Темя жизни принесли.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкой,
На следы своих же лап.

О. Мандельштам.

Феодосия.

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя —
Оно пропало—больше не вернется.
А в переулочках чуть свечерело,
Пиликают согнувшись музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улице несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло—шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук без головы—стремленье,
Цырюльника летающая скрипка
И месмерический утюг—явленье
Небесных прачек—тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие, в чолках,
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда,
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

О. Мандельштам.

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит;
Все космато—люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха;
В суматохе бабочка летает,
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки,
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвредика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
И румяные затопленные печи
Словно розы римских базилик.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна.
Из блаженного певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала
— Ты вернешься на зеленые луга,
И живая ласточка упала
На горячие снега.

О. Мандельштам.

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка—
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно—
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет—
Это черный шелк горит,
Но черемуха услышит
И на дне морском простит.

Потому, что смерть невинна
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

О. Мандельштам.

Поцелуй же напоследок
Руки и уста.
Ты уедешь, я уеду —
В разные места.

И меж нами тем синее,
Чем далече ты,
Расползутся, точно змеи,
Горные хребты.

И, за русскою границей
Обрывая бег,
Разметаются косицы
Белокурых рек.

И от северного быта
Устремляясь вниз,
Будешь есть не наше жито,
А чужой маис.

И когда, и сонный чуток,
Ты уснешь впотьмах,
Будет разница в пол-суток
На моих часах.

Запоют москиты злые,
Зашумит гроза,
Поцелуешь ты косые
Черные глаза.

Но хотя бы обнял тыщи
Девушек, любя,
Ты второй, как я, не сыщешь
Пары для себя.

И плывя в края иные
По морской воде,
Ты второй такой России
Не найдешь нигде.

Вера Инбер.

Аэлита.

(Закат Марса).

Роман.

Алексей Толстой.

(Продолжение).

Первый рассказ Аэлиты.

Тума, то есть Марс, двадцать тысячелетий тому назад был населен Аолами—оранжевой расой. Дикие племена Аолов,—охотники и пожиратели гигантских пауков,—жили в экваторьяльных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих племен. Другая часть Аолов населяла южные заливы большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж. До сих пор там еще видны холмы из рыбьих костей.

Третья часть Аолов селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разводили длинношерстых хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл.

Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азора, появился необыкновенный шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазира, и, когда ему минуло тринадцать лет, спустился в селения Азоры, ходил из города в город и говорил так:

«Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве сына неба. Он был велик ростом, его лицо было, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходят свет и безумие. Я испугался и упал ниц, и лежал долго, как мертвый. Я слышал, как сын неба взял мой посох и погнал моих хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему: из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы остаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню.

Сын неба ударял посохом в камень и выступала вода. Хаши и я пили эту воду. И сын неба сказал мне — будь моим рабом. Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи, и они были горькими».

Так говорил пастух жителям на рынках городов. И он говорил еще:

«Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая когда придет гибель. Но уже хищный *ихи* распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного *ча* горят сквозь голубую заросль. Бойтесь. У вас нет столь острых мечей, чтобы поразить зло, у вас нет столь крепких стен, чтобы от него оттородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от всемогущего зла. Я вижу — небо раскрывается и злой сын неба падает в наши селенья. Глаз его, как красный огонь Талцетл».

Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще:

«Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль — стань тенью, и нос ча не услышит запаха твоей крови. Когда ихи падает из розового облака—стань тенью, и глаза ихи напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун, — олло и литха, — ночью злой паук, *цитли*, оплетает паутиной твою хижину—стань тенью, и цитли не поймает тебя. Стань тенью для зла, бедный сын тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу, закопай свою ненависть под порогом хижины. Иди к великому гейзеру *Соам* и омойся. И ты станешь невидимым злому сыну неба, — напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».

Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним на круглое озеро, к великому гейзеру *Соам*.

Там, иные из приходивших спрашивали: «Как можно закопать зло под порогом хижины?». Иные говорили: «Мы не можем закопать зла, потому что мы обижены соседями». Иные сердились и кричали пастуху: «Ты обманываешь, — обиженные и нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами». Иные сговаривались: «Отведем безумного пастуха на скалу и бросим его в горячее озеро, — пусть сам станет тенью».

Слыша это, пастух брал *уллу*, деревянную дудку, в низу которой на треугольнике были натянуты струны, садился среди сердитых, раздраженных и недоумевающих, и начинал играть и петь. Играл он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада, и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое зло под порогом хижины. Многие шли к озеру и купались.

Три года учил пастух. На четвертое лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по селеньям и говорил: «Не касайтесь порога, бойтесь зла в себе, больше смерти бойтесь потерять чистоту». Его слушали и были такие, которые не захотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро.

Ученье пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улла. Но

было так же, что вожди иных племен казнили смертью поклонявшихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот, настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано:

«Сорок дней и сорок ночей падали на туму сыны неба. Звезда Талцетл всходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из сынов неба падали мертвыми, многие убивались о скалы, тонули в южном океане, но многие достигли поверхности тумы и были живы».

Так рассказывает летопись о великом переселении Магацитлов, то-есть одного из племен земной расы, погибшей от потопа двадцать тысячелетий тому назад.

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца, аппаратах, пользуясь для движения растительной силой семян. Они владели ею так же, как вы владеете силой распадения материи. В продолжение сорока дней они покидали землю.

Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве, множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка.

Летопись говорит:

«Они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У сынов неба были желтые и плоские лица. Туловища их и колени покрывал бронзовый панцырь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке сын неба держал короткий меч, в правой свиток с письменами, которые погубили бедные и невежественные народы тумы».

Таковы были Магацитлы, свирепое и могущественное племя. На земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом Ста Золотых Ворот. Они знали Высшую Мудрость, но употребляли ее во зло, потому что были злы.

Они пошли в селения Аолов, и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хаши на равнины, и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тогда они сказали Аолам—итти на равнину, рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.

Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска Аолов вышли на равнину и покрыли ее, как туча.

Пришельцев было мало. Но они призвали на помощь стихии природы. Началась буря, задрожали горы и равнины, выступил из берегов южный океан. Молнии падали с неба. Деревья и камни носились по воздуху, и громче грома раздавались голоса Магацитлов, читавших заклинания.

Аолы гибли, как трава от снежной бури.

Пришельцы поражали их мечами и наводили помрачения: войска Аолов сражались между собой, принимая друг друга за врагов. Пылали селения. Разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин.

Пауки оплетали опустевшие хижины. Пожиратели трупов — ихи — разжирели и не могли летать. Многие тогда видели призрак: на закате солнца поднималась из-за края тумы тень человека, — ноги его были расставлены, руки раскинуты, волосы на голове, как пламя. Наставал конец мира.

Тогда вспомнили пророчество: «Стань тенью для зла, бедный сын тумы, и кровавый глаз сына неба напрасно пронзит твою тень». Много Аолов пошло к великому гейзеру Соам и там они старались очиститься. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях, очищающую от зла, песню уллы. Многие делились друг с другом имуществом. Прощали обиды. Искали в себе и друг в друге доброе, и с песнями и слезами радости приветствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в Пастуха построили Священный Порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняло Порог. Желающий очиститься проходил через огонь. Это был суровый и возвышенный век.

Войска Аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков. Стали рабами остатки рыбарей-поморов. Но Магацитлы не трогали верующих в Пастуха, не касались Священного Порога, не приближались к гейзеру Соам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки—песню уллы.

Так минуло много кровавых и печальных лет.

У пришельцев не было женщин, — завоеватели должны были умереть. не оставив потомства. И вот, в горах, где скрывались Аолы, появился вестник, — прекрасный лицом Магацитл. Он был без шлема и меча. В руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням Священного Порога и стал говорить Аолам, собравшимся от всех ущелий:

«Моя голова открыта, моя грудь обнажена, — поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы — могущественны. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу, называемую млечным путем. Мы покорили туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и большие каналы, дабы собирать полые воды и орошать доныне бесплодные равнины тумы. Мы построим большой город Саоцера; что значит Солнечное Селенье, мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим от них племя и оно населит материки тумы. Идите к нам и помогите нам строить».

Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к порогу. Глаза его были закрыты. И все видели на лбу его — третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленной.

Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимою мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам.

Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собой стада хаши и ведя женщин, детей и девственниц. У Аолов не было страха, потому что души их стали кроткими, взоры сильными и сердца мужествен-

ными. В горах они познали блаженство столь высокое, что не было теперь зла, которое могло бы помрачить его.

Магацитлы взяли девственниц Аолов и родили от них голубое племя Гор. Тогда же начаты были постройкою шестнадцать гигантских цирков Ро, куда собиралась вода во время таянья снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены. Из пепла возникли новые селения Аолов. Поля давали пышный урожай.

Были возведены стены Саоцеры. Во время постройки цирков и стен Магацитлы употребляли гигантские под'емные машины, приводившиеся в движение растительной силой семян. Силою заклинаний Магацитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое знание в книги — цветными пятнами и звездными знаками.

Когда умер последний пришелец с земли — с ним ушло и Тайное Знание. Лишь через двадцать тысячелетий мы, потомки племени Гор, снова прочли книги Атлантов.

Случайное открытие.

В сумерки Гусев, от нечего делать, пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно — для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, лестниц, комнат, укутанных коврами, пустынных зал, галлерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал:

«Богато живут, черти, богато, но скучно».

В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал, сыпал птичьими словами, бранил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее, на плите, вспыхивало масляное пламя над сковородами. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бранившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину кухни:

— Чад у вас, чад, чад, — сказал им Гусев по-русски, — колпак над плитой устройте. Эх, а еще марсияне!

Пальцами он сделал им какие-то, самому себе непонятные знаки, и вышел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, — закурил.

Внизу поляны, на опушке, мальчик пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда, среди высокой травы, по тропинке шла к дому женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке, на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмахиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол. Она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалила белые, веселые зубы.

Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было — Иха, племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая девушка.

Она живо пробежала мимо Гусева, — только сморщила нос в его сторону. Гусев приноровился было дать ей сзади леща, но воздержался. Сидел, курил, поджидал.

Действительно, Ихошка скоро опять явилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от «сына неба» и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски. — Дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь.

Иха ответила ему, и Гусев, будто сквозь сон, понял ее слова:

— В школе я учила священную историю, там говорилось, что Сыны Неба — злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем Сыны Неба не злые.

— Да, добрые, — сказал Гусев, прищурив один глаз.

Иха подавилась смехом, кожура шибко летела у нее из-под ножика.

— Мой дядя говорит, будто вы, Сыны Неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого не замечаю.

— Неужели? А чего же вы замечаете?

— Слушайте, вы мне отвечайте по-нашему, — сказала Ихошка, — а по-вашему я не понимаю.

— А по-вашему у меня — говорить — не складно выходит.

— Чего вы сказали? — Иха положила ножик, до того ее распирало от смеха.—По-моему — у вас на Красной Звезде — все то же самое.

Тогда Гусев кашлянул, придвинулся ближе. Иха взяла корзинку и отодвинулась. Гусев кашлянул и еще придвинулся. Она сказала:

— Одежду протрете — по ступенькам елозить.

Может быть Иха сказала это, как-нибудь, по другому, но Гусев, именно, так и понял.

— Да-с, мамзель, — разговорец у нас выходит магнитный.

Гусев сидел совсем близко. Ихошка коротко вздохнула. Нагнула голову и сильнее вздохнула. Тогда Гусев быстро оглянулся по сторонам и взял Ихошку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась. Но он, очень крепко, поцеловал ее в рот. Иха, изо всей мочи, прижала к себе корзинку и ножик. Так-то, Ихошка. — Она вскочила, убежала.

Гусев остался сидеть, пощипывая усики. Усмехался. Солнце закатилось. Высыпали звезды. К самым ступенькам подкрался какой-то длинный, мохнатый зверек и глядел на Гусева фосфорическими глазами. Гусев пошевелился, — зверек зашипел, исчез тенью.

«Да, пустяки эти надо, все-таки, оставить», — сказал Гусев. Одернул пояс и пошел в дом. В коридоре, сейчас же, мотнулась перед ним Ихошка. Он пальцем поманил ее, и они пошли по коридору. Гусев, морщась от напряжения, заговорил по-марсиански:

— Ты, Ихошка, так и знай: если что — я на тебе женюсь. Ты меня слушайся. (Иха повернулась к стене лицом, — уткнулась. Он оттащил ее от стены, крепко взял под руку.) Погоди носом соваться — я еще не женился. Слушай, я, Сын Неба, приехал сюда не для пустяков. У меня пред-

полагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь новый, порядков не знаю. Ты мне должна помогать. Только, смотри, не ври. Вот что ты мне скажи, — кто такой наш хозяин?

— Наш хозяин, — ответила Иха, с усилием вслушиваясь в странную речь Гусева, — наш хозяин — властелин надо всеми странами Тумы.

— Вот тебе здравствуй. — Гусев остановился. — Врешь? —. Поскреби за ухом. — Как же он официально называется? Король, что ли, или богдыхан? Должность его какая?

— Зовут его Тускуб. Он — отец Аэлиты. Он — глава Верховного Совета.

— Так.

Гусев шел некоторое время молча.

— Вот что, Ихошка: в той комнате, я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи, как оно соединяется.

Они вошли в узкую, полутемную комнату, уставленную низкими креслами. В стене белелось туманное зеркало. Гусев повалился в кресло, поближе к экрану. Иха спросила:

— Что хотел бы видеть Сын Неба?

— Покажи мне город.

— Сейчас ночь: работа повсюду окончена, фабрики и магазины закрыты, площади пустые. Быть может—зрелища?

— Показывай зрелище.

Иха воткнула включатели в цифровую доску и, держа конец длинного шнура, отошла к креслу, где Сын Неба сидел, вытянув ноги.

— Народное гуляние, — сказала Иха и дернула за шнур.

Раздался сильный шум, — угрюмый, тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась непомерная перспектива сводчатых, стеклянных крыш. Широкие снопы света упирались в огромные плакаты, в надписи, в клубы курящегося, многоцветного дыма. Внизу кишели головы, головы, головы. Кое где, как летучие мыши, вверх — вниз, пролетали крылатые фигуры. Стеклянные своды, перекрещивающиеся лучи света, водовороты бесчисленных голов — уходили в глубину, терялись в пыльной, дымной мгле.

— Что они делают? — закричал Гусев, надрывая голос, — так велик был шум.

— Они дышат драгоценным дымом. Вы видите клубы дыма? — это курятся листья *Хавры*. Это драгоценный дым. Он называется дымом бессмертия. Кто вдыхает его — видит необыкновенные вещи: — кажется, будто никогда не умрешь, — такие чудеса можно видеть и понимать. Многие слышат звук уллы. Никто не имеет права курить Хавру у себя на дому, — за это наказываются смертью. Только Верховный Совет разрешает курение, только двенадцать раз в году, в этом дому, зажигаются листья *Хавры*.

— А те—вон—что делают?

— Они вертят цифровые колеса: они угадывают цифры. Сегодня каждый может загадать число,—тот, кто отгадает, навсегда освобождается от ра-

боты. Верховный Совет дарит ему прекрасный дом, поле, десять хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье угадать.

Об'ясняя, Иха присела на подлокотник кресла. Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Она попыталась выпростаться, но затихла,—сидела смирно.Гусев много дивился на чудеса в туманном зеркале.—Ах, черти, ах, безобразники!—Затем попросил показать еще чего-нибудь.

Иха слезла с кресла и, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доски,—не попадала включателями в дырки. Когда же вернулась к креслу и опять села на подлокотник,—вертя в руке шарик от шнура,—личико у нее было слегка одурелое. Гусев, снизу вверх, поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас.

— Тебе, девка, совсем замуж пора,—сказал ей Гусев по-русски.

Ихошка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладить ее по спине, чувствительной, как у кошки.

— Ах ты, моя славная, красивая, синяя.

— Глядите—вот еще интересное,—проговорила она совсем слабо и дернула за шнур.

Половину озарившегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно произносивший слова. Спина качнулась, отодвинулась с поля зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине упирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Внизу, вокруг стола, сидели, опустив головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречали корабль с людьми.

Перед столом, покрытом парчей, стоял отец Аэлиты, Тускуб. Тонкие губы его двигались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был как каменный. Тусклые, мрачные глаза глядели неподвижно перед собой, прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот, он повторил несколько раз,—Талцетл,—и опустил, как бы поражая ножом, руку со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин, с широким бледным лицом, поднялся и бешено, белесыми, бешеными глазами глядя на Тускуба, крикнул:

— Не они, а ты!

Ихошка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела и не слышала,—большая рука Сына Неба поглаживала ее спину. Когда в зеркале раздался крик, и Гусев несколько раз повторил:—О чем, о чем они говорят?—Ихошка точно проснулась:—разинула рот, уставилась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур.

Зеркало погасло.

— Я ошиблась... Я нечаянно соединила... Ни один шохо не смеет слушать тайны Совета.—У Ихошки стучали зубы. Она запустила пальцы в рыжие волосы и шептала в отчаянии.—Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега.

— Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу.—Гусев привалил ее к себе, и гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихошка затихла, закрыла глаза.

— Ах дура, ах—девчонка. Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.

Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Ихошка подобрала ноги, свертывалась клубочком. Глаза у нее светились, как у давешнего зверка, зубки раскрылись. Гусеву стало жутковато.

В это время послышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихошка слезла с кресла и не твердо пошла к двери.

Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал:

— Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил—зеркало соединять, и наткнулись мы, как раз, на заседание Верховного Совета. Кое-что я понял. Надо меры принимать,—убьют они нас, Мстислав Сергеевич, поверьте мне,—этим кончится.

Лось слушал и не слышал,—мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову:

— Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушите ка свет.

Гусев постоял, проговорил мрачно:—Так.—И ушел спать.

Утро Аэлиты.

Аэлита проснулась рано, и лежала облокотившись о подушки. Ее широкая, открытая со всех сторон, постель стояла, по обычаю, посреди спальни на возвышении, устланном коврами. Шатер потолка переходил в высокий, мраморный колодезь,—оттуда падал рассеянный, утренний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке,—столб света опускался лишь на снежные простыни, на подушечки, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты.

Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходили перед ее закрытыми глазами. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей и рассматривающей утомительные картины и в полузабытьи думала:—какие напрасные видения.

Когда утренним солнцем озарился колодец, и свет лег на постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем и сейчас лежала неподвижно. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень, очень не хорошо.

«Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно, давно прожитое. Тревога крови—возврат в ущелья, к стадам, к кострам. Весенний ветер, тревога и зарождение. Рожать, растить существа для смерти, хоронить,—и снова—тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни».

Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми, но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, пошарила ногами туфли, накинула на голые плечи халатик и пошла в ванную,—разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн.

На нижней ступени она остановилась,—было приятно стоять в зное солнечного света, входящего сквозь узкое окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду—и там увидела свое отражение,

луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна.

Купанье освежило ее. Мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом,—так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.

Аэлита присела у туалетного зеркала, привела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем—цветочной эссенцией лицо, шею и руки, исподлобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску.

В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет: книжные шкафы, картограммы и чертежи на деревянных, стоящих призмах, стол, заваленный бумагами. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи, и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных, тонких губ:

— Как спала, Аэлита?

— Хорошо. В доме—все хорошо.

— Что делают Сыны Неба?

— Они покойны и довольны. Они еще спят.

— Продолжаешь с ними уроки языка?

— Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.

— У них еще нет желания покинуть мой дом?

— Нет, нет, о нет.

Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза Тускуба дрогнули изумлением. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал:

— Я не понимаю тебя.

— Что ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя...

Аэлита не договорила,—лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца.

— Это ужасно,—проговорила она,—это будет ужасно.—Она поднялась стремительно, но уронила руки и села. Смутная тревога сильнее овладела ею. Аэлита облокотилась о предзеркалье, положила щеку на ладонь. Тревога шумела в крови, бежала ознобом. Как это было плохо, напрасно.

Помимо воли, встало перед ней, как сон этой ночи, лицо Сына Неба,— крупное, со снежными волосами,—взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем земли, влагой земли,—жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие дух глаза.

Аэлита подняла голову, встряхнула кудрями. Сердце страшно, глухо билось. Медленно нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки.

В туманном зеркале появилась, дремлющая в кресле, среди множества

подушек, сморщенная фигурка старичка. Свет из окошечка падал на его руки, лежавшие поверх мохнатого одеяла.

Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран, и улыбнулся беззубо.

— Что скажешь, дитя мое?

— Учитель, у меня тревога,—сказала Аэлита,—ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.

— Тебя смущает Сын Неба?

— Да. Меня смущает в нем то, чего я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был в ярости. Я чувствую—у них там борьба. Я боюсь, как бы Совет не принял ужасного решения. Помоги.

— Ты только что сказала, что Сын Неба смущает тебя. Будет лучше его убрать совсем?

— Нет.—Аэлита поднялась, краска крови залила ей лицо. Старичок под ее взглядом насупился.

— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита,—проговорил он суховато,—в твоих мыслях двойственность и противоречие.

— Да, я чувствую это.—Аэлита села.

— Вот, лучшее доказательство неправоты. Высшая мысль—ясна, бесстрастна и не противоречива. Я сделаю так, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже—страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.

— Я буду надеяться.

— Успокойся, Аэлита, и будь внимательна. Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок,—красная тьма,—это—жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении...

— Учитель, он смущает меня иным.

— Каким бы возвышенным чувством он ни смутил,—в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего,—этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания, перестанет быть,—вот счастье. Холодная печаль. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро—катиться с горы, но под'ем медленен и труден. Будь мудра.

Аэлита слушала, голова ее наклонилась.

— Учитель,—вдруг сказала она, губы ее задрожали, глаза налились тоской,—Сын Неба говорил, что на земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это—я не поняла. Но оттого у меня и тревога. Вчера мы были на озере, взошла красная звезда, он указал на нее рукой и сказал: «На ней была принесена великая жертва. Она окружена туманом любви. Люди, познающие Любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.

Старичок хмурился, жевал ртом.

— Хорошо,—сказал он, и пальцы его затрепетали по одеялу,—пусть Сын

Неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего—не тревожь меня. Буть осторожна.

Зеркало погасло. Стало тихо в туалетной комнате. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя—внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл, сухую лапку чудесного зверка *Индри*, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты.

Аэлита вздохнула, и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него: большой, добрый, дорогой. Ей стало мягко сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверка и сказала:

— Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте.

Второй рассказ Аэлиты

— Вот, что мы прочли в цветных книгах,—сказала Аэлита.

На семь народов делилась раса Атлантов. Народы, различные по цвету кожи, населяли разные части земли. Цивилизация, развиваясь, переходила от племени к племени. Переходы эти сопровождались потрясениями расы, потому что властвующие не могли без борьбы уступить власти над миром, но старость и вырождение принуждали их к этому.

Центром мира, в те времена, был город Ста Золотых Ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе молодые племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но отрава ее была жива, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенный свежей кровью победителей. Проходили столетия и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом.

Первыми основателями города Ста Золотых Ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла южное полушарие. Центр ее цивилизации погиб во время столкновения земли с осколками кометы Пто. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились. Но, все же, в крови негров текло воспоминание великого прошлого.

Люди Земзе были огромной силы и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством: на расстоянии они могли чувствовать присутствие, форму и сущность вещей, подобно тому, как магнит ощущает присутствие другого магнита,—хотя их глаза были почти слепыми. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов.

Спасаясь от ядовитой мухи *гох*, племя Земзе вышло из тропических лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками. Здесь

было много плодов и дичи, в горах—золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки — красивы и лишены губительных лихорадок.

Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей, и навалили из камней высокую пирамиду, в знак того, что это место—прочно. На верху пирамиды они поставили столб с пучком перьев птицы *клитли,* покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц.

На запад от плоскогорья бродили дикие, краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врагов и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по тихим рекам и собирали с краснокожих дань.

Потомки Земзе украсили город круглыми, каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали превосходные одежды из шерсти, и умели записывать мысли посредством изображения предметов,—это знание они вынесли в крови, как древнее воспоминание исчезнувшей цивилизации. Они были богаты, предавались праздности и созерцанию предметов и мыслей.

Прошли столетия. И вот, на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в прерии, влекомый инстинктом. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город.

Потомки Земзе употребили для защиты все знание: поражали врагов безумием, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бумерангами. Но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру об'явил себя вождем мира. Он велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стáли служить победителям.

Красные быстро усвоили знания, обычаи и искусства Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администраторов и завоевателей. Таинственная способность чувствовать природу вещей—передалась поколениям.

Военачальники династии Уру расширили владения: на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и Конго, по скалистому побережью средиземного океана, плескавшего там, где ныне— пустыня Сахары, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Атлантида называлась тогда—Хамаган.

Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны сто ворот, обложенных золотыми листами. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными, горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, когда они вошли в город. Но вот, прошло не более поколения, и наука и торговля города Ста Зо-

лютых Ворот оказались в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя «сыны Аама».

Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм Спящей Головы Негра и стали привлекать к себе людей,—исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших. Так началась династия Иерофантов.

Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена, и подняли, одновременно— на окраинах земли и в самом городе, восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Иерофанты овладели властью.

С этим временем совпал первый толчек земли. Во многих местах, среди гор, вырвалось пламя и пеплом заволокло небо. Большие пространства на юге атлантического материка опустились в океан. На севере поднялись с морского дна скалистые острова и соединились с сушей: так образовались очертания европейской равнины.

Всю силу власти Иерофанты направили на создание культа среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру и отпавших. Но сыны Аама не любили войны. Они снаряжали корабли, украшенные головой спящего негра, нагружали их пряностями, тканями, золотом и слоновой костью. Посвященные в культ, под видом купцов и знахарей, проникали на кораблях в дальние страны. Они торговали и лечили заговорами и заклинаниями больных и увечных. Для охраны товаров они строили в каждой стране большой, в форме пирамиды, дом, куда переносили голову спящего. Так утверждался культ. Если народ возмущался против пришельцев, с корабля сходил отряд краснокожих, закованных в бронзу, со щитами, украшенными перьями, в высоких шлемах, наводящих ужас.

Так снова расширялись и укреплялись владения Атлантиды. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй, великий город—Птитлигуа. Торговые корабли Атлантов плавали на восток, до Индии, где еще властвовала черная раса. На восточном побережьи Азии они впервые увидели гигантов с желтыми и плоскими лицами. Эти люди бросали большие камни в их корабли.

Культ спящей головы был открытым для всех,—это было главным орудием силы и власти, но смысл, внутреннее содержание культа, Иерофанты хранили в величайшей тайне. Они выращивали зерно мудрости Земзе, и были еще в самом начале того пути, который привел к гибели всю расу.

Они говорили так:

«Истинный мир—невидим, неосязуем, неслышим, не имеет вкуса и запаха. Истинный мир есть движение разума. Начальная и конечная цель этого движения не постигаема. Разум есть материя, более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая материя, разум впадает в некоторый сон, то-есть становится более замедленным, что называется—воплощением разума в вещество. По степени глубины сна разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в землю. Из этих четырех стихий образуется видимый

мир. Вещь есть временное сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобно круглой молнии, в которую уплотняется грозовой воздух.

«В кристалле разум находится в совершенном покое. В звездном пространстве разум—в совершенном движении. Человек есть мост между этими двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его—солнце, его глаза—звезды, его голова—чаша с краями, простирающимися во вселенную.

«Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движение. Он управляет ими силой, исходящей из его тела, подобно тому, как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда».

Так говорили Иерофанты, сыны Аама. Простой народ не понимал их учения. Иные поклонялись животным, иные—теням умерших, иные—идолам, иные—ночным шорохам, грому и молнии, или—яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со множеством этих суеверий.

Тогда Иерофанты поняли, что нужно ввести ясный и понятный, единый для всех культ. Они стали строить огромные, украшенные золотом, храмы и посвящать их солнцу,—отцу и владыке жизни, гневному и животворному, умирающему и вновь рождающемуся.

Культ солнца скоро охватил всю землю. Верующими было пролито много человеческой крови. На крайнем западе, среди красных, солнце приняло образ змея, покрытого перьями. На крайнем востоке, где была примесь негритянской крови, солнце—владыка теней умерших — приняло образ человека с птичьей головой.

В центре мира, в городе Ста Золотых Ворот, была построена уступчатая пирамида, столь высокая, что облака дымились на вершине ее,—туда перенесли Голову Спящего. У подножия пирамиды, на площади был поставлен золотой, крылатый бык, с человеческим лицом, со львиными лапами. Под ним, неугасаемо, горел огонь. В дни равноденствий, в присутствии народа, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обнаженных женщин,—верховный жрец, Сын Солнца, великий правитель, умерщвлял красивейшего из юношей города и сжигал его в чреве быка. Так Иерофанты утоляли первобытную потребность народа к кровавым, религиозным зрелищам.

Сын Солнца был неограниченный владыка города и стран. Он строил плотины и проводил орошения, раздавал из магазинов одежду и питание, назначал кому сколько нужно земли и скота. Многочисленные чиновники были исполнителями его повелений. Никто не мог говорить:—«это мое», потому что все принадлежало Солнцу. Труд был священен. Леность наказывалась смертью. Весною сын Солнца первый выходил в поле и на четырех быках пропахивал борозду, сеял зерна маиса.

Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли Атлантов с пурпуровыми парусами, украшенными изображением змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир. Люди забывали, как в руке держится меч.

И вот, над Атлантидой нависла туча с востока.

На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицое, с раскосыми глазами, сильное племя Учкуров. Они принадлежали к народу Шумиры,—к четвертому из семи великих народов. Учкуры были угрюмы, свирепы и безумны. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась—Су Хутам Лу, что значило—«говорящая с луной».

Она сказала Учкурам:

«Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе, там текут реки из кумыса, там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. В этой стране небо золотое и земля голубая. Там еще не ступали ваши кони и вы еще не зачерпывали шлемом воды из рек».

Учкуры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные, кочевые племена желтолицых Шумиров,—покорили их, и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Су Хутам Лу».

Поклонявшиеся звездам желтолицые Шумиры были мечтательны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница Учкуров, нападая, сражаясь, и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разлились по восточной, европейской равнине.

Там многие остались на берегах озер. Сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережьи Средиземного моря они разрушили первую колонию Атлантов и от побежденных узнали—где лежит страна солнца. Здесь Су Хутам Лу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили их к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее, вдоль моря. Так они дошли до края Европы и вот, с высоты гор, увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда безумные Учкуры впервые спустились с плоскогорья—прошло сто лет.

Кочевники стали рубить леса и вязали плоты. На плотах они переправились через соленую, теплую реку, омывающую с далекого севера берега Европы. Ступив за заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола;—звон был так приятен, что желтолицые не стали разрушать города, не истребили жителей, не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солнце.

Наконец, кочевникам преградило путь войско краснокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница Учкуров истребила их. С этого дня желтолицые услышали запах крови Атлантов и не были более милостивыми.

Из города Ста Золотых Ворот послали гонцов на запад к красным, на юг, к неграм, на восток к племенам Аама, на север, к циклопам. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах храмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались ис-

ступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, раскидывали сокровища.

Иерофанты, мудрецы и посвященные готовились к великому испытанию, уносили в глубину гор, в пещеры, зарывали в землю книги Великого Знания.

Началась война. Участь ее была предрешена: Атланты могли только защищать пресытившее их богатство, у кочевников была священная жадность и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась. Наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город Ста Золотых Ворот был взят приступом и стены его разрушены. Сын Солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах храмов. Немногие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Тысячелетняя цивилизация погибла.

Среди разрушенных дворцов великого города, на площадях, поросших травой, бродили овцы, и желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля—голубая и небо—золотое.

Кочевники спрашивали своих вождей: «Куда нам еще итти?». Вожди говорили им: «Мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно». Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше на запад, в страну Перистого Змея, но там их истребил повелитель Птитлигуа. Иные из кочевников проникли к экватору, и там уничтожили их негры, стада слонов и болотные лихорадки.

Учкуры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать разрушенные жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры, мудрецов и посвященных и сказал им: «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы, и повсюду послал гонцов с вестью, что хочет мира.

Таково было начало третьей, самой высокой, волны цивилизации Атлантов. В кровь многочисленных племен,—черных, красных, оливковых и белых,—влилась мечтательная, бродящая, как хмель, кровь азиатских номадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Су Хутам Лу.

Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли остались лишь песни и предания. Появлялось новое племя сильных сложением, черноволосых, желто смуглых людей. Учкуры, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они называли себя Атланда, что значило—«выходцы из степей». От этого имени, впоследствии, появилось общее название для всей страны—Атлантида, тогда как до этого времени она называлась различными именами воплощений солнца.

Атланды любили науки, искусства и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями, выложили золотом двадцать один уступ гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонну. В Атландах был дух строительства и дух великой тревоги.

Они искали утоления тревоги в завоеваниях. Снова были покорены отпавшие страны и города. На севере они воевали с циклопами,—уцелевшими от смешения, одичавшими потомками племени Земзе. Великий завоеватель, Рама, дошел до Индии и в долгих войнах уничтожил владычество черных. Он соединил младенческие племена Арийцев, принадлежавших к седьмому из семи народов расы, в царство Ра. Так, еще раз, раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды,—от страны Перистого Змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда, некогда, желтолицые великаны бросали камни в корабли.

Тревожная душа Атландов искала исхода в Знании. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие «семь папирусов Спящего». С этого открытия начинает быстро развиваться Знание. То, чего не было у сынов Аама,—бессознательной, творческой силы, то, чего не было у сынов племени Земзе,—ясного и острого разума,—в изобилии текло в тревожной и страстной крови племени Атланда.

Основа нового знания была такова:

«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил,—материя чистого разума. Подобно тому, как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель,—так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знания. Сила устремленного знания безгранична».

Наука знания разделялась на две части:—подготовительную,—развитие тела, воли и ума, и основную,—познавание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой.

Полное овладение Знанием, расцвет небывалой еще на земле и до сих пор не повторенной культуры продолжался столетие, между 450 и 350 годами до Потопа, то есть до гибели Атлантиды.

На земле был всеобщий мир. Силы земли, вызванные к жизни Знанием, обильно и роскошно служили людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легок. Народ вспоминал старые обычаи и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван *золотым.*

В то время на восточном рубеже земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии,—символ тайны спящего разума. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемуров на острове Тихого океана.

В черные племена, до этого времени теснимые в тропические болота, проник свет Знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройкою гигантские города в центральной Африке.

Зерно мудрости Земзе дало полное и пышное цветение. Но вот, мудрейшие из посвященных в Знание стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первородный грех. Дальнейшее развитие Знания должно привести к гибели: человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост.

Первородное зло было в том, что бытие,—жизнь земли и существ,—постигалось, как нечто, выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Человек был сущностью, мир—плодом его разума, его воли, его сновидения, или бреда. Бытие лишь—сознание человека,. Сущего, Я.

Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, истинное Я, все остальное—мир, люди,—лишь его представление. Дальнейшее было неизбежно: борьба за истинное Я, за единственную личность, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна,—презрение и отвращение к бытию, как к злому призраку.

Таково было начальное зло мудрости Земзе.

Знание раскололось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они назвали себя Черными, так как Знание шло от черных.

Другие, признавшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении Разума от природности,—стали искать противодействия злу. Они говорили: «Солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли:—вот основной закон жизни. Таково же движение мирового Разума:—нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех, — одиночество Разума,—может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата—пол. Падение Разума совершается силою Эроса.

Так утверждавшие называли себя Белыми, потому что носили полотняную тиару,—знак Эроса. Они создали весенний праздник—мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма солнца.. Девственный юноша представлял Разум, женщина—врата смертной плоти, змей—Эроса. Из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелища.

Раскол между двумя путями Знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие,—найдена возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила,—гремучая, огненно-холодная материя,—освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводившие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам.

Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных и кротких сердцем и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие, горные пастбища, где переселенцы могли жить первобытно и созерцательно.

Опасения белых подтверждались. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более пресыщенную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которою овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными.

И вот, настали последние дни. Начались они с большого бедствия: цен-

тральная область города Ста Золотых Ворот была потрясена подземным толчком, много земли опустилось на дно океана, морские волны отделили навсегда страну Перистого Змея.

Черные обвинили Белых в том, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился. Черные устроили ночное избиение в городе,—более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью, остальные бежали за пределы Атлантиды, многие ушли в Индию.

Властью в городе Ста Золотых Ворот овладели богатейшие из граждан черного ордена, называвшиеся Магацитлами, что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума». Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они об'явили по всей земле праздники и игрища, раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу, распахнули двери храмов для всех, жаждущих противоестественных наслаждений, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда.

Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, исступленного вином, плясками, едой, женщинами—появились Магацитлы. Они были в высоких шлемах, в панцырных поясах, без щитов. Правою рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным, разрушающим пламенем, левою рукою погружали меч в пьяных и безумных.

Оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо.

На утро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать землю. Они улетали в звездное пространство, в родину абстрактного разума. Несколько сотен аппаратов улетело. Раздался четвертый, еще более сильный, толчок земли. С севера поднялась из пепельной мглы океанская волна, и пошла по земле, уничтожая все живое.

Началась буря, молнии падали в землю, в жилища. Хлынул ливень, летели осколки вулканических камней.

За оплотом стен великого города, с вершины уступчатой, обложенной золотом, пирамиды Магацитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды, из дыма и пепла в звездное пространство. Три под-ряд толчка раскололи землю Атлантиды. Город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.

Гусев наблюдает город.

Иха совсем одурела. Чего бы ни просил ее Гусев,—тотчас исполняла, глядела на него матоватыми глазами. И смешно, и жалко. Гусев обращался с ней строго, но справедливо. Когда Ихошка совсем изнемогала от переполнения чувствами, — он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за

ухом, рассказывал сказку про попа,—как попа обманула попадья с Петрилой, работником.

Ихошка сказки не понимала, глядела в лицо потемневшими глазами.

Гвоздем засел у Гусева план—удрать в город. Здесь было, как в мышеловке: ни оборониться, в случае чего, ни убежать. Опасность же грозила им серьезная,—в этом Гусев не сомневался. Разговоры с Лосем ни к чему не вели. Лось только морщился,—весь свет ему закрыло подолом Тускубовой дочки.

«Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют,—не нам с вами бояться смерти, а то,—сидели бы в Петербурге—чего безопаснее?»

Гусев велел Ихошке унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, двукрылой, видимо, быстролетной лодочкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик,—уместить его можно было в кармане,—питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой в присутствии электрической искры. Электрическую энергию аппарат получил во время полета из воздуха,—так как марс был окутан магнитным полем, его посылали станции на полюсах. Об этом рассказывала еще Аэлита.

Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок нетрудно было сорвать рукой.

Затем, он решил взять под контроль город Соацеру. Иха научила его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран, в доме Тускуба, можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым.

Гусев обследовал весь город: площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманной стене:

Кирпичные, низкие залы фабрик, неживой свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно крутящиеся шкивы, станки, сутулые фигуры, точные движения работы:—все это старое, вековое, муравьиное.

Появлялись прямые и чистые улицы рабочих кварталов; те же унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Тысячелетней скукой веяло от этих кирпичных, подметенных, один как один, коридоров. Здесь уже ни на что не надеялись.

Появлялись центральные площади:—уступчатые дома, ползучая, пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины, посреди улицы—столики, узкие вазы, полные цветов. Двигающаяся водоворотами нарядная толпа, столики, хрусталь, пестрые халаты мужчин, треплющиеся от ветра скатерти, женские платья,—отражались в паркетной, зеленоватой мостовой. Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, сверкали капли воды на зелени, на цветах.

В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом—почувствовал носом, что, кроме этих двух сторон, здесь есть еще и третья,—подпольная, подполье. Действительно, по бо-

гатым улицам города, в парках, — повсюду,—шаталось большое количество неряшливо одетых, испитых, молодых марсиан. Шатались без дела, заложив руки в карманы,—поглядывали. Гусев думал:—«Эге, эти штуки мы тоже видали».

Ихошка все ему подробно об'ясняла. На одно только не соглашалась,— соединить экран с Домом Совета. В ужасе трясла рыжими волосами, складывала руки:

— Не просите меня, сын неба, лучше убейте меня, дорогой сын неба.

Однажды, день на четырнадцатый, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур.

В зеркальной стене появилась странная картина: на центральной площади—озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат,—шел треугольником, как страшные куклы, с каменными лицами. Далее—на торговой улице,—бегущая толпа, свалка, и какой-то марсианин, вылетевший из драки винтом на мышиных крыльях. В парке те же встревоженные кучки шептунов. На одной из крупнейших фабрик гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица.

В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс Ихошку за плечи:—«В чем дело?». Она молчала, глядела матовыми, влюбленными глазами.

Тускуб.

Неуловимая тревога облаком лихорадки легла на город. Бормотали, мигали зеркальные телефоны. На улицах, на площадях, в парках шептались кучки марсиан. Ждали событий, поглядывали на небо. Говорили, что где-то горят склады сушеного кактуса. В полдень в городе открыли водопроводные краны и вода иссякла в них, но не надолго... Многие слышали на юго-западе отдаленный взрыв. В домах заклеивали стекла бумажками—крест на крест.

Тревога шла из центра по городу, из дома Совета Инженеров. Говорили о пошатнувшейся власти Тускуба, предстоящих переменах. Тревожное возбуждение прорезывалось, как искрой, слухами:

«Ночью погаснет свет».

«Остановят полярные станции».

«Исчезнет магнитное поле».

«В подвалах Дома Советов арестованы какие-то личности».

На окраинах города, на фабриках, в рабочих поселках, в общественных магазинах—слухи эти воспринимались по иному. О причине их возникновения здесь, видимо, знали больше. С тревожным злорадством говорили, что, будто бы, гигантский цирк, номер одиннадцатый, взорван подземными рабочими, что агенты правительства ищут повсюду склады оружия, что Тускуб стягивает войска в Соацеру.

К полудню, почти повсюду, прекратилась работа. Собирались большие толпы, ожидали событий, поглядывали на неизвестно откуда появившихся многозначительных, молодых марсиан, с заложенными в карманы руками.

В середине дня над городом пролетели правительственные лодки, и дождь белых афишек посыпался с неба на улицы. Правительство предостерегало население от злостных слухов:—их распускали анархисты, враги народа. Говорилось, что власть никогда еще не была так сильна, преисполнена решимости.

Город затих ненадолго, и снова поползли слухи, один страшнее другого. Достоверно знали только одно: сегодня вечером в доме Совета Инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Соацеры—инженером Гором.

К вечеру толпы народа набили огромную площадь перед домом Совета. Солдаты охраняли лестницу, входы и крышу. Холодный ветер нагнал туман, в мокрых облаках раскачивались фонари красноватыми, расплывающимися сияниями. Неясной пирамидой уходили в мглу мрачные стены дома. Все окна его были освещены.

Под тяжелыми сводами, в круглой зале, на скамьях амфитеатра сидели члены Совета. Лица всех были внимательны и настороженны. В стене, высоко над полом, проходили быстро одна за другой, в туманном зеркале, картины города: внутренность фабрик, перекрестки, с перебегающими в тумане фигурами, очертания водяных цирков, электро-магнитных башен, однообразные, пустынные здания складов, охраняемые солдатами. Экран непрерывно соединялся со всеми контрольными зеркалами в городе. Вот, появилась площадь перед домом Совета,—океан голов, застилаемый клочьями тумана, широкие сияния фонарей. Своды зала наполнились зловещим ропотом толпы.

Тонкий свист отвлек внимание присутствующих. Экран погас. Перед амфитеатром на возвышение, покрытое парчей, взошел Тускуб. Он был бледен, спокоен и мрачен.

— В городе волнение,—сказал Тускуб,—город возбужден слухом о том, что сегодня *мне* здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Таковое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Необходимо раз и навсегда уничтожить причину подобной возбуждаемости. Я знаю, среди нас есть присутствующие, которые нынче же ночью разнесут по городу мои слова. Я говорю открыто: город охвачен анархией. По сведениям моих агентов в городе и стране нет достаточных мускулов для сопротивления. Мы накануне гибели мира.

Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся.

— Сила, разрушающая мировой порядок,—анархия—идет из города. Лаборатория для приготовления пьяниц, воров, убийц, свирепых сладострастников, опустошенных душ,—вот город. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувств—растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и болезненные удовольствия. *Дым хавры,*—вот душа города: дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот, женщины, сделанные из кружев, духов и грима,—полуживые существа, оглушающие сладострастников. Афиши и огненные рекламы, вселяющие несбыточные надежды. Вот

город. Покой души сгорает в пепел. Ее желание одно,—жажда. Она жаждет насытить пепел души влагой. Эта влага—всегда кровь. Скука, скука,—вы видите—пыльные коридоры, с пыльным светом, где бредут сожженные души, зевая от скуки. Скуку утоляет только кровь.

Город приготовляет анархическую личность. Ее воля, ее жажда, ее пафос—разрушение. Думают, что анархия—свобода, нет,—анархия жаждет только анархии. Долг государства бороться с этими разрушителями,—таков закон жизни. Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на борьбу с анархией. Мы об'являем беспощадную войну. Меры охраны—лишь временное средство: неизбежно должен настать час, когда полиция откроет свое уязвимое место. В то время, когда мы вдвое увеличиваем число агентов полиции—анархисты увеличиваются в четыре раза. Мы должны первые перейти в наступление. Мы должны разрушить и уничтожить город.

Половина амфитеатра вскочила на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели.

— Город неизбежно, так или иначе будет разрушен, мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну,—по ту сторону гор Лизиазира,—покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее—велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность миру—умереть спокойно и торжественно.

— Что он говорит?—испуганными птицами, хриплыми голосами закричали на скамьях.

— Почему нам нужно умирать?

— Он сошел с ума!

— Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб заставил утихнуть амфитеатр:

— История марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет столетие и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить смерть. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое, основное:—мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все, теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор,—тот широколицый, молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале. Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба:

— Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает под землей, у кого душа выпита фабричными стенами, кто в

праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от скуки, кто с остервенением, ища забвения, глотает дым проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе,—пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтоб жить. Мы знаем смертельную опасность,—вырождение марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет земля,—люди с земли, полудикари, здоровая, свежая раса. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с земли. Ты боишься сынов неба. Ты силен только среди слабых, полоумных, одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью,—ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархистов, ты сейчас придумал это, потрясающее умы, разрушение города. Тебе самому нужна кровь,—напиться, ты призрак. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ...

...Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения.—Тускуб, тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза...

. . . .

...Не заставишь... Не замолчу!..—Гор захрипел.—Я знаю—ты посвящен в древнюю чертовщину... Я не боюсь твоих глаз...

...Гор, с трудом, широкой ладонью отер пот со лба. Вздохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову в руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

— Надеяться на переселенцев с земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдание, потому что, неизбежно, станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации—мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнины марса огласились криками войны? Чтобы снова наполнять наши города опустошенными душами и сумасшедшими?

Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру,—гнездо анархии и безумных надежд,—здесь, здесь родился этот преступный план—сношения с землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которую они так жаждут.

Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле,—мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам право жить, наконец, праздно, тихо и созерца-

телям. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может даже—срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий. потому что мы будем жить в счастьи и покое.

Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось розовыми пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове.

...Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения. Так же,—протянув руки, растопырив пальцы,—повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

— Хорошо. Смерть? Пусть—смерть.

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра. Раздались свирепые крики. Вдруг, зазвенело, посыпалось стекло.

Лось остается один.

— Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали горячие, веселые искорки. Нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс.

— В лодку я уж все уложил: провизию, оружие. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана,—невидяще глядел на Гусева. Вот уже больше двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался,—в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными, верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем — все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой: она входит,—женщина, жизнь.

— Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич, чего уставились? Говорю—летим, все готово. Я вас хочу Марскомом об'явить. Дело—чистое.

Лось опустил голову,—так впивался глазами Гусев. Спросил тихо:

— Что происходит в городе?

— Чорт их разберет. На улицах народу—тучи, рев. Окна бьют.

— Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию,

назначайте меня комиссаром, если будет нужно—расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас,—оставьте меня в покое. Согласны?

— Ладно,—сказал Гусев,—эх, от них весь беспорядок, мухи их залягай,—на седьмое небо улети и там—баба. Тфу. В полночь вернусь. Ихошка посмотрит, чтобы доносу на меня не было.

Гусев ушел. Лось опять взял книгу, и думал:

«Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то немыслимый свет?—Не радость, не печаль, не сон, не жажда, не утоление... То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним,—именно—принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Он чувствует,—оно древнее, издревле поднявшееся пустым призраком, вопящее голосами всей вселенной:—жить, жить, жить. И жизнь входит в него по зеркальному полу, под сияющими окнами. Но это, ведь, тоже—сон. Пусть случится то, чего он жаждет: соединение. И жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна влагой, светом, осуществлением, трепетной плотью. А ему—снова:—томление, одиночество, жажда».

Никогда еще Лось с такою ясностью не чувствовал безнадежную жажду любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя—женщиной:—проклятие мужского существа. Раскрыть об'ятие, распахнуть руки от звезды до звезды,—ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец,—как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.

Аэлита была права: он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни,—сын земли. Но разум определил его на тысячи лет: здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и, не насыщенный живой кровью, зазиял ледяной пустотой. Что раскрыл его разум?—пустыню, и там, за пределом, новые тайны.

Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза, в горячем луче солнца, понять хоть краюшек мудрости человеческой,—и птица упадет мертвая. Мудрость, мудрость,—будь проклята: неживая пустыня.

За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем, в библиотеку просунулась голова Ихи,—позвала к столу. Лось поспешно пошел в столовую,—белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала:

— Вы будете обедать один, сын неба,—и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами.

Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся,—только щипал хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола,—над столом,—раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти.

Из глубины купола лились два голоса,—струнный и духовой: сходились,

сплетались, пели о необычайном. На высоких, замирающих звуках они расходились,—и уже низкие звуки взывали из мглы тоскующими голосами,—звали, перекликались взволнованно, и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый, старый вальс.

Лось сидел, раздув ноздри, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, уткнула лицо в край юбки,—у нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино,—все это было совсем напрасно.

Он подошел к Ихе:

— Могу я видеть Аэлиту?

Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо:

— Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть.

Иха проскользнула под локтем у Лося и убежала. На полу у колонны осталась,—оброненная Ихошкой,—фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме,—суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой—револьвер, сзади разрывающиеся гранаты,—подписано: «Прелестной Ихошке на незабываемую память».

Лось швырнул открытку, вышел из дома и зашагал по лугу к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал:

«Не хочет видеть—не нужно. Попасть в иной мир,—беспримерное усилие,—чтобы сидеть в углу дивана,—ждать: когда же, когда, наконец, войдет женщина... Сумасшествие! Одержимость! Гусев прав,—лихорадка. «Нанюхался сладкого». Ждать, как светопреставления—улыбки, нежного взгляда... К чорту!.. Не хочет, не надо. Тем лучше».

Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы—подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развевались. Он ненавидел себя лютой ненавистью.

Он добежал до озера. Вода была, как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.

Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые, пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игол, равнодушно водяными глазами глядели на Лося.

«Вы слышите, рыбы, пучеглазые, глупые рыбы, — вполголоса сказал Лось, — я спокоен, говорю в полной памяти. Меня мучит любопытство, жжет,—взять в руки ее, когда она подойдет в черном платье, взять ее в руки, Аэлиту, женщину... Услышать, как станет биться ее сердце... Помимо воли, всей своей мудрости, она сама, странным движением, придвинется ко мне... Я буду глядеть, как вдруг одичают ее глаза... Видите, рыбы,—я остановился, оборвал, не думаю, не хочу. Довольно. Вы еще меня не знаете,—я—упрям. Ниточка разорвана,—конец. Завтра—в город. Борьба—прекрасно. Смерть—прекрасно. Только—ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольще-

ния. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони,—к чорту, к чорту, все это обман, призрак!..»

Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкала льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. «Необходимо хлебнуть ледяного воздуха»,— Лось прищурился на алмазную гору, и пошел в том направлении через голубые заросли.

Деревья окончились, перед ним лежало пустынное, холмистое плоскогорье,—ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялся шлак и щебень, повсюду—отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил куснуть, хватить зубами этого вдали сияющего снега.

В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма Лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, вилы. Брели, спотыкаясь,—потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками плыли хищные птицы.

Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал:

«Счастье? Вот,—живи, борись, побеждай, гибни,—там разберут—за что и зачем. Счастье? А сердце держи на цепи, неразумное, неистовое, несчастное».

Толпа скрылась за холмами. Лось шибко шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот—сверкнула, показав крылья, описала круг,—все ниже, ниже, скользнула над головой и села.

В лодке поднялся кто-то, закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема глядели на Лося взволнованные, тревожные глаза Аэлиты. Неистово забило сердце. Он подошел к лодке. Аэлита отогнула на лице влажный от дыхания мех. Потемневшим взором Лось глядел в ее лицо. Она сказала:

— Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе.

Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.

Чары.

Лось сел позади Аэлиты. Механик,—краснокожий мальчик,—плавным толчком поднял крылатую лодку в небо.

Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к Лосю,—щеки ее горели:

— Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища.—Зубы ее блеснули. Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке висел у нее каменный флакончик. Отец сказал: пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть.

Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она засмеялась, сдернула с пальца кольцо. Лось схватил ее за руку:

— Не бросай,—он взял у нее флакончик и сунул в карман,—это твой дар, Аэлита: темная капелька, сон, покой. Теперь и жизнь, и смерть—ты. Он наклонился к ее дыханию.—Когда настанет страшный час одиночества—я снова почувствую тебя в этой капельке.

Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к Лосю. Нет, все равно—не понять. Шумящий ветер, горячая грудь Лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на ее плече,—казалось, кровь их бежит одним круговоротом,—в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее, древнее воспоминание. Нет, все равно—не понять!

Прошла минута,—немного больше. Лодка поравнялась с высотой тускубовой усадьбы. Механик обернулся: у Аэлиты и сына неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света.

Мальчик механик уткнул в воротник острый нос и принялся беззвучно смеяться. Положил лодку на крыло и, разрезая воздух крутым падением, опустился у крыльца дома.

Аэлита очнулась, стала расстегивать шубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней согнувшись. Аэлита сказала мальчику: «Приготовь закрытую лодку».

Она не заметила ни Ихошкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом, лица управляющего,—улыбаясь рассеянно, оборачиваясь к Лосю, она пошла впереди него в глубь дома, к себе.

В первый раз Лось увидел комнаты Аэлиты,—низкие, золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике, почувствовал кружащий голову горьковатый, теплый запах.

Аэлита сказала тихо:—Сядь.—Лось сел. Она опустилась у его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь, и более не двигалась.

Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал ее руки. У нее задрожало горло. Лось нагнулся. Она сказала:

— Тебе, быть может, скучно со мной? Прости. Мне смутно. Я не умелая. Я сказала Ихе: поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один, пусть ему играет улла.

Аэлита оперлась локтями о колени Лося. Лицо ее было мечтательное:

— Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?

— Ты видишь и знаешь,—сказал Лось,—когда я не вижу тебя—схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя—тревога страшнее. Теперь мне кажется—тоска по тебе гнала меня через звезды.

Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым.

— Отец дал мне яд, но я видела—он не верит мне. Он сказал:—«я убью и тебя, и его». Нам недолго жить. Но ты чувствуешь,—минуты раскрываются бесконечно, блаженно.

Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза Лося,—рот его сжался упрямо:

— Хорошо,—сказал он,—я буду бороться.

Аэлита придвинулась и зашептала:

— Ты—великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный,—сын неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки из железа, колени—из камня. Твой взгляд—смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем.

Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышным. Лось отвел с лица ее волосы:

— Что с тобой?

Тогда она стремительно обвила его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу:

— Я не умею любить,—сказала она,—я никогда не знала этого... Пожалей меня, не гнушайся мной. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно меня любить. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала:— я его видела в детстве, это родной великан. Мне захотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь — мрачно, безнадежно, смерть, смерть. Солнце скудно греет. Льды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают туму... Земля, земля... милый великан, унеси меня на землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов... Я не хочу умирать...

Аэлита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она Лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах.

Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла. Ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великана из сказки, она глядела на сына неба.

Вдруг, в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась всматривающаяся внимательно голова Тускуба.

— Ты здесь?—спросил он.

Аэлита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану.

— Я здесь, отец.

— Сыны неба еще живы?

— Нет, отец,—я дала им яд, они убиты.

Аэлита говорила холодно, резко. Стояла спиной к Лосю, заслоняя экран. Подняла руки к волосам, поправляя их.

— Что тебе еще нужно от меня, отец?

Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свирепый голос Тускуба проревел:

— Ты лжешь! Сын неба в городе. Он во главе восстания.

Аэлита покачнулась. Голова отца исчезла.

Древняя песня.

Аэлита, Ихошка и Лось летели в четырехкрылой, закрытой лодке к горам Лизиазира.

Не переставая работал приемник электромагнитных волн,—мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась.

Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голосок Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира.

Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно:

«...товарищи, не слушайте шептунов... не надо нам никаких уступок... к оружию, товарищи, настал последний час... вся власть сов... сов... сов...».

Аэлита обернулась к Ихошке:

— Твой друг отважен и дерзок, он истинный сын неба, не бойся за него.

Ихошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора.

— Взгляни,—сказала она Лосю,—за нами летят ихи.

Лодка плыла на огромной высоте над марсом. С боков лодки, в ослепительном свету, летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским, зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот, одно, увидев Лося, нырнуло и лязгнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову. Аэлита засмеялась.

Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на просторную площадку, висяшую над пропастью.

Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах, истершейся от древности, лестнице—вниз в ущелье.

Аэлита легко и быстро шла впереди. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на Лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом.

— Здесь спускался магацитл, нес трость с привязанной пряжей,—сказала Аэлита.—Сейчас ты увидишь место, где горели круги священных огней.

На середине пропасти лестница ушла в глубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая плечами, нагибаясь, Лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты, и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: милая.

Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали ба-

зальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов.

Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказал из темноты:— осторожнее,—и появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке.

Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких, каменных столбов. За ними была видна залитая вечерним солнцем, перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазиры.

По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, в пещерный город. Посреди террасы лежал, до половины ушедший в почву, покрытый мхами, Священный Порог. Это был большой, из массивного золота, саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху покоилось изображение спящего марсианина,— одна рука его обвивала голову, в другой прижата к груди улла. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру.

Аэлита опустилась на колени перед порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась — ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом.

С левой стороны, в скале, среди полустертых надписей виднелась треугольная, золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя Порога—темная пещерка с каменными скамьями, очагом, высеченным в граните ложем. Сюда внесли корзины. Иха покрыла пол циновкой, постлала постель для Аэлиты, налила масла в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел наверх—сторожить крылатую лодку.

Аэлита и Лось сидели на краю обрыва. Солнце уходило за острые вершины. Резкие, длинные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико было в этом краю, где некогда спасались от людей древние Аолы.

— Когда-то горы были покрыты растительностью,—сказала Аэлита,— здесь паслись стада хашей, в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих, долгих тысячелетий. Быть может, мы—последние: уйдем и Тума опустеет. Так говорит мой учитель.

Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму.

— Но сердце мое говорит иное, — Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, веточки мертвых кустов. Собрав их в подол плаща, она вернулась к Лосю, сложила костер, принесла из пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь.

Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтем о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом:

Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей,
Сложи их прилежно.
Ударь камнем в железо,—женщина, водительница двух душ.
Высеки искру,—и запылает костер.
Сядь у огня, протяни руки к пламени.
Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков.
Сквозь струи уходящего к звездам дыма
Глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева, в дно души.
Его глаза ярче звезд, горячей огня, смелее фосфорических глаз ча.
Знай,—потухшим углем станет солнце, укатятся звезды с неба, погаснет злой Талцетл над миром,—
Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия, протянув к нему руки,
И слушаешь голоса ждущих пробуждения к жизни,—
Голоса во тьме твоего чрева.

. . . .

Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли, — они озаряли красноватым жаром ее лицо.

— По древнему обычаю,—сказала она почти сурово,—женщина, спевшая мужчине песню уллы—становится его женой.

Лось летит на помощь Гусеву.

В полночь Лось выскочил из лодки на дворе тускубовой усадьбы. Окна дома были темны,—значит Гусев еще не вернулся. Покатая стена освещена звездами, голубоватые искры их поблескивали в черноте стекол. Из-за зубцов крыши торчала острым углом странная тень. Лось вглядывался,—что бы это могло быть? Мальчик-механик наклонился к нему и шепнул опасливо:

— Не ходите туда.

Лось вытащил из кобуры маузер. Втянул ноздрями холодноватый воздух. В памяти встал огонь костра над пропастью, запах горящих трав. Печальные, одичавшие глаза Аэлиты... «Вернешься?»—спросила она, стоя над огнем. «Исполни долг, борись, победи, но не забывай,—все это лишь сон, все тени... Здесь, у огня—ты жив, ты не умрешь. Не забывай, вернись»... Она подошла близко. Ее глаза у самых его глаз раскрывались в бездонную ночь, полную звездной пыли: «Вернись, вернись ко мне, сын неба»...

Воспоминание обожгло и погасло,—длилось всего секунду, покуда Лось расстегивал кобур револьвера. Вглядываясь в странную тень по ту сторону дома, над крышей,—Лось чувствовал, как мышцы его напрягаются, горячая кровь сотрясает сердце,—«борьба, борьба».

Легко, прыжками, он побежал к дому. Прислушался, скользнул вдоль боковой стены и заглянул за угол.

Близ лестницы черного входа лежал, завалившись на бок, разбитый корабль. Одно его крыло поднималось над крышей к звездам... Лось различил два, затем—третий и четвертый, валяющиеся на траве мешки,—это были трупы. В дому—темнота, тишина.

«Неужели—Гусев?» Лось, не прикрываясь, подбежал к убитым:—«Нет—марсиане». Пятый лежал вниз головой на ступенях.—Шестой висел среди обломков корабля. Видимо,—были убиты выстрелами из дома.

Лось взбежал на лестницу. Дверь была приоткрыта. Он вошел в дом.

— Алексей Иванович,—позвал Лось. Было тихо. Он включил освещение,—вспыхнул огнями весь дом. Подумал:—«неосторожно»,—и сейчас же забыл об этом. Проходя под арками—поскользнулся в липкую. темную лужицу.

— Алексей Иванович!—закричал Лось. Прислушался—тишина. Тогда он прошел в узкое зальце с туманным зеркалом, сел в кресло, захватил ногтями подбородок:

«Ждать его здесь? Бессмысленно. Лететь на помощь? Но куда? Чей это разбитый корабль? Мертвые не похожи на солдат,—скорее всего—рабочие. Кто здесь дрался? Гусев?—люди Тускуба?—Лось откусил ноготь.—Да. Медлить нельзя».

Он взял цифровую доску и включил зеркало:—«Площадь Дома Совета.—Дернул за шнур, и сейчас же грохотом отшвырнуло его от зеркала: там в красноватом сиянии фонарей, летели клубы дыма, чиркали огненные вспышки. искры. Вот, влетела, раскинув руки, в зеркало чья-то фигура, с залитыми кровью глазами.

Лось дернул шнур. Отвернулся от экрана.

«Неужели не даст знать—где искать его в этой каше?»

Лось заложил руки за спину и ходил, ходил по узкому зальцу. Вздрогнул, остановился, живо обернулся, щелкнул предохранителем маузера. Из-за двери, у самого пола, высовывалась голова,—красные вихры, красное морщинистое лицо.

Лось подскочил к двери. По ту ее сторону лежал у стены в луже крови—марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот. Облизнув губы, марсианин проговорил едва слышно:

— Спеши, мы погибаем. Сын неба, спаси нас... Разожми мне руку...

Лось разжал коченеющий кулачек умирающего, отодрал от ладони записочку. С трудом разобрал:

«Посылаю за вами военный корабль и семь человек рабочих,—ребята надежные. Я осаждаю Дом Совета. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев».

Лось нагнулся к раненому—спросить, что здесь произошло? Но марсианин хрипел, дергаясь в кресле. Тогда Лось взял в ладони его голову, прижал к груди. Марсианин перестал хрипеть. Глаза его выкатились на сына

неба. Ужас, блаженство осветило их: «Спаси»... Глаза подернулись пылью, оскалился рот.

Лось застегнул куртку, обмотал шею шарфом. Пошел к выходу. Но едва отворил дверь, впереди, из-за остова корабля, метнулись синеватые искорки, раздался слабый, режущий треск. Пулей сорвало шлем с головы Лося.

Стиснув зубы, Лось кинулся вниз по лестнице, подскочил к кораблю, навалился плечом,—мускулы хрустнули,—и он опрокинул остов корабля на тех, кто таились позади него в засаде.

Раздался треск ломающегося металла, птичьи крики марсиан, огромное крыло мотнулось по воздуху и пришлепнуло уползавших из-под обломков. Все же пригибающиеся фигуры побежали загзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Грохот маузера был ужасен. Ближайший марсианин ткнулся в траву. Другой бросил ружье, присел, закрыл лицо руками.

Лось взял его за воротник серебристой куртки, и поднял, как щенка. Это был солдат. Лось спросил:

— Ты послан Тускубом?

— Да, сын неба.

— Я тебя убью.

— Хорошо, сын неба.

— На чем вы прилетели? Где корабль?

Вися перед страшным лицом сына неба, марсианин расширенными от ужаса глазами указал на деревья, в тени их стояла небольшая, военная лодка.

— Ты видел в городе сына неба? Ты можешь его найти?

— Да.

— Вези.

Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Взвыли винты. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные, дикие звезды. В ушах пело:

«К тебе, к тебе, через огонь и борьбу, мимо звезд, мимо смерти, к тебе, любовь».

Деятельность Гусева за истекший день.

В десять часов утра Гусев вылетел из тускубовой усадьбы в Соацеру, имея на борту лодки — авиационную карту, оружие, довольствие и шесть штук ручных гранат,—их он, тайно от Лося, захватил еще в Петербурге.

В полдень Гусев увидел внизу Соацеру. Центральные улицы были пустынны. У дома Совета Инженеров на огромной, звездообразной площади стояли военные корабли и войска,—тремя концентрическими полукругами.

Гусев стал снижаться. И вот, его, очевидно, заметили. С площади снялся шестикрылый, сверкающий, военный корабль,—трепеща в лучах солнца,

взвился отвесно. Вдоль бортов его стояли серебристые фигурки. Гусев описал над кораблем круг. Осторожно вытащил из мешка гранату.

На корабле завертелись цветные колеса, зашевелились проволочные волосы на мачте.

Гусев перегнулся из лодки и погрозил кулаком. На корабле раздался слабый крик. Серебристые фигурки подняли коротенькие ружья. Вылетели желтенькие дымки. Запели пули. Отлетел кусок борта у лодки.

Гусев выругался веселым матом. Поднял рули. Кинулся вниз на корабль. Пролетая вихрем над ним, бросил гранату. Он услышал, как позади громыхнул оглушительный взрыв. Выправил рули и обернулся. Корабль неряшливо перевертывался в воздухе, дымя и разваливаясь, и рухнул на крыши.

С этого тогда все началось.

Пролетая над городом, Гусев узнавал, виденные им в зеркале, площади, правительственные здания, арсенал, рабочие кварталы. У длинной, фабричной стены волновалась, точно потревоженный муравейник, многотысячная толпа марсиан. Гусев снизился. Толпа шарахнулась в стороны. Он сел на очищенное место, скаля зубы.

Его узнали. Поднялись тысячи рук, заревели глотки:—«Магацитл, Магацитл!». Толпа робко стала придвигаться. Он видел дрожащие лица, умоляющие глаза, полные слез, красные, как редиски, облезлые черепа. Это все были—рабочие, чернь, беднота.

Гусев вылез из лодки, вскинул на плечо мешок, широко провел рукой по воздуху:

— С приветом, товарищи!—Стало тихо, как во сне. Гусев казался великаном среди щуплого этого народца.—Разговаривать здесь собрались, товарищи, или воевать? Если разговаривать—мне некогда, прощайте.

По толпе пролетел тяжкий вздох. Отчаянными голосами крикнули несколько марсиан и толпа подхватила их крики:

— Спаси, спаси, спаси нас, сын неба!

— Значит воевать хотите?—сказал Гусев и рявкнул хриплой глоткой.—Бой начался. Сейчас на меня напал военный корабль. Я сбил его к чертям. К оружию, за мной!—Он схватил воздух точно уздечку.

Сквозь толпу протискался Гор (Гусев его сразу узнал). Гор был серый от волнения, губы прыгали. Вцепился пальцами в грудь Гусеву:

— Что вы говорите? Куда вы нас зовете? Нас уничтожат. У нас нет оружия. Нужны иные средства борьбы...

Гусев отодрал от себя его руки:

— Главное оружие—решиться. Кто решился—у того и власть. Не для того я с земли летел, чтобы здесь меня, как муху, застукали... Для того я с земли летел, чтобы научить вас решиться. Мохом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно—за мной. Где у вас арсенал? За оружием. Все за мной в арсенал!..

— Айяй!—завизжали марсиане. Началась давка. Гор протянул руки к толпе. Схватился за лицо.

Так началось восстание. Вождь нашелся. Головы пошли кругом. Невоз-

можное показалось возможным. Гор, медленно и научно подготовлявший восстание, и даже после вчерашнего медливший и не решавшийся,—вдруг точно проснулся. Он произнес двенадцать бешеных речей, переданных в рабочие кварталы туманными зеркалами. Сорок тысяч марсиан стали подтягиваться к арсеналу. Гусев разбил наступавших на небольшие кучки, и они перебегали под прикрытием домов, памятников, деревьев. Он распорядился поставить у всех контрольных экранов, по которым правительство следило за движением в городе, женщин и детей и велел им вяло, совсем вяло ругать Тускуба. Эта азиатская хитрость усыпила на некоторое время бдительность правительства.

Гусев боялся воздушной атаки военных кораблей. Чтобы хоть не надолго отвлечь внимание, он послал пять тысяч безоружных марсиан в центр города:—кричать, просить теплой одежды, хлеба и хавры. Он сказал им:

— Никто из вас оттуда живым не вернется. Это вы помните. Идите.

Пять тысяч марсиан одною глоткой закричали:—Айяй!—Развернули огромные зонтики с надписями и пошли умирать, запели унылым воем старую, запретную песню:

Под стеклянными крышами,
Под железными арками,
В каменном горшке
Дымится хавра.
Нам весело, весело.
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!
Айяй! Мы не вернемся
В шахты, в каменоломни.
Мы не вернемся
В страшные, мертвые коридоры.
К машинам, машинам.
Жить мы хотим. Айяй! Жить!
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!

Крутя огромные зонтики, со страшной песней они скрылись в узких улицах.

Арсенал, низкое, квадратное здание, в старой части города, охранялось небольшой воинской частью. Солдаты стояли полукругом на площади перед окованными бронзой воротами, прикрывая две странные машины из проволочных спиралей, дисков и шаров (такую штуку Гусев видел в заброшенном доме). По множеству кривых переулочков наступающие подошли и обложили арсенал: стены его были отвесны и прочны.

Выглядывая из-за углов, перебегая за деревьями, Гусев осмотрел позицию,—ясно: арсенал надо было брать в лоб, в ворота. Гусев велел выворотить в одном из под'ездов бронзовую дверь и обмотать ее веревками. Наступающим приказал кидаться лавой, визжать,—айяй,—как можно страшнее.

Солдаты, охранявшие ворота, спокойно поглядывали на суету в переулочках, лишь машины были выдвинуты вперед и по их спиралям затрещал лиловатый свет. Указывая на них, марсиане жмурились и тихо свистали,— «бойся их, сын неба». Времени терять было нельзя.

Гусев расставил ноги, взялся за веревки и поднял бронзовую дверь,— была тяжела, но ничего,—нести можно. Так он прошел под прикрытием домовой стены до края площади, откуда—рукой подать до ворот. Шопотом приказал своим: «Готовься». Вытер рукавом лоб, подумал: «Эх, рассердиться бы сейчас». Поднял дверь, прикрылся ею:

— Даешь арсенал... Даешь, тудыть твою в душу, арсенал!—заорал он не своим голосом и тяжело побежал по площади к солдатам. Булькнуло несколько выстрелов, режущими разрывами ударило в дверь. Гусев зашатался. Рассердился в серьез и побежал шибче, ругаясь скверными словами. А уже вокруг завыли, завизжали марсиане, посыпались изо всех углов, под'ездов, из-за деревьев. В воздухе разорвался громовой шар. Но хлынувшие потоки наступающих смяли и солдат и страшные машины.

Гусев, ругаясь, добежал до ворот, и ударил в замок углом бронзовой двери. Ворота затрещали и распались. Гусев вбежал на квадратный двор, где рядами стояли военные, крылатые корабли.

Арсенал был взят. Сорок тысяч марсиан получили оружие. Гусев соединился по зеркальному телефону с Домом Совета Инженеров и потребовал выдачи Тускуба.

В ответ на это правительство послало воздушную эскадрилью—атаковать арсенал. Гусев вылетел ей навстречу со всем флотом. Корабли правительства бежали. Их догнали, окружили и уничтожили над развалинами древней Соацеры. Корабли падали с неба к ногам гигантской статуи Магацитла, улыбающегося с закрытыми глазами. Свет заката мерцал на его чешуйчатом шлеме.

Небо было во власти восставших. Правительство стягивало полицейские войска к Дому Совета. На крыше его были поставлены машины, посылающие огненные ядра,—круглые молнии. Часть повстанческого флота была ими сбита с неба.

К ночи Гусев осадил площадь Дома Советов, и стал строить баррикады в улицах, разбегающихся звездою от площади. «Научу я вас революции устраивать, черти кирпичные»,—говорил Гусев, показывая, как нужно выворачивать плиты из мостовой, валить деревья, срывать двери, набивать рубашки песком.

Насупротив Дома Советов поставили две захваченные в арсенале машины и стали бить из них огненными ядрами по войскам. Но правительство закутало площадь магнитным полем.

Тогда Гусев произнес последнюю за этот день речь, очень короткую, но выразительную, влез на баррикаду и швырнул, одну за другой, три ручных гранаты. Сила их взрыва была ужасна,—метнулись три снопа пламени, полетели в воздух камни, солдаты, куски машин, площадь закуталась пылью и едким дымом. Марсиане завыли и пошли на приступ.

(Это была, именно, та минута, когда Лось взглянул в туманное зеркало в тускубовой усадьбе). Правительство сняло магнитное поле, и с обеих сторон запрыгали над площадью, над дерущимися, затанцевали огненные мячики, лопаясь ручьями синеватого пламени. От грохота дрожали мрачные, пирамидальные дома.

Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался, во главе отборного отряда, в Дом Советов. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.

(Окончание следует).

* * *

И вот—покой. И в берег опустелый—
Ни гнева волн, ни звона волн.
И над рекою день заиндевелый,
День медленный, как тот тяжелый вол.

Еще вчера лучами и лазурью
Волна звучала под веслом,
И взор взволнованный нахмуря, в бурю
Метала молний пламенный излом.

Еще вчера тревожный, буйный, пенный
Толпою волн кричал поток,—
И вот затих, как под ножом измены.
Из-за угла застигнутый врасплох.

И скачет, каркая, по льду с добычей
Ворона сытая, скользя,
И в синий лед зловещим клювом тычет,
Как в бледные сомкнутые глаза...

И ты пройдешь своей дорогой мглистой,
Окутав сердце в лохмотья забот,
И не расслышишь за тишью льдистой
Движенье вечное весенних вод...

С. Обрадович.

А знаете, в Берлине и молния без грома.

Совсем обалдел, ничего не понимаю,
Брожу, как угорелый, с подпертым взором:
Трамваи, омнибусы, омнибусы, трамваи,
И моторы, моторы, моторы, моторы...
Грохот, топот и гул и стотактовый треск,
Бой сплошной—не со мной, а с веками,
Будто с гор после ливня сползает лес,
Будто катятся смытые камни.

Поезда надо мной, подо мной поезда;
А я-то ворвался с криками:
«Скажите, товарищи, скажите, господа,
Почему в Берлине воробьи не чирикают?»
Где уж тут воробьям, когда молния без грома
(Когда в небо ввинчены железные сваи)—
—Чиркнет спичкой, блеснет за казарменным домом,
А гром загромлен... да о нем и не знают.
Но у нас, бывало, как начнет шарахать
Прямо в злобу, в шипенье двуглавой птицы...
Так шарахнуло раз. И прищуренный пахарь
Уже руку занес, но раздумал креститься.

Александр Кусиков.

Похороны.

Колокол звонит в минуту по разу с глухим перезвоном.
Новопреставленного с паперти сносят Петра.
Той же дорогой, где в поле третьёва-дни ездил за хлебом,
Нынче свершает он путь в строганом новом гробу.
Черным покровом в краях с позументом играет настойчивый ветер,
«Вечную память» в словах через гумно пронесет.
На-поле, кладбище. Ветлы, березы и липы кистями
Веток поникльх уют для мертвецов заплели.
Травы какие ни есть обступили кресты, заслонили
Камни осевших могил, через тропину свились.
К ней и пришли провожатые, вновь панихиду отпели,
Поп постоял в головах, звякнул кадилом пустым.
«Где приготовлено место?» спросил он у сына Петрова.
Тот указал бугорок вырытой глины-земли.
Как у могилы Петра отпевали, проплакали бабы,
Кончился чин литии, сыну дьячок приказал:
«Крышку накрой и гвоздями забей, да покрепче, чтоб сырость
В гроб не прошла, погниет дольше покойник-то твой».
Первый он горстью земли по холстине ударил проворно,
Поп же подбросил щепоть... Наглухо крышкой закрыть
Сын поспешил. По гвоздям молотком застучал. Взголосили
Бабы, причтя над Петром. Кинулась к гробу одна,
Сзади под локоть ее подхватили. «Спускай с полотенца!»
Молвил Левону Семен, сват и ровесник Петра:
«Да норови, чтоб ногами он прежде на дно поместился,
Меньше тряси. Эх-ма, сват!..» Установили Петра,
Роют лопатами землю, в могильное чрево кидают.
Вот уже вровень с травой, вот уже холмик готов,
Вот и к селу отошли на обед поминальный: лапшею
Из петуха закусить рюмку-другую вина.
Чем же иным помянуть за хозяйственный норов, за сметку
В сельских гуртовых делах и за крестьянство Петра?
Возле могилы осталась старуха чужая, усердно о землю
Стукает сморщенным лбом. Вот и она поплелась.
Синее небо одно распростерлось над местом печали:
Был человек и теперь в землю навек отошел.

П. Радимов.

Певчей птахе ли, зверю ли, рыбе ль
Положен свой зарок и свой век.
И один лишь, взлюбивший погибель,
Без зарока живет человек.

Пробежит ли по насту лисица воровка,
А цепочка за ней у толка,
Оттого-то петлей бельевая веревка
Часто вдруг упадет с потолка

Не заметит хозяин: огонь у соседа,
Сплюнет в угол, поправит очаг,
И не видит, не ждет,—что охотник по следу
Размыкает со сворки собак.

Станет зябко и жутко: да вдруг и повиснет
Все до времени, все до поры.
Человечьи следы—у могилы, а лисьи
Пропадают всегда у норы.

Сергей Клычков.

* * *

Самарканду.

Нежнейший веер—горное дыханье.
В траве весенней звон и тих и слаб.
Я на валу... Октавами-стихами
Поет в душе, бежавшей серых лап...
Руинные холмы—Афросиаб.
Стою один. Заворожен горами.
Но от сиреневой завесы Зеравшана
Мой взор Биби-Ханым и башням Регистана.

Не даром детства радужный туман
Качал тебя, о мудрый сын Востока,
Былым народам новый Ханаан,
Разлившимся волной в тебе широкой.
Зеленый стяг великого пророка
Так грозно украшал когда-то этот стан.
Но кружево веков не омрачит мой взор:
Цветет невиданный в истории узор.

В. Наседкин.

* * *

Велик и многомилостив Аллах.
Да будет в радость эта благостыня—
Передо мной библейская пустыня...
Велик и многомилостив Аллах.

Велик и многомилостив Аллах.
Коранный лик и тяжелей и строже
На этом знойном и лиловом ложе.
Велик и многомилостив Аллах.

Велик и многомилостив Аллах.
Но почему ты не скрываешь страх
Пред буйными, стальными городами,
Когда пустыня зацветет садами
И будет днем, отмеченное в снах.
Велик и многомилостив Аллах.

В. Наседкин.

Дорога.

Солнце звенело золотом
В синем как море небе,
Цикадами под молотами
Трескуче пел щебень.

То щебетал булыжник—
Кололи—я, Жан и Фриц,
На шоссейной дороге рыжей
От Монблана до Ниццы.

Кремневых брызг так жгучи укусы,
Жужжание странно.
Даже луна пряди русые
Прикладывала к нашим ранам.

Кожа под южным зноем
Лопалась и взрезалась,
Сочились синим гноем
От пыли и пота глаза.

Особенно у Фрица
Северная голубизна плакала,
За длинными ресницами —
Из родника проступало и капало.

Но мы кололи и пели,
Мели бородами пыль,
Рвал космы за нами на мили
Пролетающий автомобиль.

Скрежетал булыжник,
Пошевеливались черепа.
Машины плевали в нас бензином,
Харкали резиновыми губами шин.

В лимузинах летели лэди —
Плескала взволнованная вуаль.
А мы шарахались как медведи
На четвереньках,
Изумленно глядели в даль.

Они в газолиновом тумане таяли,
Сжималось сердце холодком странным.
Пыль мошкаровыми стаями
Опять прилипала к ранам.

Так ежедневно утро и вечер
Встречали коленопреклонно,
Не холодил Ронский глетчер
Наши тела воспаленные.

Мы не были набожны —
Молитвы и гимны не пели,
Кланялась камням придорожным
Наша маленькая артель.

— Ничего, мы выживем, —
Порукой—молоточная сталь...
Курилась пыль ладаном рыжим
Пред ледяным иконостасом Альп.

Вспыхивал бисер пота
На наших склоненных лицах,
Такая была работа
На шоссе от Монблана до Ниццы.

За столом из щебня и сора,
Прожевывая козий сыр,
Фриц рассказывал о мире древнем,
О мамонтовых пещерах.

— Да жили тогда похуже,
Ледниковые-то жители,
Не было у них огня
И никакого оружия,
А вот выбились же в люди.

— Вон с Монблана телескопы и трубы
Ловят,
Приближают теперь миры...
Его упрямо сжатые зубы
Скрипели железным порывом

— А еще раньше мы были рыбами,
И не думали, что будем рабами...
Отель над ледниковой глыбой
Строго сверкнул очками.

— Они живут там, эти туристы,
А мы у подножья.
Конечно, им нужен воздух чистый
И доброе питанье тоже.

И вдруг мамонтом чугунным
Автомобиль сорвался как обвал,
Фриц на оборванных струнах
Простуженный крик оборвал.

Дорога, кровью облитая,
Все так же курилась и пела.
Не знала лэди белая,
Чем спаяны гальки и плиты.

Никто не пришел оплакать
Раздавленного,
Лишь облака плескали, ласкаясь,
Цвела синева, на скалах
Снежные слезы капали.

На границе вечного снега,
У дороги Ницца—Монблан,
Под щебнем в яме,
Лицом на восток
Схоронен товарищ Фриц.

Пенилось ручьевое пение,
Рыдал глетчерный поток,
Упорно ждали мы восхожденья
Красной звезды с востока.

Казалось, под южным зноем
Трещат кремневые выстрелы,
В глазах, сочащихся гноем,
Вспыхивают искры.

Михаил Герасимов.

Евразия.

Николай Огнев.

Повесть.

> Александр Македонянин устроил в Вавилоне символический брак Европы и Азии, но из этого ничего не вышло...
>
> *(Из растрепанного учебника географии).*

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Фронт поручика Раздеришина.

1.

Встал передо мной Раздеришин, как всегда в своем синем казакине; золотые наплечники светятся-светятся; ты,—говорит,—ты-ты-ты, не-го-дяй; и, развернувшись костлявой ручищей, *бац* мне по морде; красные пятна пошли у меня по щеке, как тогда, за железкой у шулера Кротова. Сердце мое загорелось и прыг!.. Нет, железные обручи, — шалишь, не попрыгаешь. Тут офицерское слово мое рассердилось, вскочило и хвать за погон Раздеришина:—сам—негодяй, хулиган и мерзавец, и это известно бригадному-гадному! Так. Но позвольте, позвольте... Ехал-поехал бригадный мундир...

— Ваш-сок-родь! Бригадный командир, генерал Оптик, изволили приехать. Ваш-сок-родь?

Копоть по комнате ползает змеями; лампа темней фонаря; и во рту всевозможная дрянь; и все же—прощать Раздеришину.

— Прямо на фронт проехать изволили. А, ваш-сок-родь?! Дежурный писарь три раза прибегал...

Прапорщик Арбатов пружиной прыгнул с койки прямо на Федора, денщика; спросонья пхнул кулаком в живот—и Федор принял, как надо:

— Хы, ваш-сок-родь! Где, григ, дежурный офицер? Там, на фронте, тревога, что ль, какая...

— Воды!

— Пожалте, ваш-сок-родь!

— Давно бригадный приехал? Ф-фу, и холодна же, бестия!..

— Минут с пять, должно, сок-родь.

— Выдумает тоже, по ночам ездить...

— Та-ак точно, сок-родь. Люди спят...

— Ну, рассуждать еще! Шашку, револьвер.

— Пжалте, ваш-сок-родь.

Темное в карманном зеркальце прыгнуло лицо—чорт, побриться бы— глаза, наверно, мутноваты после вчерашнего—офицер, офице-ер, про-из-веден в офицеры, да-с, в офице-еры, и морду бить тому шпаку, который скажет: офицера̀.

— Позвольте доложить, ваше высокоблагородье. Четвертый раз телефон звонит. Бригадный командир изволил распорядиться всем дежурным офицерам прибыть на зеленую горку...

У писаря рожа в очках: шшшляпа фетровая, ин-тел-ли-гент: из студентов, наверно: нарочно без шапки пришел, чтобы честь не отдавать, сволочь какая...

— Командир полка приказал.

— Изволил приказать, а не приказал. Тты!

— Изволил приказать играть по всем ротам тревогу к атаке.

— Кого атакуем?—точно так и надо, точно каждый день ночная атака.

— Обозначенного под литерой эн противника, ваше высокоблагородие.

— Сппай! Титуловать тебя не научили. Скажешь там вестовым, чтоб бежали по ротам насчет тревоги.

— Слушш-с, ваше высоко-бла-городие.

Нарочно растянул, мерзавец. Знает, что полагается титуловать по чину, а не по должности. Сволочь.

И зевая до боли, на ходу вдевая ремень под погон—никак не вдевается, окаянный.—Арбатов мимо бараков по мерзлой земле в сладкий холодный воздух,—а рожки уже пели, должно быть, писарь по первому разу послал вестовых—в серую муть,—кой-где бегом, точно стегали по икрам.

— А Раздеришин? Сонная горечь во рту—ну, при чем офицерское слово? Странный сон; правда, Раздеришин—выскочка и подлиза; но никогда себе не позволит ни с того, ни с сего—по морде—тьфу, копоть во рту!—с детства знаю Раздеришина—рожки-то, рожки заливаются, прелесть какая, ночная атака,—а в полку про него говорят: пьет, как мортира, в железку играет, как бог; ну, а все же, а все же—подлиза. Вот, про меня никто не может сказать, что подлиза. Сегодня в запасном, а завтра на фронте, и не на игрушечном фронте, а на самом, что ни на есть настоящем—со смертью, со смертью, да-с, чорт подери, в атаку, на пули, на пули, а не на облезлые манекены...

— Гоп, Арбатов!

— Тьфу, даже вздрогнул—вы тоже сегодня по полку, Махалин?

— Ну да. Выспаться, черти, не дают. Оптик, говорят, приехал?

— Да, наш полк идет в атаку —

— А все Раздеришин. Придумал, чорт его дери, эту комедию с фронтом, Оптик и не дает покоя. Ведь, вы, Арбатов, кажется с детства Раздеришина знаете? Ну, как он?

— Выскочка.

— По-моему, демона из себя строит. От окопов отбояривается. А мы из-за него и бегай по ночам. Опять *он* вчера выиграл?

— Ну да, сорок пять рублей. Я не играл.

— Смотрите, смотрите,—ракета.

— Подумаешь, и вправду на фронте!

Голубая звезда торжественной маркизой в менуэте спускалась к глухой сырой земле. Бараки кончились, прапорщики Арбатов и Махалин вступили в полосу фронта поручика Раздеришина, за две тысячи верст от русско-германского фронта.

Должно быть, березовой почкой, должно быть, ландышем, должно быть, весной имеет свойство пахнуть восемнадцатилетняя девушка, только Валюська, садясь в поезд, заметила, что добро взял ее билет очкастый кондуктор, добро улыбнулся носильщик, взваливший на полку страшно тяжелый чемодан лакированного господина, зато уж сам лакированный глянул совсем не добро, а сладко и масляно и полузакрыл, желая приласкаться, черные, смазанные жиром, глаза.

— Нет уж, не приласкаешься, нет,—строго решила Валюська,—слова не выжмешь, хоть изойди жиром.

И сказала ему глазами: прощай, до свидания, одним словом: я с вами незнакома, между нами все кончено, адью.

Потом поезд тронулся, Валюська прилипла к окну и с упоением принялась считать буквы и номера паровозов—так полагалось еще с третьего класса: кто больше запомнит паровозов (можно и трамвая, только паровозы реже встречаются, поэтому интересней),—тот паровозный царь. Да-да-да, паровозный царь.

И вот, не успела Валюська запомнить как следует новые, невиданные (обыкновенно бывает по две, а тут четыре) литеры БПВГ 45, на внушительном (они назывались американские) паровозе, как почуяла чью-то щупающую руку на своем колене. Валюська турникетом перевернулась кругом, и лак не успел даже отдернуть руку.

— Я вас не трогаю прошу меня не трогать,—быстро сказала Валюська без точек и запятых, хотя очень хорошо знала знаки препинания и считалась первой препинальницей еще с пятого класса.

— Дурак, на Евгения ни капельки не похож,—это Валюська договорила уже про себя, рывком вылезая по пояс в окно.—И из-за него все паровозы кончились. Лак проклятый...

Паровозы кончились, зато начались деревья, деревенские домики и сторожихи с зелеными флагами, которые постоянно опаздывают к поездам и

на бегу, утираясь, доедают творожники. Валюське вспомнилась дача, дорожки, музыка, как по вечерам становилось кого-то жалко, и как она познакомилась с Евгением.

— А теперь Евгений—мой жених,—с гордостью сказала она ветру, подставив левую щеку и ловя искры с паровоза.—Мой жених-них-них. И я еду к жениху, к жениху-ниху-ниху.

Поезд сейчас же подладился и с готовностью стал отбарабанивать такт. Деревья насмешливо качались, потому что Валюська такая молодая и уже невеста. Это от ветра.—Вели им, чтобы перестали,—приказала Валюська ветру. Ветер послушался, и деревья перестали качаться и кончились совсем. Пошли разноцветные шоколадные обертки полей,—это все мои владения,—рассказывал ветер, и когда тебе надоест музыканить с поездом, то летим со мной,—со мной, со мной!

Валюське еще не надоело, а поезду надоело отбивать две четверти, и он забарабанил триолями.

— Тараты-караты-куплю аппараты, и траты, и браты, и грома раскаты,—слова подобрала Валюська, поезд согласился на тараты-караты, и в знак согласия дал длинный свисток.

— Тюрюпю, два-два-два,—стремительно загромыхал в ответ мост,—три-три-три, дры-дры-дры, дру-дру-дру,—и косой решеткой завеленил в глазах, подсверкивая рекой и узкими кусками тусклого песка. Мосту хотелось—хотелось подольше, но поезду нельзя было задерживаться, поезд вез Валюську к жениху, к жениху, тараты-караты, и баты, и маты...

— Ну, надоели караты,—сказала Валюська, и паровоз, быстро сверкнув искрами из трубы:

— А так—хорошо? А так—хорошо? А так—хорошо?—заспрашивал все быстрей-быстрей, почти невозможно стало выдерживать ветер, ну поезд, ну миленький, еще скорей, ну пожалуйста, куски пара рвутся на части, лес летит, кружится листьями в глазах, в голове, во всем теле,—ух, какая пропасть, на дне—овечки-овечки-овечки.

— Перепрыгни, перепрыгни, перепрыгни, перепрыгни,—заппредлагал поезд, улетая вдаль и на крыльях унося Валюську к небу, в небесную голубую мазурку, завертел в бешеной пляске, а внизу пропасть без дна и конца, долететь нельзя, а упасть—разорвется сердце.

И вдруг—холодные лягушки выше колена, по телу.

— Опять вы? Сколько вам говорить?! Не сметь меня трогать! Да еще под юбку лезет! Хулиган.

— Но ведь вы же упадете, милая барызня. Или в милые глазки голубые огонь попадет.

— Попадет не ваше дело отстаньте.

— Как так не мое дело? Я ваши милые ножки целовал.

— Ах, вы так?!—Валюськины глаза яро ходят кругом—чем бы в него запустить? Лачище негодный... Ага! Медная дощечка на чемодане.

— Иосиф Вацлавович Подгурский корнет-а-пистон. Это вы и есть—кор-

нет-а-пистон? Хорошо же. К вам придет мой жених и... накладет вам по роже. Он вам покажет а-пистон.

— Кто же такой ваш коханый и з чего он будет мене бить? И почему вы зердитесь, милая барышня?

— Мой жених поручик Евгений Раздеришин. А ваш адрес: ага! Большая Дворянская, номер...

И не успела договорить Валюська, как лакированный, толкаясь чемоданами о сиденья, куда-то быстро-быстро из вагона.

Тогда в сердце загорячилась гордость и, расправив крылья,—ага, испугался, испугался, как только назвала Евгения! ага!—заняла всю грудь, нет, шире, шире груди, туда, к ветру, к торжественному маршу поезда,—ну ветер, ну миленький, пожалуйста, сделай, чтобы деревья—и деревья стройно и послушно явились, быстро улыбаясь и стремительно выстраиваясь устремленными ввысь рядами—честь, честь невесте поручика Евгения Раздеришина.

3.

Из темно-бурой массы, погромыхивая отдаленной телегой—другой—третьей, испарялись в огрублое надбарачное небо запахи пота, серничков, портянок, отхаркивания, матерщина, понукания и —

— Смирррна—вняйсь! снова:—смирррна—вняйсь! —

но изумительные красные, рубиновые, багровые покурочки так бы и прели до утра, так бы и наяривали тьму, так бы и попыхивали приветами друг другу:

— Ты здесь, Ваня?

— Я здесь, Ваня.

— Не бойся, я человек.

— И ты не бойся, чудашка, я тоже.

— Это ничего, что матерщина?

— Ничего, ничего.

— Будь покоен, Ваня.

— И ты, Ваня, милый,

— если бы не харрркнуло хррриплым арррииином, перекрыв матерррщину:

— Спррава по отделениям —

— арррш!

И куда-то в провал беззвездный, нерадостный, отбивая положенный топот—закачалась нелепой машиной безмолвная бурая масса через три с половиной минуты после рожка и команды:

— ввай на тревогу.

А там, впереди, задиньдонкали пушки, и за первой ракетой позыкнулись в небо вторая и третья, четвертая, пятая, и все голубые, и снова диньдоном в нагрублое надбарачное небо,—зачем напружилось хмурью и смутью,

зачем оно небо, а не крышка гигантского гроба, зачем оно может простором дышать, а не дышит.

— Донн!—Донн!—Не засти, отойди-отойди, донн!

— Три-чтэри.—Донн, донн!—Три-чтэри.

— Перррьвая рота—а-ррруку—поввзводнэээ—б-гом—

И темно-бурыми потоками, не дослушав законного ааарш!—машина незаконно, по-своему, не по-машинному, не по-командному, вперед, туда, где ракеты, звякая звуками звонких котелков, ручейками, штыками, упруго подпрыгивая пружинистыми прыжками—

загромыхала, вдрут обнаружив *людей, и* много-много людей, как же:

— Эй, наяривай, ребята, веселей!

— Пушки-то... работают, словно по делу...

— В игрушки играют.

— И зачем это по ночам будить, зачем по ночам будить?!.

— Ты... гляди за делом-то...

— Знай, под ноги подвертывается... по но-чам!

— Мужики, подтянись, мужики!

— Тамбовский, котелок не потеряй!

— За своим мотри. — — —

А там, впереди, словно поняли: под законом командным, под законом машинным—у тамбовского и у курского—свой закон, может, веселый, может, печальный, а может и не веселый, и не печальный, а *строгий*, словом, закон, а не мертвое дерево и—стаями забезмолвились в небо голубые ракеты, как бы приветствуя, обеспокоились пушки, перестали диньдонкать, заухали:

— стойте, ух! куда вы, ух! смертью пахнет, ух! — — —

но темные, бурые клочья, не слушая, разрываясь все мельче и мельче, не по-машинному, не по-командному,—вперед, навстречу, вот и проволока—режь ее, рви ее, руби ее—и бесперечь зачирикали, чиркая, острые чортики черной проволоки, и снова бурые клочья—вперед, навстречу —

зигзагному беззвучному зову взвившейся новой — зеленой — ракеты. — — — —

И вдруг, прямо в мутные волны набухшей, прорвавшей плотину реки —

затакали, квакая, стойкими стайками, толчки пулемета,—

и, пронзительным свистом взвиваясь, как вилкой скрести не по тарелке, нет, а по барабанной перепонке вашего, вашего уха, подчиняясь зигзагному зову зеленой ракеты—жемчужно зенькнули и зазенькали дождиком пули—пули, пууули.

Сзади еще напирали, не по-командному, не по-машинному, развеселелые темно-бурые клочья нелепой машины, а впереди:

— Что ж такое, братцы, брааатцы!

— В своих!

— В сва-аих!

— Псти! Пусти!

— А-а-а-а-ай!

И, оставляя свалившихся, звеня котелками, звякая ружьями и истекая истошными криками, назад—на-зад, сплетаясь штыками, кулаками пробивая дорогу, в стороны, в стороны, в какую-то гору спасаться, спасаться,—что ж такоича, братцы? неш мы не люди?—кверху, в гору, задыхаясь:—не тое... ленту... вставил, дыша в надбарачное небо не легкими—всем обезумевшим телом —

А на горе—доклад генералу Оптику:

— Ночная атака началась, ваше превосходительство.

— А-а-а, хорошо, хорошо! Кто руководит?

— Па-ручик Раздеришин, ваш превосходитство.

— А, это—тот! Молодец, молодец.

4.

С ранним трамваем уже летела Валюська через весь город, сжимая в руках падающие свертки и с презрением глядя на гимназисток с книжками. Положим, папа и до сих пор дразнит Валюську жареный фыш, перевод с немецкого—как ему не стыдно, а еще помещик, член земской управы,—но ведь всем понятно, что это понарошку, что Валюська кончила, кончила, кончила гимназию и—

невеста!

Сердце, удивительно нежно томясь, замирало в груди—вот будет неожиданная встреча! И, когда в дверях низкого—с запахом елок—барака солдат в очках без улыбки буркнул брезгливо:

— Они на фронте, —

внутри все-все вдруг провалилось в темноту, а оттуда остро сверкнуло:

— Зачем я надела голубую вуаль? —

И еще:

— Теперь его убьют, —

но солдат проник очками в пустоту:

— Да это недалеко, версты нет. Вон туда,—и Валюська, забыв расспросить поподробней, скорей—*вон туда*, милый, милый Евгений,—а вдруг он уже убит и на носилках навстречу несут его строгое длинное тело? Как странно, однако же,—фронт: значит, немцы почти всю Россию завоевали? Как же тогда—папа? И имение папино завоюют? Нет, нет! Евгений их дальше не пустит, если только он жив. Бараки кончаются, солдаты навстречу,

— с но-сил-ками!

Что это? Что это? Значит, сражение? Кого же, кого же, господи..? Длинное, белое тело... Вот:

разговаривают; так и есть

— Кого? Кого вы несете?—и диким рыданьем сейчас —

— Солдатика убитого, барышня. А что?

— Раненые сами пошли, еще ночью; а он...

Солдата, солдата! Слава тебе, богородица-дева! В горле слова застревают:

— А... Раздеришин... поручик?

— А что ему деется?.. Небось, на горе, с генералом...

— Что ж там, опасно?

— Чего опасней... небось водку пьют.

Скорей туда, на гору! Пока не увидит Валюська своими глазами, не убедится... Какой длинный утрамбованный песок под ногами... И сколько солдат... И все ругаются. И песок, как солдаты,—серый, темно-желтый... Где же, господи, где же? Должно быть, там, где столбы телеграфные — — —

— — — — — — А по столбам телеграфным протянута проволока, а по проволоке уже неслись во все стороны слова о несчастной случайности в запасной бригаде, а виновный во всем солдат-пулеметчик сидел на гауптвахте, а на горе—правда, водку не пили, но —

— стратегически и тактически обсуждали ночную атаку с жаром и с пеной у рта (это только так говорится ради словесной игры—никогда взаправду не пенятся рты у спорщиков) и генерал Оптик, становясь на цыпочки, выслушивал доводы *за и против,* и мудро, наморщив безбровые впадины глаз, подрыгивал птичьей своей головой—направо, и налево и прямо, забыв о том, что

солдаты—с трех утра на ногах, а отделенные, взводные, фельдфебеля и полуротные командиры пыжатся сделать вид образцовых занятий и по всему полю ходит, спотыкаясь и перекатываясь, как символ фронта поручика Раздеришина, —

— стратегическая—тактическая—нудная—серая—но единственно образцовая—матерщина —

Прапорщику Арбатову нужно было сдавать дежурство, надоел узкий френч, портупея, шашка, револьвер и жмущий правый сапог,—двадцать шесть часов уже жмущий—и с двадцатилетней честностью, с правами знакомого с детства—он ненавидел поручика Раздеришина. И уже ненависть, сверля свинцовыми сверлами, свернулась в сверкавший клубок, готовый броситься и свертеть в сторону шею, шшеею, когда генерал, прощаясь, бросил намек Раздеришину о производстве в следующий чин. И вот, генерал поехал в коляске, а кругом облегченные шутки шопотом, еле слышным, шуршали, а на песчаном поле расстроились и запестрели нестрогими остротами стройные солдатские ряды —

Арбатов, сжимаясь до боли, отвел Раздеришина в сторону, стал перед ним, глядя снизу на синий черкесский казакин, на могучие плечи с золотыми полосками, на бритую белую рожу и:

— Поручик Раздеришин, ты... ты... ты... подлиза.

Конечно, услышав в ответ:

— Прапорщик Арбатов, вы, —

Но голубое мелькнуло меж ними видение, слилось с Раздеришиным, и из-за голубой вуали, услышал Арбатов доброе-доброе:

— Дурак ты, Арбатка! Жить играючи не умеешь. Гляди: ведь, это— Валюська.

Глянул Арбатов—и правда Валюська, родная Валюська, невеста Евгения, а ему все равно, что сестра. А Валюська глядела, как в небо, снизу, в глаза Раздерищину и—

— Как хорошо ты сказал ему, что игра... Только... вдруг ты со мной... тоже... только играешь?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Фригийский колпак.

Мой спутник Мустафа,—я зову его на французский лад Мусташем, после благополучного окончания нашей миссии рассчитывает стать, по крайней мере, беем; кроме того, он твердо уверен, что мы ведем войну против всех гяуров, ту самую священную войну, о которой с детства он так много слышал от муллы. Вот две причины, по которым он еще не убежал от меня и изредка, пересиливая свою трусость, позволяет себе резать на куски мой воистину священный бикфорд. Режет он, заряжаю я; сто зеленых тюрбанов с самим Мохаммедом во главе не заставят его прикоснуться к капсюлям и банкам; поэтому что-то много десятков верст по солнцепеку мешок давит мои обожженные плечи.

Сознание, что это именно он, а не кто-нибудь другой из его оборванных односельчан, ведет газават, следуя за мифическим зеленым знаменем пророка, разжигает в Мусташе какую-то смиренную, терпеливую выносливость,—дело в том, что по природе он большой неженка. Не дальше, как сегодня утром мы встретили пять «опрокинутых тарелок»—так зовем мы с Мусташем эллинов за их английские противоаэропланные шлемы—и по-обыкновению присели у края дороги, корча из себя нищих-оборванцев, от которых мы по внешнему виду нисколько не отличаемся; и Мусташ спокойно дал проехаться по своей спине всем пяти резиновым нагайкам, кувыркаясь в пыли и отвлекая внимание «тарелок» от моей особы. А меня так и подмывало швырнуть им вслед одну из банок, тем более, что «тарелки» ели... Они ели консервы, раскачиваясь на своих малорослых лошаденках, и на наших глазах бросили в кустарник два порожних жестяных стакана. Мустафа пополз за ними, как гиена, и долго и старательно вылизывал языком оставшийся жир, при чем мне все время казалось, что с жестянок вместе с жиром слезает и надпись: Corned beef Limited U. S. A. Я знал, что после такого упражнения еще несносней будет мучить жажда—и воздержался...

С нами—только солнце, песок, борьба.

* * *

Недоконченное и неотправленное письмо:

«Слушай, Арбатов. Может быть, после этого письма, я буду в твоих глазах большим негодяем, и хоть ты глуп, как подштанники на веревке, но, помимо тебя, мне обратиться не к кому. Итак,—серьезно

слушай Арбатов. Береги Валюську. Судьба устроила так, что ты остался там, а я очутился здесь; поэтому за нее отвечаешь ты... Так как надеюсь, что ты стал взрослым мужчиной, перестав быть тем сосунком, которым ты был в запасном полку—большевики всех вырастили в короткое время—то—еще раз слушай. Валюська моя жена. Она этим очень удивлена, что и говорить, повидимому, ей еще рано было стать женщиной—но, тем не менее, это так... Ивот,—если с ней что-нибудь случится, нет той казни, которой бы я тебе не придумал. Валюська для меня дороже жизни, что жизнь,—жизнь, в сущности, пустяки. И ты не удивляйся, что я обращаюсь именно к тебе, к тебе, который меня столько раз — и каждый раз безрезультатно — пытался оскорбить. Именно поэтому я к тебе и обращаюсь,—понимаешь? А если и не понимаешь, то главное ты, все-таки, понял. Береги Валюську. Оберегай Валюську. Охраняй Валюську. Если что случится, отомщу тебе страшно. Я умею мстить страшно. Правда, у ней есть еще этот мешок с квелой кукурузой—ее отец. Но он занят тем, что прячет свою кукурузу от большевиков,—ему не до нее. И если — — —

Листок пожелтел по краям.

* * *

К счастью, стали попадаться дубы и кедры, так что есть, где отдохнуть потрескавшимся плечам. Вот, под таким кедром в три обхвата я сейчас и пишу. В сущности, как мало знают турок европейцы, те европейцы, которых до сих пор Мусташ зовет франками и гяурами; о греках и болгарах я не говорю: по турецкой пословице, «сосед знает, сколько блох в цыновке соседа»... Но французы, англичане, шведы. В их представлении турки—все еще толпа свирепых янычар (кстати, янычары по происхождению вовсе не турки, а европейцы, с детства воспитанные в исламе и военном режиме), янычар, которые свирепы, однако, только во время христианских погромов, а в свободное от погромов время сидят в гаремах, курят кальян и закусывают рахатом. Может быть, турки—мои друзья, и поэтому кажутся мне лучше, чем они есть на самом деле, но насчет погромов, после смирнской резни, высокопросвещенным европейцам лучше помалкивать. Достаточно сказать, что эстетически, согласно традициям, воспитанные эллины срезают у пленных турок живьем кожу с головы—от ушей до надбровных дуг и называют это «надеть фригийский колпак». В Константинополе один образованный француз доказывал мне серьезно, что турки не имеют права на существование, как самостоятельная нация; но аргументировал не распространенным абсурдом о «больном человеке», а тем, что турки, как полигамы, биологически осуждены на вымирание. В виде литературных аргументов он выдвигал «Азиадэ» Лоти и «Эндимиона» Хейденстама. Хотел бы я посмотреть, нашла ли бы Швеция с ее Хейденстамом после тяжеловесного гнета германцев, ужасной осады Дарданелл, мучительного и длительного голода и кровавой оккупации англичан, нашла ли бы

она своего Кемаля, и вместе с ним — силу, бодрость, мощь и волю к возрождению нации.

Недалеко от моего кедра расположен живописный уголок реки с хорошим прочным мостом,—должно быть, остатком древней мельницы. Этот мост обречен мной на гибель. Он из мостов, необходимых для артиллерии. Я ассигновал на него две пироксилиновых шашки и аршин бикфорда. Мусташ, отрезав бикфорд, убежал от меня за целую версту. Экий трус! Он терпеть не может, когда я прикусываю капсюль с гремучей ртутью; но в лихорадочную дрожь его бросает вдвигание капсюля в шашку; эти операции он предпочитает наблюдать издалека. Шашки я уже вынул,—два куска белого мыла, весом по фунту каждый. Они лежат перед моими глазами, и маленькая ящерица в поисках солнца (должно быть, ее привлек белый цвет шашек) вползла на шашку и боязливо наблюдает за мной. Не бойся, маленькая дочь Галатии. Это мыло не для тебя. Это мыло вымоет с лица изможденной Турции кровь, гнет и страдание.

* * *

Политический разговор с Мусташем:

— Когда придем в Стамбул,—говорит Мусташ торжественно,—мы освободим падишаха из-под власти гяуров.

— Падишах в Стамбуле кончился, милый Мустафа.

— Как так, эффенди?

— Ты слыхал про Кемаля?

— О!—Мусташ восхищен.—Кемаль большой и храбрый паша. Но, ведь, он—не падишах? Падишах в Стамбуле.

— Представь себе, Мустафа, что того, который в Стамбуле, покинул Аллах.

— Как же быть теперь? Без падишаха нельзя.

— Ты знаешь, откуда дует влажный ветер?

— Знаю. Он дует с моря. С гор идет сухой ветер, сухой и с песком. Он ест глаза.

— Но тот, что дует с моря, он освежает и останавливает жажду. И вот, там, откуда дует ветер,—там есть падишах.

— Знаю,—неожиданно и уверенно говорит Мусташ.—Его зовут Ленин.

— Ну, нет,—медленно говорю я, в глубине души удивляясь политическим познаниям Мустафы.—Нет. Моего падишаха зовут иначе. У него голубые глаза и волосы, как цветение пшеницы... У него голос, как у жаворонка...

— Ну, так это—женщина! Я думал эффенди расскажет мне про Ленина,—Мусташ разочарован. А что я могу рассказать ему про Ленина?

Про своего падишаха я могу ему рассказать. Он очарователен, этот падишах, и власть его никогда не умрет на земле. Он поет и порхает, и от его пения небо делается синим, а ветер—вольным и ласковым. Он...

— Его посетил Аллах, и он велел Кемалю итти на гяуров.

Мусташ упорно и укоризненно смотрит мне в глаза. Он уверен, что я что-то от него скрываю. Потом он вспоминает, что настало время творить вечерний намаз, расстилает вместо коврика свой давно опустевший мешок и становится на колени, лицом к востоку. А слева его ласкает ветер, влажный ветер моря и словно обвевает Мусташа тихими, далекими волнами нежности, кротости и безгрешных, детских, шаловливых ласк, плывущими с моей далекой родины.

* * *

Сто двадцать турецких фунтов золотом

выдаст штаб оккупационного корпуса британской королевской армии тому, кто доставит в штаб в Константинополе или греческому командованию в Смирне или французскому командованию в Адане или итальянскому командованию в Адалии,—добросовестные, точные, вполне проверенные сведения о местонахождении бандита иностранного (неанатолийского) происхождения, взорвавшего мост на р. Джуме и пытавшегося повредить большой мост через р. Мендерес.

Сухой, горный ветер бешено треплет надорванный зеленый листок...

* * *

Вот уже три дня, как мы с Мусташем засели в «бест» недалеко от небольшой турецкой деревушки. Деревушка—вся в чинарах, тем не менее, она обожжена жгучим анатолийским солнцем, и плоские ее белые крыши, как исполинские изразцы поверженной печи великанов. Наше убежище—в остатках средневековых развалин. Определить назначение того, чем были эти развалины прежде, довольно трудно; может быть, здесь была баня для рыцарей Готфрида Бульонского или этапный пункт для пересылаемых на родину невольников. Во всяком случае, для нас с Мусташем эти развалины—неоценимая находка. Прежде всего, развалины помещаются на небольшом холме, и представляют удобный наблюдательный пункт; жалкие остатки крыши дают возможность укрываться от начавшихся осенних дождей; наконец, благодаря близости селения, мы обеспечены продовольствием, а это—далеко нелишнее после продолжительной голодовки; короче сказать, мы об'едаемся вяленой говядиной—«баздырма», маслинами и султанским виноградом. Кроме того, большая амфора в углу нашего жилища постоянно пополняется ячменным пивом или необычайно душистым медовым напитком. Об этом заботится Евразия. Кто она—я не знаю. Вероятно, просто турецкая девушка из нашей деревушки. Ее зовут иначе, но мне трудно выговаривать ее имя, поэтому я зову ее именем, высеченным на одной из стен нашего убежища. Под надписью *Евразия* на старо-греческом языке, высечены странные барельефы,—какие-то люди, похожие на рыб, с громадными головами, в чепчиках, с круглыми удивленными глазами, а туловища маленькие и без ног.—Это—указание пути,—уверяет Мусташ. Как бы то ни

быю, но содержание знаков и надписей интересует меня, главным образом, в присутствии Евразии... Когда она приходит, Мусташ отбирает у ней плоскую фляжку с ракией и отправляется пьянствовать в свой угол. Я же беру девушку за руку и мы уходим под большую маслину есть сочные, сладкие фиги, читать надписи и... бесконечно смотреть друг другу в глаза. Когда она уходит,—это происходит обыкновенно глубокой ночью—я ругаю Мусташа неверной собакой, прислужником гяуров и грожу пожаловаться на него первому встречному мулле: не подобает мусульманину хлестать водку, как сапожнику и орать бессмысленные песни... с риском быть услышанным хотя бы блуждающими «тарелками». На утро, проспавшись, Мусташ делает прозрачные намеки о людях, забывших своего падишаха. К вечеру мы, обыкновенно, миримся, и наше примерение венчает появление Евразии.

* * *

...Пятый день мы спасаемся от погони,—без крова, без пищи, без воды, без воды,—в степи, покрытой малорослым кустарником,—и он служит нам единственным прикрытием. Часть пироксилина пришлось утопить в реке. Нас выдали...

* * *

Самое скверное то, что приходится уходить бесшумно. Иной раз просто необходимо было бы швырнуть гранату, но— — —

Кажется, нас постепенно окружают.

Если греческие бандиты устроили в развалинах засаду,—вечером должна была притти Евразия и—

— стараюсь не думать.

* * *

Мы, кажется, ушли. Здесь бесконечные, уже осыпавшиеся, маковые поля. Еще небольшая проверка, и можно будет отдохнуть. Мустафа остался на повороте, за горой, в качестве разведчика.

Англичане. Это они.

У вас квадратные подбородки, господа британцы.

У нас тоже квадратные подбородки. Чччорт!

Рука дрожит от слабости.

Лучше немцы, чем англичане.

Торгаши, предатели, вампиры бедной моей родины, — вот англичане... Теперь я понимаю моих друзей с трапезундского побережья: они начали с того, что швырнули в море всех англичан.

Евразия, моя Евразия, неужели я тебя покинул в несчастьи?

* * *

Мустафа не пришел.

Зажиточная деревня,—хозяйка маковых плантаций.

После бесконечных переходов с пудовой ношей на спине, после голода и жажды, тончайшей сети преследований, туманящей мозг и изнуряющей тело, о, только после всего этого, чтобы отделаться, чтобы забыть, забыть... я выкурил свою первую трубку опиума.—Кури афиун,—сказал мне старый, морщинистый османлис — и дал мне несколько лепешек и курительный прибор.

Это было на высоком утесе, в развалинах старого замка, командующего над равниной маковых плантаций. Сначала я мысленно преследовал англичан, бегущих, отступающих, лавиной катящихся прочь от моих снарядов. Я их кромсал, давил, бил, взрывал, я не давал им опомниться, заряжал—бил, заряжал—бил... Потом... потом в моей душе возник, воскрес, возродился Дарий, сын Гистаспа, и вместо маковых плантаций я увидел стройные ряды воинов, уходящие, уходящие к северу, к равнинам Скифии. Шли плутоватые финикияне с громадными кольцами в ушах, шли квадратноголовые египтяне, шли смуглые персы с блестящими в тумане мечами, а за ними, стройными фалангами—наемные эллины в поножах, касках и с великолепно инкрустированными щитами. Они шли, приветствуя своего повелителя, шли на завоевание скифских равнин, голубых долин за пределами Фракии, они шли к желтым народам, живущим за Индом, они, повинуясь моей руке, шли по всем направлениям. Их железная поступь гордо отзывалась в моем сердце. А рядом со мной — была моя нежная супруга, моя Евразия. Только куда девался полумонгольский разрез глаз, смуглая кожа, восточная томность в полузакрытых глазах? У нее были белокурые косы, как цветение пшеницы, и... голубые глаза. Я прощался с ней, и это в последний раз перед походом мы сидели рука-об-руку на высоком утесе, на легком походном троне,—я, царь-царей, и она, моя царица. Внизу, на подножии утеса скульпторы и каменотесы спешно заканчивали мой барельеф. Здесь, в этих плодоносных и неприступных, окруженных высочайшими скалами, равнинах, будет сердце мира, а не в далеких Сузах. Отсюда...

Евразия, Евразия!..

А может, это насмешка?

* * *

Мусташ не пришел совсем. Я снова в пути.

Невыносимая, стопудовая тяжесть давит мне плечи и больную спину.

Не знаю, приснилось мне, или было на самом деле. В темную ночь пришел я в какую-то пещеру и стал звать с собой засевших там людей... И, приблизившись ко мне, их старшина сказал:—Ва, эффенди гяур, мы не можем итти с тобой, ибо над нами крылья Эблиса. И мы живем в обществе гул, саалов, бахарисов и эфритов... Тогда я вскричал:—За коим же чортом вы молитесь Аллаху днем, когда ночью—вы все равно стадо Дьявола?—и ушел. Они подумали, что я злой дух.

В бреду я видел Евразию.

* * *

Мусташ лежал на том же повороте, где я его покинул. На нем был «фригийский колпак». Хорошо же.

* * *

Дорога привела меня к ущелью и, извиваясь, исчезла в нем. Я поднялся в гору и лежу теперь на высоком пике. Прохладно. По этой дороге должно быть большое движение. Сосчитал снаряды: две гранаты, восемь банок с сикритом, пироксилиновая шашка. Нарезал шнур.

Буду ждать.

Вы идете, эллины. Вы идете в касках, но без поножей, в ваших руках не мечи, а нагайки... Вы тащитесь по каменистой дороге, как слабые, пыльные, маленькие насекомые. И это не сами вы пришли сюда. Вас прислали ваши хозяева, британцы.

Я пришел сам. Я кондотьер.

Но мне надоело быть кондотьером. Я ухожу домой.

Из ряда заряженных банок беру одну и зажигаю слабо тлеющим трутом. Вот мой первый, прощальный поцелуй! Это—от Фригии.

— Бу-уххх!—столб черного дыма встает там, внизу, на дороге. Насекомые слабо поползли в стороны. Не уйдете! Здесь хороший, английский, английский сикрит.

А, вы привыкли играть во фригийские колпаки! А я двадцать раз держал в зубах—в образе капсюлей—страшную, мучительную смерть.

Вот вам второй подарок. Это за Смирну, от Пафлагонии.

— Бу-ухх,—веселое эхо заплясало в утесах. Сыграем, сыграем в грозные, гремучие игрушки, да погромче, эллины.

Я слаб, болен, я устал, но я потрясаю этой банкой—хоть шипит, шипит бикфорд на поларшина от моей головы! Она за Мусташа.

За Киликию! За Галатию!

А граната, французская ручная граната—за мою несчастную родину, которую вы пытаетесь загрызть нечистыми зубами— — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

За Евразию, за Евразию!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Новые ворота.

1.

Карболку, гной, аммиак, смешав в пронзительном слитном запахе так и отшвыривало от телефонной: туда складывались отработавшие за день носилки; но завкладу, он же стармог,—ничего; повис на трубке:

— Да что я вам сдался—смеяться, что ли? Куды копать, куды копать, туды вашу корень? Да мне главное ли дело, что бандиты? Ну, и везите за склады, зныч, за афанасьевские. Да куды копать,—в черепа копать, в кости копать? И так все улицы... чего?.. и так все улицы на десять верст

кругом... чего?.. да нет у меня людей, могли с утра сказать, с утра надо было говорить... чего? Откуда я могу вам взять людей, когда я ворота запер? Чего? С ума спятить, ночью народ сгонять? Чего? Товарищ Пчелка? Да пошлите вы его к чорту, зничит, когда у меня людей нет! А? Чего? Барышня, мы говорим. Да не кончили, соедините сорок один! Занят? Тьфу!

И вместе со струей карболового гноя распахнул завклад в коридор:

— Срочная боевая задача—взрыть могилу на десять человек; ночью, зничит, привезут расстрелочных.

Копач Афанасий встал, почесал живот и, сказав «спать охота», вывалил наружу, визгнув дверным блоком. Завклад рванул лампу в конторе, фукнул в стекло и, сердито ковыляя, вышел за копачом в лиловую темь.

Ночные жучьи глаза двух фонарей оглядели, поворачиваясь, белый фартук завклада и ленивая темнота заговорила, брякая:

— Непорядок ночью копать.

— Фик ли задерживал.

— Копай сам.

Разговаривать хуже, завклад схватил было заступ и тронулся-было в лиловость, да ударил в самое ухо колокольчик и длинно задиньдринел, заливаясь, чепуху.

— Еще кого там черрти... Эй, кого надо?

Жуки глазасто повернулись и бледно зашарили по новым, некрашенным воротам.

— Бубнов... здесь живет?

— Чего? Какой, к чертям, Бубнов?..

— Бубнов, Андрей Алексеич. Из Харькова приезжий.

— Буб-нов? Ребята, кто здесь Бубнов? Нету здесь Бубновых, проходи.

Ворота бледно качнулись и скрипнули отчаянно, почти безнадежно.

— А мне сказали, он здесь? Будьте добры...

— Да это, никак, поп,—вывалил Афанасьев голос.

— Какой поп?

— Да новый. Отец Андрей. Упырь.

— А и вправду, Бубнов фамилия,—завклад отпер ворота, и жуки слабо проехались по глянцу потертой кожаной куртки и чемоданчику.

— Где ж он живет?

— Афанасий, проводи. Извиняюсь, сразу не распознаешь, — почти с нежностью в голосе.—Ну да, к попу. Он тут, за поворотом.

Круги жучьих глаз, качаясь, поплыли за кожаной спиной и чемоданом. Гладкая песчаная дорожка чуть сыровато глушила шаги.

— Во-от, за конторой. Здеся.

— Спасибо.

— В окно стучитя. Не спит иншо.

Там-донн!—в желтый глаз окна—там-донн!—без ответа. Жуки плавно проплясали в лиловый бескрайный провал. Хоть знаешь, знаешь, никого нет, а кажется всегда на кладбище ночью: вот, кто-то глядит на тебя пустыми

глазами, наблюдает, невидно наслаждаясь и злорадствуя. И серые листья березовые под желтым взглядом окна недвижно молчат—молчат, подтверждая.

— Кто?—из-за двери.

— Я.

— Кто я-то, госсподи?

— Андрей Алексеич, вы?

— Ктой-то, госсподи?.. стой, сейчас отопру, госсс...

И навстречу щелком английского замка — жареным маслом,—бензином—уборной—в ноздри—и к тому же памятному старому мягкому пузу—в об'ятья —

— ну и ну! Ну и удивил! А мы думали, здох, ей-богу, думали, здох—а-а-а, ты сделай милость, чтоб всем шутьям взлететь на воздух—да не спотыкнись, здесь порог—во-от сюда-сюда—ну и похудел, ну и пожелтел—это уж в гостиной—ну и поутрел!

Гостиная как гостиная; рояль: резкий абажур желто бьет в глаза, уставшие, об'евшиеся темью; жирные рукавицы кактуса понурились пылью; как где угодно, как двадцать лет назад,—да не так.

— И вправду—поп. Думал—ошибка.

Гость устало-согнутой спиной в'ехал в диван, и чемоданчик поставил на колени.

— Да ты чего ж не раздеваешься-то? Ну и суетни, суетни теперь будет—чемоданчик дай—а, чаю, чаю?—да чего-сь там чаю, а-а-а, ты сделай милость, як хохлы говорять: самы кошки забрешуть, як узнают!—тельца, тельца, тельца блудному сыну, а не чаю!

— И—давно—в попах?—

— Ну, и есть же чем интересоваться с дороги—что за экстренность такая!—всего два года. Не-ет, ты о себе-то, о себе-то расскажи, а-а-а, ты сделай милость, чтоб всем шутьям взлететь на воздух,—вот не ожидал, а? Ну, випий, випий румочку сивушки, это ж только так, для начала, а там будеть получше, ей-богу ж, будеть получше,—да брось ты свой чемоданчик,—а сивушка для бодрости, потому нам еще пройтиться придеться, здесь неудобно, места нет, там же и ночевать будешь—ты покойников не боишься?

— Это куда?—устало спросил гость, вглядываясь в серый пузатый подрясник хозяина.—В мертвецкую, что ли?

— Зачем в мертвецкую?—ну, чудак какой, зачем в мертвецкую, точно и без мертвецкой нельзя обойтиться? А ты випий—випий—випий еще сивушки,—оно правда, румочка з наперсток, ну, да ничего, не беда, и я же с тобой одну випью.

— Почему его там—у ворот—упырем обозвали?

— Что ты—на волосы глядишь? Оно и нельзя без волос, служитель культа называюсь, ого, не как-нибудь! Да ты чего-сь чемоданчик держишь, брось его в угол, он же тебе мешает, а ты его держишь—выпил сивушку, ну, идем—того места нихто не знает—даже куфарка не знает—Афимья двер запри за нами, запри двер—только знаеть Валюська, да копач Хванас...

— А—она—здесь?

— Хто? Валюська? Валюська здесь, где ж ей быть, чудак, як не здесь, только она сейчас у клубе, до восьми в них занятия, з вин-тов-ка-мы занятия, а с восьми у клубе... ну, выходи, выходи, она запреть, ты, Афимья, як запрешь, ложись спать, баришня ключ звой имееть, ну идем, а-а-ах, ты, сделай милость, ну и удивил...

И на серый песок дорожки неслышно и внезапно лег ровный круг электрического фонарика, а тьма свернулась и неприветливо стала кругом.

— Вот сюда, во-от сюда, на памятник не наткнись, ушибешься, ну и памятники здесь, брат, на удивление, все бур-жуи строили звоим упокойникам, а чем я тебе угощу сейчас, небось вас за границей таким не кормили, стой!

— Ну,—по могылкам, як мотылек, за мной, у-у, шут,—подрясник приходится подбирать, як бабе подол, вот сюда, во-от сюда, стой, стоп. Здесь. Пришли.

И круг упал на небольшую, толсто-застекленную дверцу с крестом—венцами—сиянием.

— Да вы, Андрей Алексеич... Ведь, это—могила?

— Яка могыла, яка могыла, а еще в ниверсете учывся, як хохлы говорять, не могыла, а склеп, ну заходи, заходи, шоб не видели, то мой кабинэт, не стукнись, стой, я наперед зайду —

— и мягким пузом прижал гостя к мокроватой черной стене прохода—

— а-а-а, не бойся, ты ж солдат, от увидишь, хорошо ли будет, во-от увидишь, оно склеп называеться, склеп сэмэйства Грохольских, сходи по ступенькам, не оскользнись, тут не глыбко, а-а-а, еще фалить будешь, гарно сюбэкт придумал, скажешь, во-от, сейчас осветиться, лампу зажту, а при буржуях лектричество булб, не как-нибудь, а-а-а, то мой тайный кабинэт.

Вперед—вытянув руку, чтоб не удариться, шаг за шагом—за кругом фонарика—что за ерунда?—как во сне,—снова низкая дверь;—в могилу? в могилу, в могилу—свет фонарика мигнул—заколебался—пропал, озаренный ярким светом лампы —

Комната, обитая резным коричневым деревом—мягкий диван, кресла, стол с грязноватой скатертью,—

и торжествующее пузо в подряснике:

— От. То склеп сэмэйства Грохольских.

2.

Шоколадом—капустой—сырой паутиной—пахло чем угодно в склепе, только не покойником. Гость осмотрелся, сел и снова на колени поставил свой чемоданчик.

— Ну ж, чем тебя угощать—а-а-а, сделай милость, вот удивил, ей-богу, як сыну, сыну родному обрадовался,—давай, давай звой чемоданчик, ты не бойся, я ж осторожно, вот сюда, во-от сюда, ему тут будеть покойно... чем тебя угощать?

Бутылками и битым стеклом был забит угол комнаты; одна за другой заскакали бутылки из другого угла, из-под стола, из шкафчика; за ними

коробка шпротов; яблоки на ущербленной тарелке; лимон с зажухлым обрезом.

— Вот и не сивушка, тепер располагайся, як дома, на диване и лягишь, а пока—випьем. Зубровки? Малиновки? Рому?

Потолок давил—землей—камнем—надгробием; сбоку, вместо стены, угрожала тяжелая портьера: там, конечно, покойники; да не портьера, а деревянная резьба; или чугунная? под ногой хрустнуло: поднял—раздавленный листик фарфора.

— То от венка—тут ба-гацько раньше венков булб, все убрать велел Хванасу, Хванас, это такой сюбэкт,—шоб не ботались под ногами... Да ты шо ж не пьешь? Ты пей... от, гляди,—запас... Ну, по третей, гоп!—

Зубровка засвербела в горле щекоткой, в глазах стало ясней, хоть и до безумия хотелось спать, неуютное чувство близости мертвецов затуманилось и поплыло куда-то кверху. Но—все-таки—непонятно:

— Почему его упырем зовут?

Ясно, впрочем—толстый и могилы оскверняет.

— Андрей Алексеич, а вы не вампир?—

А привыкшие к свету глаза различили напротив—доску:

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ:

Иван Антипьевич Грохольский, 69 лет от роду;
Супруга его Матрона Прокопиевна, 56 лет от роду;
дети их: Евстигней, 23 лет; Алексей, 23 лет;
Младенец—Прокопий, 3 лет,
и Олимпиада, 23 лет,
а также
Онуфрий Онуфриевич Дыло.
Господи, приими их дух с миром.

Почему—Дыло? Откуда—Дыло? И почему Евстигнею, Алексею, Олимпиаде, всем по двадцать три года? Разве так бывает? Близнецы они, что ли?. А должно быть, умирали постепенно, дойдя до двадцатитрехлетнего возраста. Но все-таки: при чем Дыло?

Тогда, словно в ответ, сквозь неутомимую трескотню из пузатого подрясника, доска приветливо поднялась кверху,—эх, если б не так слипались глаза,—и нарастая, вздымаясь, громоздясь один на другой, раскачиваясь, смеясь, подмаргивая,

черепа, черепа, черепа,—а за ними —

сам Онуфрий Онуфриевич Дыло, выше потолка, без головы, без рук, один подрясник—схватил потолок, да как тряха-нет,—только известка посыпалась, и чего он его трясет—неизвестно — — —

— Стучат.

Гость схватился с места.

— Кто?

— Хванас, ли Валюська. Я чичас, я чичас, ты тут посиди.

И в тесный проход, в щель темную, как немыслимая вздувшаяся гробовая мышь—и из щели:

— А шо? Кого?—и в ответ хриплое громыханье:

— Заведующий зоветь, расстрелошные попа просють.

— Я чичас, я чичас, кажи, шоб подождали.

Гость встал—и навстречу пузу:

— Я здесь сидеть один не буду.

— А-а-а, ну, погоди-погоди, вот Хванас с тобой посидит. Хванас, ты посиди, без тебе зароют, ты тут посиди, випий вот с ими, а я чичас, я чичас — — —

И, мотнув невидимым хвостом, исполинской мышью—в щель. А из щели—в глине, в земле,—вывалил новый Дылю, обвязанный веретьем, с вежливым хрипом:

— Не помешаю, господин?

— Не помешаешь, садись.

Дылю деликатно—посадаль на гробницу—откуда она явилась—каменная, плоская, кто лежит под ней?—

— Выпей.

Рюмка метнулась в пасть—как не провалится без остатка.—

— И давно здесь Андрей Алексеич... отец Андрей свой кабинет устроил.

— Аны давно здеся пьють. С самого почитая.

— С какого почитая?

— А вот, как над ими почитай в соборе иделали, в попы обозначили.

— И хороший из него поп?

— Поп как поп. Обнакновенный. Что с попа взять? Отбил молитву—и на бок. Это тебе не в комиссии заседать.

— В какой комиссии?

— А во всякой. В мандатной, сказать... аль в кладбищенской.

— В какой мандатной комиссии?

— Без мандата на собрание не пущають. А комиссия мандаты проверяеть. Да неш вы, господин, не знаетя?

— Я не здешний. Ну, а на собрании что делают?

— Разное делают. Больше говорять, решають, как и что.

Гость пригнулся, так и вперился лихорадочно в красное, обветренное лицо, так и впился в безбровую, в безресницую щетину пожилых дней.

— Ну, и что же, что решают? Например?

Собеседник погладил колено, счистил кусок глины с своего веретья, с натугой вывалил:

— К примеру... сказать, хоша бы на кладбище новые ворота поставить, заместо старых.

— А старые—что?

— Сгнили, подвалилися.

— Ну, ну, ну,—и поставили?

— Да неш вы не видели? Чай, в ворота проходили.

А, чепуха. Пить надо.

— Пей, как тебя... Афанасий, что ли?

— Ахванасий.

И время заскрипело молчанием, закапало—кап! кап!—капля за каплей в углу, за надгробной доской, потекло, подпрыгивая, рюмками в горло, завертелось красным, обветренным лицом Афанасия—в тихую вечность, в темноту щелевого провала.

3.

— Времени восемь,—отметила мастерская резким звуком человеческого голоса в потрескивающем гореньи бензина, лязганьи ключей и постукиваньи металла.

И в этот момент стало ясно, что к вечеру машина готова не будет и что субботник придется продлить. Монтер Пузатов, как паук, присосавшийся к искалеченному снарядам мотору, с досадой швырнул французский ключ об пол, пошел в угол, порылся зачем-то в ящике с ломом и —

— Точно за деньги стараемся, ччорт...

— И правда, диви бы, за деньги,—сочувственно из углов мастерской.

Бесшумный начоркестра, торчавший у двери с тайной надеждой удрать и распустить своих людей, вдруг обнаружился беспокойным ерзаньем и шмурыганьем носа.

— Ну, а ты, ты чего вздыхаешь?—со злобой напустился на него Пузатов.—Музыка тоже, ччорт...

Начоркестра, томясь, вытер лысину, и, оправдываясь, зашарил глазами по чернорожим блузникам: нет, хоть измазаны копотью лица, а видно,— брови сжаты до отказа, глаза смотрят в пол, не подыграешься, хоть колесом пройдись.

Тогда Ваня Дунин не выдержал, и, бросив гайку, к нему ласково:

— Табак ваш, бумажки дашь, спички есть,—покурим?

Начоркестра с готовностью портсигаром в нос и, словно освещая фонариком, заводил по всем носам.

— У меня есть,—еще ласковей сказал Ваня. — Одни крошки, зато своя—и вежливо портсигар в сторону—не запачкать бы, и из кисета—в руку—трясом—пыли—ее бы нюхать —

Всем полегчало от Ваниных спокойных слов, от потянувшихся новых— не масляных, не копотных — дымков — мастерская стала словно выше—не так болели спины. Начоркестра с шумными вздохами пыхал папиросой, беспокойно косился на дверь—это пока курили—и не дождавшись:

— Ну, а все же таки, товарищи... какже? а? когда можно ожидать?

И испугался, должно-быть—рано, не выдержал времени.

— Иди ты... к монаху в штаны,—рявкнул Пузатов.—Когда—когда! Свет только застишь, лысая образина...—верно, рано, теперь все дело испорчено...—когда—когда? шляются, только свет застят... Ну, а вы чего стали? И-и-и выпучили зенки... обрадовались, папиросами кормят... из пульсигара — — —

Выгнулись спины, заходили гайки в ключах, затюкали молотки и резко запахло краской. Ваня знал, что «пульситар», это нарочно, чтоб унизить

и подчеркнул себе: правильно, не надо было брать папиросы. Прошел мимо нача, подмигнул одобрительно, но не вышло: нач погас, потух, кончился и носом зарылся в усах.

Уже четвертый час Ваня возился над втулкой—приходилось подтачивать конус, и теперь, поднеся конус под тусклый электро-рожок, двадцатый раз убедился, что дело дрянь, что возиться нечего и что вряд ли конус пойдет. Давно пора было домой—мать ждала с ужином—Ваня вспомнил о двух воблах в кармане пальто, и решил лучше совсем не думать о доме и ужине. Вот, работают одиннадцать человек, а двенадцатый дожидается конца их работы, чтобы встретить конец торжеством, радостной победительной музыкой, и всех дома ждет ужин, мать, жена, сестра, а не бросают работы, не уходят. Что-то их держит. Должно быть, не приказ начальства о субботниках—кто не хотел работать, тот и не остался, шестнадцать человек ушли в четыре часа.

Нервами, истощением, копотью в легких, домашней грызней изошли эти одиннадцать, а вот—тюкают, напрягаясь, надрываясь, чтобы когда-то торжествовать, чтобы, может, совсем никогда не торжествовать. Кончится работа, будет музыка, а радость? Лучше не думать.

Пузатов злобно возится над мотором, искалеченным осколком снаряда—дело, видно, тоже безнадежное—может, не держать зря этого нача, отпустить, шепнуть, чтоб уходил...

Нет, нельзя, тут связанное дело, как веревками, цепями, цепочками, как связан мотор взаимностью частей. Нет, нельзя.

Воблы, гайки, копоть,—это все частицы души.

А по-настоящему, перед самим собой, это—*теория*.

На практике, по правде, практика и есть правда —

— швырнуть бессмысленный конус в угол, уйти, убежать, ухнуть без ужина в постель, почти нет человеческих сил сдерживаться, заплакать можно. Жалко нача, жалко себя, жалко даже Пузатова.

— Времени десять,—бесстрастно отметила мастерская и стало ясно, что в углах—бездонно, что концов вообще нет на свете, что за воротами—не улица, а бездна, что никогда—никому—не попасть домой.

— У-у, курррва,—вякнуло в углу, над ящиком лома.

И вдруг —

— упруго спрыгнув с пружины напряжения, бешено взвившись в низкий потолок, ударив, ударив в уши рядом повторных ударов, разрывая бездны, провалы, выбрасывая отысканные концы, —

стрррремительно трахнул мотор.

Ваня выпрямил согнутую спину.

Кренделем над мотором, весь вперившись в машину, в душу, в копоть, в рев клокочущей смеси, охотником в дичь, в трубу астрономом, влюбленным в глаза девушки, следователем в одежду преступника, Пузатов в мотор —

— остановил, включил, снова остановил—включил, потом выпрямился,

вытер пальцы о блузу и требовательно протянул руку к начу; тот понял, искательно мотнул портсигаром, а сам—весь в вопрос — — —

— Ну... ты шпарь домой. Завтра придешь, к семи. Ночью твоя музыка не нужна.

4.

С холодного скользкого дивана—чуть не кувырком—одеться и бежать... Куда бежать?

Мысль, заработавшая ясно, споткнулась и стала.

Что? Что было? Что было?

Зашарил руками по столу—наткнулся рукой на холодное, скользкое, маленькое—гадость, мокррица, ффу! спички... чиркнул —

— прямо влицо лезла бутыль с желтой жидкостью, вспомнил: самогонка, принес Афанасий, его послал, воротившись, Андрей Алексеич, то-есть отец Андрей, поп.

А потом? А потом? А потом?

У-у, как холодно! Вот он, могильный холод! Скорей одеваться—и вон из жилища мокриц и костей, на воздух, на воздух, к чистому небу... и это первый приют родины! Гадость, гадость! Разве можно... осквернять могилы?.. Вспомнил: в России все можно. Разве нельзя устроить так, чтоб не все было можно, чтоб какое-то было *нельзя?*

Ф-фу, гадость, гадость! И ничего в темноте не найдешь: ни фуражки, ни чемодана... и внезапно, ударом одним —

— вспомнил!

И сел на диван.

Да. Как же, как же, да.

Вошла, раздраженная, стукнула ружьем о каменный пол и —

— Опять вы, папа, пьете? Я же вам сказала: не смейте больше... и могилы поганите —

Мышь—проклятая, вздувшаяся могильная мышь—так и юркнула в подполье без слов —

— Собутыльника опять нашел. Гадость!

Валюська! Милая, родная, ведь, это я, твой Евгений, только тобой, только о тебе — — —

— Постыдились бы, гражданин.

И—ружьем застучав—исчезла —

— в гробу, в гробу! В могиле, могиле! В склепе, в склепе,—среди мокриц и костей — — —

Лучше бы, лучше бы остаться с Мустафой, обнять Мустафу, острым смертным поцелуем прижать Мустафу к себе...

Потом—пили—пили—пили—

Дикий намек проклятого попа о Валюське и Арбатове... Этот еще откуда?

Все встало в памяти. Все.

Глупо. Несносно, как... Дыло.

Да, кстати. Скорей отсюда!

Ярким морем опрокинулся свет; глаза заболели; кресты, покосившись, щурятся и лезут со всех сторон—из-за деревьев, из-за кустов, из ажурных решеток. Пахнет медом, тлением, осенним теплом.

Сел на могилу, раскрыл чемоданчик. Вот он, последний снаряд—плоский, блестящий, родной брат тех, никогда не выдававших. Не выдаст и этот. Только вставить бикфорд в капсюль, привычно прижать зубами, потом—в черное маленькое отверстие и —

спички в кармане.

Что скажут друзья в Трапезунде? Ничего не скажут—не узнают.

Как глупо все—ни веры, ни надежды, ни любви.

Ни матери их софии.

Еще минута, поползет, шипя, зловещий синий огонек, почти невидимый при ярком сиянии солнца, с язвительным добродушием доползет до капсюля, воспламенится гремучая ртуть, и все станет просто, как... Дыло.

Придет и Валюська со своим ружьем. Как это у них там называется-то? Маркитантка? Дочь полка, что ли? Атаманша?

Нет, не возьмешь ее насмешкой. Вообще, женщину не возьмешь насмешкой. Смертью тоже не возьмешь. Вообще, не возьмешь смертью женщину.

Женщина—жизнь. А смерть... Дыло.

Нет, так нельзя. Но что, что можно?

В детстве, из монтекристо, подстрелил большого дрозда, дерябу. Деряба мотался по кустарнику в смертной боли—не давался, уходил, подлетывая на четверть аршина, из куста в куст, с кочки на кочку, так и не поймал злой мальчишка с монтекристо дрозда-дерябу. И теперь также не давалась упорная, раненая мысль.

Ну, вот что.

Нужно взорвать банку—так, просто, потехи для, грохотом бухнуть на все окрестности —

— пусть арестуют.

— Совсем зря, в пустышку.

В самом деле—не таскать же ее за собой, как собачонку.

На зло всем чертям,—вот, как упырь говорит: чтоб всем шутьям взлететь на воздух. Взорвать—отойти—ждать. Прибегут, встревоженные, схватят, начнут бить. Потом... она. Ведь, она живет тут, рядом.

— Над нами крылья Эблиса —

Схватил бикфорд, блестящий изящный медный капсюль приветно сверкнул из ваты, засунул в него шнур, прижал со злостью зубами.

Глупо,—так глупо, и ну вас всех... к Дылу.

Бумажкой обмотал капсюль, из предосторожности, чтоб не взорвался при вдвигании,—в Анатолии не до этого было — и решительно вдвинул в банку.

Осмотрелся—в воздух бросить, что ли? Живем играючи.

Младенца Симеона,
его же жития было 3 месяца,
Господи упокой.

Не стоит тревожить младенца Симеона, пусть спит младенец Симеон. Вот:

Тише березы не шумите,
Моего Ваню не будите,
Ваня спит, спит, спит—
Его ангел хранит.

К чорту Ваню с ангелом. Вот Дылу бы!

Зачем же остановка? С Дылом нужно разделаться. Дыло по-серьезней Вань и младенцев Симеонов. По-серьезней эллинов и их фригийских колпаков. Дыло—свой, родной, а те—чужие, пафлагонские.

Дыло—упырь. Долой Дыло! Да здравствует сикрит!

Вот он склеп—пупырится животом упыря над бедными, простыми крестами. Хорошо же, Дыло. Прощай, Дыло.

Засунул банку в пробитое толстое стекло надгробия: разворотит и засыплет все без остатка. Прощай, Дыло. Зажег спичку и поднес к бикфорду. Не загорается. Надо обрезать. Аккуратно обрезал ножичком бикфорд и —

поджог.

Елочным аллюминием зашипел шнур, разбрасывая звездочки. Секунд на пятнадцать. Прощай, Дыло.

Отбежал. Подумал, отбежал еще. Может ушибить. Потом еще отбежал, попал на дорожку. Пошел по дорожке основательно, стараясь итти ровно, вспомнил: чемодан забыл. Чорт с ним.

Что же? Что же? Время, как будто, прошло?

Потом шел почти без сознания, сколько—не знал, видел вдали ворота кладбища—новые, тесовые, некрашенные ворота —

— грохнул взрыв —

вышел за ворота, постоял. Оглянулся, осмотрел ворота. Верно, ворота новые. Никого нет. Что ж, умерли все, что ли? —

нужно вернуться. Верно, все,—кто: все?—сбежались туда, к Дылу. Пошел. А, сзади шаги. И хрипло в тишине—особой тишине после взрывного грохота —

— Опять кака-то сволочь балуеть. Кольки раз гонял—рвуть и рвуть.

Сразу не понял:

— Кто рвуть?

— Ребяты. Накрали бонбов у подрывников—и балують. А вы, господин, отоспались? Похмелочки, может?

— Да что ж ты их не догоняешь, ребят-то этих?

— А неш их догонишь? Аны шустрые.

Поглядел в спокойное красное лицо—и злость, стыд, отчаяние,—зачем не себя уничтожил?—полезли в душу кусками, как льдины на берег весной.

— Опохмелились бы, господин? С лица-то не больно здоровые. Я сбегаю...

Нет, не избыть, не избыть кладбища, веретья, этих кусков глины на фартуке, этой страшной спокойной рожи не избыть—куда деваться, куда, когда весь мир в *Дылах?*

— и вдруг—чудесное всегда вдруг —

певучим пенясь грозным напевом в прозрачное небо—звонкой медью запевая, взвиваясь неровной валторной и трелью барабанной упадая, вставая, замирая, воскресая, призыво, весельем, твердостью, — —

музыка, музыка!

— Что это? Что?—дико в лицо Афанасию.

— А с субботника, должно, едуть. Хочете поглядеть—поглядите. Антиресно.

За ограду, за ограду, за оградой —

— на платформе по рельсам блестящим нестерпимо —

броневик, раскрашенный в тигра,

а на тигре—трубы, валторны, тромбоны

победительной песнью—в небо.

— С субботника,—примирительно Афанасий.

... Не удалось разглядеть Евразию...

Ветер с кладбища, запахи меда и тления.

1922.

Лесная сторожка на Истре.

Голубые песни.

Роман.

Всеволод Иванов.

(Продолжение).

Книга третья и последняя. Завершение длинных дорог с повестью об атамане Трубычеве.

I.

Атаман Артемий Трубычев в течение четырех дней, прикрыв кривые, обутые в огромные байпаки, ноги, лежал у порога юрты. Фиолетовыми отцветами плыли мимо стада. Атаман вспоминал, как узнают жирных баранов: погрузить пальцы в шерсть... Бараны, цокая копытцами, желтея выцветшей за зиму шерстью—мимо.

Атаман думал: тугое и широкое над степью солнце. Тугие, необ'емные стада—три дня они идут мимо. Меняя иноходцев, в степи, среди пахучих весенних стад носится в пропахшем человеческим потом, прадедовском, ханском, седле инженер Чокан Балиханов. Узкая тропа меж стад—не потому ль широки у Чокана взмахи тела? Чокана Балиханова кумысом и жирными баранами угощают в юртах киргизы.

Чокан Балиханов привел к атаману офицера-поляка. Длинное и тусклое—как сабля—лицо. Одну саблю привез в степь офицер Ян Налецкий. Был он в крестьянском армяке и в оленьих пимах. И от этого особенно тянулась и выпячивалась его грудь.

— Имею доложить... проживал три недели, скрываясь в Павлодаре... обыск... видел Запуса.

Балиханов смеется:

— Он еще существует?

— Да. Документы признали сомнительными, арестовали... Какие огромные и глубокие сугробы в городе, атаман. Я устал...

— Конечно, конечно.

— Вы здесь будете сыты,—смеется Балиханов.

Об Яне Налецком—потому, что три дня спустя приехавшие из Омска генералы жаловались на большевиков и просили Чокана собрать киргиз для восстания. Ян Налецкий говорил о чехах, поляках, о Самаре и Уфе. Казаки готовы, в станицах выкапывают из земли пулеметы.

Яну Налецкому сказали:

— Вы через степь, к уральским казакам...

— Слушаюсь,—ответил Ян Налецкий...

В этот вечер по тропам, пахнущим темной шерстью стад, Чокан Балиханов водил Яна Налецкого и атамана.

Неприятно топорщились у Налецкого широкие прозрачные уши и атаману казалось, что поляк трусит:

— Я исполняю ваше приказание, я еду по степям, не зная ни слова по-киргизски. Мне кажется, атаман... я и то,—у меня мать в Томске, а меня отправили в степь...

Балиханов сбивался с тропы, быстро выскакивал откуда-то сбоку. Плечи у него острые, злые.

— Я ж пускаю вас, Налецкий, от аула к аулу. Я—хан!

Он сбрасывает фуражку и, визгливо смеясь, трясет синей бритой головой.

— Атаман скучает, а то бы он поехал, с радостью... Ему хочется очень в Павлодар... Какую роль исполняет там Запус? И заметили ли вы что-нибудь внутреннее в большевиках... А?.. Если вам хочется в Томск, вы должны обратиться к атаману, я вас только по аулам... я—хан!

— Но мне, Чокан...

Атаман Трубычев присутствовал на совещании генералов, бежавших из Омска. Накатанные старые слова говорили генералы. Чокан Балиханов неожиданно начал хвастаться степью и киргизами: атаман тоскливо смотрел на его скрипучее смуглое горло, похожее на просмоленную веревку. Горло слабо пришито к шее—зачем?..

Канавы у дорог наполнены желтыми (пахнущими грибом) назьмами. Плотно стояли они в глазах атамана, может быть, потому что Чокан скакал по назьмам.

Казаки сквозь пыль—как темные проросли. Пыль над дорогами гуще желтых назьмов.

Пески, как небо. Курганы, как идолы — голубые бурханы. Озера, как облака.

Острые мордочки сусликов пахнут полынью и можжевельником.

На монгольских скалах белые грифы рвут падаль.

Падаль, потому что—война. Падаль, потому что—мор.

Голубыми землями уходят караваны киргиз в Индию. Пыльно-головые табуны казаков мчатся на города.

Подошвы караванных верблюдов стерлись, подошвы подшиты шкурами От белесых солончаков выпадают ресницы людей, мокнут ноги и как саксаул-дерево гнутся руки.

Небо—голубые пески. Пески—голубое небо.

Мало радости! Мало у вас радости!

... От радости сгорит мое сердце, как степь от засухи. Сгорит — и воскреснет!

II.

Летом 1918 года Сибирь занята чехами.

Тем же летом, через степь, на Аик рвался офицер Ян Налецкий.

Атаман Трубычев—под Павлодаром. Над поводами казацких узд—пики, винтовки, шашки. Не сотрется, сохнет, в'едается в сталь шашек липкая красная влага. От плеча к плечу, выдирая сердце, выворачивая на спаленую землю мокрые кости: медь, свинец, железо—в человеческом теле.

Атаман Трубычев—под Павлодаром.

III.

Дни Запуса и Олимпиады:

Матрос Егорко Топошин влетел в ограду на таратайке. Трещала плетеная ива под его толстыми, как столетние ивовые стволы, ногами. Плетенье коробка оседало рыхло, мешком, на дроги.

Орет:

— Вась!.. Давай сюды.

И нарочно что ль Запус сидел, свесив ноги с крыши сеновала. Над золотисто-розовым (слегка веснушчатом) лбом выкинуло, трепало ветром—теплым, веселым—горсть сена, ковыль желтовато-белесый, маслянистый. Кого Запусу кормить этим сеном? Егорко Топошин смотрит на его руки.

— Ва-ась!.. Ревштаб, конечно... да иди ты, стерва, вниз.—Ва-ась!.. Атаманы под городом, Трубычев там, генералье казаков ведет, растуды их... Я им, в штабе, заявил на общем собраньи — пленум? Конешно... При сюда Ваську.

— А в партию?

— Вся наша партия на небо пойдет. Бридько говорит: Омск взят чехами, а коли не взят—откуда, кто поможет? Там, разберемся коли прогоним. Не прогоним—каки у тебя ни востры жилы на шеях-то, а шашка крепче казачья...

— Крепче. Мне—что...

— Понес?

— Есть.

И, когда Егорко полез опять разрушать таратайку, Запус, мотая руками, крикнул:

— А прогоним, возьмут?

— В партию-то?

— Ну!

— По моему с комфортом... Они заелись, ну и выперли.

Еще:

— Они послали?

В воротах по кирпичам, словно грохочет бревно:

— Кто?..

— Ревштаб, кикимора!

— Не-е... это я са-ам, Ва-ась... Не ломайсь!.. «Революци-и... прегра-ады не зна-ако-мы!..» Крой—гвоздем!

Олимпиада помнила такие же дни—когда у пароходных пристаней метался «Андрей Первозванный», а Запус жег казачьи поселки. Такое же как и в прошлом году сероватое, горькое как полынь, над степью небо. Сердце что ль старится,—болит крепче и выходит наружу сухими алыми пятнами. Олимпиада шла в Уком. Стук пишущих машинок — словно прутом сухим вести по плетню. Закрыть глаза и машинка, как длинный звонкий прут. В бревенчатых стенах Народного Дома, среди плакатов, похожих на ситцы, Запус и другие, о которых не думала Олимпиада. И вот—часами из этих бревенчатых стен они и Запус вырывались наружу, кого-то убивали и, возвращаясь обратно, совсем не становились спокойнее.

История взятия казаками Павлодара в восемнадцатом году будет историей Олимпиады, так как Запус через кровь и трупы видел ее мокрые—словно все из воды—смугло-кожие глаза; над серым пеплом пожарищ—головни тлели, сосали грудь, как ее косы. Чубастые (с носами, как челноки в камышах) казаки, заменившие было шинели домотканными бешметами,—их было немного, едва ли сотня, и не потому ль особенно яростно гнали они в степь коней, и яростно умирали (один всунул руку в рот киргиза и вырвал челюсть).

Сопели бревенчатые улицы конскими глотками.

Загораживая нужную мещанам жизнь, мчались, тихо звеня железом, красно-бантные.

Пустовали церкви. В собор, в простреленные окна, влетали и гикали под кирпичными сводами твердозобые голуби. Слушая перестрелку, думал о них протоиерей о. Палладий: «сожрут просфоры и причастье».

Лебеда в этот год подымалась почти синяя, выше человека, а лопух толст был как лепешка и широк (под ним любили спать собаки). Мимо синей лебеды тяжело ходить мещанам, а ходить нужно—мобилизовали рыть окопы.

А Кириллу Михеичу сказали:

— Сиди... стариков приказано отстранить.

И потому ль, что мчащиеся всадники, тряся весело бантами, загораживали нужную жизнь, или—что не взяли работать окопы, Кирилл Михеич поздно ночью пришел в свой дом. В кабинете, где раньше на широком столе, раскладывал он планы семнадцати церквей, стоял самовар и Запус, показывая выложенную золотым волосом грудь, пил чай. Слышал Кирилл Михеич голос Олимпиады, а матрос Егорко грохотал под потолками хохотом.

— Живут,—сказал Кирилл Михеич и перекрестился.

А Поликарпыч, растянув по жесткой шее, густую, как валенок, бороду, лежал на верстаке. Усы у него потемнели, вошли в рот. Он повернул лицо к сыну и, схаркивая густую слюну, протянул:

— Че-ево?..

Кирилл Михеич подставил табурет к верстаку и, наклоняясь к его бороде, сказал:

— Воду и то покупать приходится; за водой итти не хочут даром, большие деньги надо... Палят.

Старик повел по шее бородой:

— Палят?

— Палят, батя... Фиоза-то меня послала, говорит:—ступай, скажи... Поликарпыч открыл дурно пахнущий рот и улыбнулся.

— Ишь, антирисуется!..

— Бате-то, сказывают, плохо. Потом война, убить ни за что, ни прочто могут. Ты имущество-то перерыл?

— Нет, оставлю на старом!.. Жди! Тебе-то куда, ты-то хранишь ево? Я ево храню, моё... я и знаю где...

— Тут насчет еды, батя... Исть нечево, воду—и ту за большие деньги. Муки на день осталось—три фунта...

— Ну, это многа-а!.. Хватит...

— Ты, ради Бога, скажи мне... нельзя одному знать такие места... не дай бог...

Старик, оплевывая бороду, дрыгая и стуча коленями, заговорил:

— Бережители, бережители вы! Куды от своего места побежал... жрать захотел, вернулся?.. Выкопать, выкопать тебе, указать? Я сам, иди к хрену. я тутока все места знаю... вы ранее меня все передохнете...

— Фиоза-то худеет, батя, бытто вода тело-то стекает. До смерти ведешь?

Поликарпыч, ерзая по верстаку, плевался:

— Пуппу! пу!.. Солдатскими хлебами откормилась, на солдатском спала—стекашь?.. Теки, чорт те драл, теки! Мне што?.. Я-то сберегу!..

И целую ночь до утра, Кирилл Михеич сидел подле отца в пимокатной. Отец засыпал, пел в нос визгливо частушки. Один раз заговорил о Пермской губернии, тогда Кирилл Михеич вспомнил: надо взять спящего за руку и он все расскажет. Кирилл Михеич взял потный с мягким ногтем палец и тихо спросил: «куды перекопал?». Старик открыл глаза, поглядев в потолок, попросил пить.

А на третий день, когда нос Поликарпыча резко и желто, как щепа, выступил из щек, Кирилл Михеич, тряся его за плечи, крестясь одной рукой, закричал:

— Батя, батя!.. Сгниет все... Куды спрятал?

Тут старик потянулся, сонно шевельнул бородой и, внезапно подмигнув, сказал молодым тенорком:

— Взял? Что?..

И, не открывая больше рта, к вечеру умер.

О похоронах его Запус сказал Егорке Топошину так:

— Там, у меня во флигеле старикашка отвердел... от тифа должно быть... Направить его в общую обывательскую могилу.

— Есть,—ответил Топошин.

А Кирилл Михеич отца провожать не пошел: противилась и плакала Фиоза. Олимпиада же секретарствовала на заседании Укома Партии.

Генеральша Саженова провожала Поликарпыча. А когда завалили яму, нашла она на кладбище пустое место, посидела, поплакала на травке, а потом принесла лопату и, басом шепча молитвы, рыла могилу. В Ревком же подала ходатайство—«в случае смерти, схоронить ее и дочь Варвару, в вырытой собственноручно могиле, из уважения к заслугам родины, оказанным генералом Саженовым».

В могилу эту генеральше лечь не удалось, а закопали в нее после взятия Павлодара жену председателя Совета т. Яковлева, Наталью Власьевну. Была она беременна и на допросе ее заспорил Чокан Балиханов с атаманом Трубычевым: мальчик или девочка—будет большевик?—«Девочка»,—говорил Чокан. И у Натальи Власьевны, живой, распороли живот. Девочку и мать зарыли в генеральскую могилу, а труп тов. Яковлева с отрезанными ушами, кинули подле, на траву—и лежал он здесь, пока не протух.

IV.

Когда в Народный Дом прискакал нарочный и донес, что казаки в пригороде, в джатаках,—предусовета т. Яковлев приказал Запусу:

— Берите командование, надо прорываться через казаков к новоселам, в степь.

— Есть.

Яковлев широкой, с короткими пальцами, рукой мял декорации. В зрительном зале сваливали в кучи винтовки. В гардеробной какой-то раненый казак рубил топором выдернутую из шкафа боярскую бархатную шубу. Запус улыбался в окно.

— Вы понимаете, тов. Запус, ценность защиты завоеваний революции? Если б происходила обыкновенная война...

Улыбка Запуса перешла, и скрылась в его волосах.

— Видите ли, товарищ Яковлев...

— В обыкновенной войне вы могли бы считаться со своими обидами... огорчениями.

— Я совсем не об...—Он замкнулся, улыбнулся трудно выговариваемому слову: — об обидах... у меня есть может быть сантиментальное желание... Чорт, это, конечно, смешно... вы потом это сделаете... а я хотел бы сейчас... с зачислением стажа...

— В партию?

Яковлев тиснул ему руку, толкнул слегка в плечо:

— Ничего. Мы зачислим... с прежним стажем...

— До—Шмуро?..

— До всего прочего.

Запус откинул саблю, пошел было, но вернулся:

— Ну, закурить дайте, товарищ Яковлев...

Олимпиаде же сказал в сенях:

— Взяли...

— Куда?

— В партию.

Запус и Егорко Топошин скакали к окопам подле ветряных мельниц.

Олимпиада прошла в кабинет председателя Укома, вставила в машинку кусок белого коленкора. Печать Укома она искала долго—секретарь завернул печать в обертку осьмушки махорки. Она сдула влипшие меж резиновых букв: «У. Комитет Р. К. П. (б-в)»—крошки табаку, оглянулась. В пустой комнате сильно пахло чернилами. В углу кто-то разбил четверть. Она сильно надавила печатью на коленкор.

Теперь короткая история смерти

Запус быстро, слегка заикаясь, говорит о своем включении в партию. У мельниц голос его заглушается перестрелкой. По пескам, из степи, часто пригибаясь, бегут казаки—к мельницам.—Крылья мельниц белые, пахнут мукой,—так, мгновение, думает Запус.

Тогда в плечах подле шеи тепловато и приторно знобит. Запусу знакомо это чувство; при появлении его нужно кричать. Но окружающие его закричали вперед—всегда в такое время голоса казались ему необычайно громкими; ему почему-то нужно было их пересилить.

Казаки, киргизы—ближе. Бегство всегда начинается не с места убийств, а раньше. Для Запуса оно началось в Народном Доме два дня назад, когда неожиданно в саду стали находить подбрасываемые винтовки: кто-то, куда-то бежал и страшно было то, что не знали, кто бежит. Донесение отрядов были: все благополучно, кашевары не успевают варить пищу.

Запус в седле. Колени его трутся, давят их крупы нелепо скачущих коней. словно кони все ранены. Казаки рубят саблями кумачевые банты—и разрезанное кровянисто-жирное мясо—как бант. Запуса тошнит; он, махая и тыча маузером, пробивается через толпу. Его не пускают; лошадь Запуса тычится в крыло мельницы. Между досок забора и ближе, по бревнам, он видит усатые казачьи лица. На фуражках их белые ленты. Запус в доски разряжает маузер. Запус выбивает пинком дверь (может быть, она была уже выбита). Запус в сенях.

Здесь в сенях, одетая в пестрый киргизский бешмет, Олимпиада, Запуса почему-то удивляют ее руки—они спокойно и твердо распахивают дверь в горницу. Да! Руки его дрожат, рассыпают патроны маузера.

— Кабала!—кричит Запус. Но он все же доволен, он вставил патроны. Когда патроны вставлены, револьвер будто делается легче.

И наверное это отвечает Олимпиада:

— Кабала.

И, точно вспомнив что-то, Запус быстро возвращается в сени. Олимпиада молчаливо ждет. Казаки остервенело рубят лошадь Запуса. Егорко Топошин бежит мелкими шажками; выпуская патроны, Запус лежит возле бочки с капустой в сенях. «Курвы».—хрипит Егорка. На крыльце два казака тычут ему

в шею саблями.—Какая мягкая шея,—думает Запус, затворяя засов: Егорка не успел вбежать в сени: с его живота сострелівает Запус киргиза.

— В лоб!—кричит Запус и, вспоминая Егорку:—курва!..

Левая рука у его свисает, он никак не может набрать патронов. Олимпиада топором рубит окно. Ему необычайно тепло и приятно. Топор веселый и звонкий, как стекло. Запуса вытаскивают на подоконник. Он прыгает; прыжек длится бесконечно—его даже тошнит и от необыкновенно быстрого падения загорается кожа.

Олимпиада гонит дрожки. Запус всунут под облучек. Подол платья Олимпиады в крови Запуса. И от запаха крови, что ль, неистово мчится лошадь. Казаки продолжают стрелять в избу. Олимпиада смеется: какой дурак там остался, в кого они стреляют?

Дрожки какого-то киргизского бея. Но уже подушка бея, вышитая шелком, в крови Запуса. Колеса, тонкий обод их вязнет в песке. Перестрелка у тюрьмы, у казарм. Город пуст. Лошадь фыркает на трупы у заборов. Жара. Трупы легли у заборов, а не среди улиц.

Олимпиада скачет, где—спокойнее. У пристаней белые холмы экибастукской соли. Пароходы все под белыми флагами. Мимо пароходов, вдоль пристаней гонит Олимпиада. Хорошо, что ременные возжи крепки. Перестрелка ближе. От каланчи под яр дрожки с Запусом.

Воды неподвижные, темно-желтые, жаркие. В седом блеске Иртыш.

Моторный катер у берега. К носу прибит длинный сосновый шест и от него полотенце—белый флаг. Трое матросов, спустив босые ноги в воду, закидывают головы вверх на яр. Считают залпы.

Олимпиада не помнит этих лиц. Лошадь входит в воду и жадно пьет. Олимпиада берет на руки Запуса.

— Дайте, трап, товарищи,—кричит она.

Средний, приземистый, темнолобый подбирает ноги и, грозя кулаком, орет с матерками:

— Что не видишь, сука? Сдались!.. Иди ты... с хахалем своим... Привезла!

— Под убийство нас подводит!

— В воду его, пущай пьет!

— Любил...

Веснушки на пожелтевшем лбу Запуса крупнее. Кофточка — от его крови—присыхает к рукам. Держать его Олимпиаде тяжело и она идет по воде, к лодке.

Матросы мечутся, матерятся. У низенького острые неприятные локти:

— Он же раненый, товарищи!..

— Серый волк тебе—товарищ, стерва!

— Да-ай ей!.. Все мы ранены.

Олимпиада с Запусом в воде по пояс. Вода смывает кровь с его рук и они словно становятся тоньше.

Матросы трогают борта, они плюются в воду навстречу шагающей Олимпиаде. Они устали воевать, им хочется покоя,—к тому же вся Сибирь занята чехами.

Вода выше. Весь Запус в воде. Золотые его волосы мокры — или от воды, или от плача, от ее слез?

Олимпиада идет, идет.

Подбородок Запуса в воде. Она подымает голову его выше и вода подымается выше.

Она идет.

И она кричит, вскидывает руку. Голова его скрывается под водой:

— За вас ведь он, товарищи-и!..

Здесь лодка гукает.

Поворачивается боком.

Темнолобый матрос расстегивает для чего-то ворот рубахи, склоняется с борта и вдруг хватает Запуса за волосы.

— Тяни!

И все матросы обрадованно, в голос кричат:

— Тяни, Гриньша-а!..

Неистово гукая, лодка несется по Иртышу. Темнолобый матрос срывает шест и белым полотенцем перетягивает простреленное плечо Запуса. Рот матроса мокрый и стыдливо гнется кожа на висках. Он говорит Олимпиаде:

— За такое дело нас кончат, барышня... понимаешь? Нам надо было его представить по начальству, раз мы сдались... мы, что зря белый флаг вывесели? Ладно нас не видят... а как из пулемета по нам начнут? Пуля-то у него не разрывная?

— Не знаю,—говорит Олимпиада.

Матрос смущенно щупает у ней платье:

— Ширстяное, высохнет скоро...

Лодка—налево через Иртыш, к Трем Островам. Потом, мимо островов, пугая уток, протоками, среди камышей.

Лодка—в пахнущий водорослями ил берега.

Матросы выпрыгивают, переносят Запуса, кладут его на шинель. Жмут Олимпиаде руку. Из лодки уже кидают на берег буханку хлеба.

И в протоке темнолобый матрос Гриньша лезет в свой мешок, вынимает полотенце и, матерясь, прибивает его к шесту.

V.

Земным веселым шорохом наполнены камыши.

Утро же холодное и одинокое.

Олимпиада не разводит костра. Где-то близко у камышей скачут кони— может, табуны,—может, казаки. Черемуха за камышами—черные страшные у ней стволы.

Дальше черемухи не шла Олимпиада.

Револьвер—браунинг. Один за другим шесть раз. На шестерых. А здесь двое.

Шинель пропиталась илом. Запус мерз.

Тогда Олимпиада вышла за черемуху.

Меж колей—травы испачканы и пахнут дегтем.

Запус бредил.

Олимпиада шла колеями. Страшен запах дегтя—он близок: человек. Со злостью срывала Олимпиада замазанные дегтем стебли. Но дорога длинна, и кожа рук нужна другому.

Олимпиада услышала стук колес. Он был грузный и медленный. Нет, так хотелось. Он был быстрый и легкий.

Олимпиада зашла в черемуховый куст. Она была темна, как ствол черемухи—спала на иле и не хотела умываться, потому что тогда словно слипались для нее дни—творился и мучился один день.

Олимпиада стоит в черемуховом кусте. По дороге быстро и легко—таратайка. Круглощекий розовый мещанин осторожно правит лошадью.

Дни ее—неумытые, темные—длились как один; в этот день она почти через весь город промчалась по распоротому человеческому мясу,—почти мужским стал ее голос, когда она крикнула веселому мещанину:

— Слазь!..

А мещанин внезапно убрал щеки, лицо его состарилось, и словно выпали брови.

Олимпиада указала револьвером на лошадь. Мещанин навернул возжу на оглоблю,—чтоб конь не бежал.

Тогда Олимпиада увела его через черемуху, в камыши. Одной рукой она придерживала голову Запуса, другой—револьвер, направленный в голову мещанина.

Мещанин положил Запуса в тележку, снял свое пальто, накрыл им Запуса и спросил:

— В город, к парому повезете?

— К парому...

— Действительно, паром теперь в действии, переправляет.

И он торопливо, обрадованно пошел в камыши принести шинель Запуса. А когда он, запыхавшись, наклонился,—Олимпиада выстрелила ему в шею.

Липкая теплая тина на руках Олимпиады. Мещанин тяжел и неповоротлив, как тина. Хотела накрыть его землей;—ни лопаты, ни топора—и Запус ждет.

Выпачканные дегтем травы, зашипели о колеса тележки. Лошадь под чужой рукой стремилась напуганно. Как плетни, туго завиты степные дороги в ковыле, в логах. Дороги тонкие, как прутья.

Олимпиаду встречали позади деревень, ночами. Приходила больше молодежь, и долго шопотом, словно передавая другое совсем, рассказывали истинные степные тропы, куда не попадают казаки. Павлодар молчит. Куда везет Олимпиада Запуса? Каждый указывал свою дорогу.

Запус беспамятствовал. Тележка трясла, выбивала его кровь. Нигде не хотели Запуса, везде указывали дороги, дальше, вперед.

Олимпиада—в киргизских аулах. Олимпиада показывает беям—аульным старшинам—бумаги: она, жена, везет лечить на Горькие Озера раненого мужа своего офицера Артемия Трубычева. У Олимпиады револьвер, огромная жир-

ная печать на бумаге—беи дают лошадей. Мимо киргиз и часто вместе идет война... Мало ли мчится офицеров? Если эта тонконогая женщина хочет везти быстрее других,—она жена. Беи угощают ее иримчиком и айраном, и расспрашивают о Павлодарском восстании.

Чем глубже, тем тише степные дороги. Колеи словно выложены войлоком. Запус лежит на овчинах. Возница-киргизенок поет самокладку: «ээый... желтоголовый офицер... голова у него словно из масла... а глаз не видать, как в песках воды... Я везу его быстро—так коршун тащит птицу; тонкая женщина сидит рядом, у ней маленькое ружье, меньше ладони, и громкий рот»...

Ян Налецкий встретил Олимпиаду в ауле Йык-Тау: Ян Налецкий не торопился ехать в Аик—он ел у беев баранов, пил кумыс. Ему жаль только—нет чистого белья, тогда б он позволил себе отдохнуть дольше. Все равно уральские казаки не восстанут, да и кого теперь убедят бумажки, написанные генералами? Так он и сказал Олимпиаде:

— Наши женщины, в Польше, похожи на вас, сударыня...

Налецкий стыдливо скрывает в длинных рукавах бешмета грязные руки. Говорит он много, шипяще и нараспев.

— Изволите везти мужа?

— Да...

Ян Налецкий наигранно всплескивает руками:

— Как прекрасны русские женщины! В гражданскую войну, когда на дорогах ежеминутно попадаются шайки, когда мне, представителю Правительства, часто не дают лошадей.... О, великий русский народ!

Они показывают свои бумаги бею. Низенькие, как грибы, столики. Медные кутаны—с *длинными, как лебединая шея, носками. Розовое солнце на* темно-желтых ногтях бея. Олимпиада переводит по-киргизски слова Налецкого:

— Я представитель Сибирокого Правительства... еду по срочному поручению в Аик... Ян Станиславович Налецкий, поручик... прошу не задерживать и отправить меня в первую очередь.

Он осторожно берет бумаги Олимпиады и опять наигранно плещет:

— Атаман Трубычев! О, мати Боска, доблестнейший человек, герой!.. Атаман нездоров?

Олимпиада сует бумаги в карман. Листья теплые, влажные. У ней на плечах маленькая черная накидка, подбитая голубым сатином. Она спускает накидку на грудь и еще ею прикрывает бумаги.

— Вы слышали о нем?

— Великий человек! Вся Сибирь знает! Мне ли не слышать об атамане Трубычеве...

Он жмет ее руку.

— Мало, мало—я знаком с ним! Ведь он меня и отправил...

Ян Налецкий закидывает узкое лицо. Хохот у него длинный и глухой:

— Но ведь он будет бешено смеяться!.. Он почти догнал меня и теперь имеет право сделать мне выговор за растянутое движение... Разрешите...

— Он ранен.

— А-а-а... — Налецкий плещется, тянется, стонет. — Какое-е несчастье... а...

— Вы его увидите, когда он проснется.

Олимпиада говорит по-киргизски бею:

— Генерал желает ехать со мной в одной подводе. Дайте пару... Ямщиков не надо, из следующего аула лошадей вам вернут. Генерал правит сам...

Бей напуган, бей боится потерять лошадей. Но генерала он боится еще больше. Он сам бежит из юрты выбрать лошадей похуже.

— Что с ним?—спрашивает Налецкий.

В юрте они одни.

Дни Павлодара кончились, начались дни степи. Нужно часто прикасаться к голове Запуса, менять повязки. Ей тяжело подымать револьвер, и на Яна Налецкого нет злости. А говорить приходится громко и напыщенно, и от этого подымается злоба:

— Я везу не атамана Трубычева, не мужа... Запуса везу! Сейчас я велела запречь лошадей, без ямщика... вы сядете править... Если вы не согласны, я вас пристрелю...

Она отходит к дверям, чтоб не выронить револьвера. Ян Налецкий без оружия и он говорит:

— Разве я буду стрелять в женщину?.. Нелепо! Глупо!..

Ян Налецкий сидит на облучке. Шея у него длинная, длиннее лица. Лошадьми он правит хорошо. Олимпиада велит ему не оборачиваться. Когда он спрашивает,—он наклоняет голову. Сначала он вежлив, а затем визгливо тянет:

— Куда вы меня везете? Мне в другую сторону ехать!..

К вечеру он решает покорить ее любовью. Он рассказывает о своих победах, о том, что его никто не любил. Любовь такое великое чувство: однажды на фронте ему отдалась девушка, девственница.

— Она отдалась накануне сражения: меня могли убить. Это такое счастье! Больше я ее не мог найти!..

Олимпиада думает: что с ним делать ночью. Она устала, ей хочется спать. Запус бредит, его приходится часто поить. Голова его у ее колена. Меняя повязку—Яна Налецкого она гонит в степь.

Олимпиада связывает его на ночь. Бечевка хлипка; Олимпиада часто просыпается. Налецкому холодно; все же он лежит неподвижно; ему кажется, что Олимпиада его сейчас в темноте убьет.

Утром он дремлет. Вожжи скользят из его рук; облучек плывет назад. Грудь саднит. Он стонет:

— Что я за несчастный человек!..

Шарахаются из трав птицы.

Летом восемнадцатого года отряд красноармейцев Стального Ижевского полка встретил подле Урочища Бык-Бала в Оренбургских степях подводу.

Высокий длиннолицый человек в киргизском бешмете правил лошадьми. Плеская руками, он упал, гребя коленами песок, закричал:

— Ах, убейте, убейте меня скорее...

Золотоволосый, с перевязанной полотенцем рукой, розово—всем лицом—улыбнулся и спросил:

— Самарских у вас нету?..

Олимпиада распорола пояс кофточки, вытащила лоскуток коленкора и подала Запусу. Над неразборчивой подписью т. Яковлева—напечатано: «Пред'явитель сего тов. Василий Запус является членом Павлодарской организации Р. К. П. (б-в)»... Запус погладил бумажку и, перегибая тело (чтоб не разбередить плечо), вылез из тележки. Ян Налецкий пошел было к нему, но вдруг вытянулся с шипящей длинной нараспев речью:

— Я умру, как подобает офицеру... Я представитель Сибирского Правительства.

... Пески, бурханы, кустарники — такие, как и в Павлодаре. Голубая, почти белая полынь. В пески глядела Олимпиада. Тихо, как степь, дышали верблюды; у них острые, пахнущие песком, морды и немного раскосые глаза.

Яна Налецкого ведут в концентрационный лагерь. В широкие его уши набивается тяжелая пыль. Степная жаркая пыль на висках, словно камень.

Васька Запус в ячейке отряда Стального Ижевского полка делает доклад о белогвардейских восстаниях в Сибири.

... Губы у Васьки не степные,—порозовели и в дрожи окунается в них Олимпиада.

Веселые молодые над нею облака.

VI.

Чокан Балиханов сказал атаману Трубычеву:

— Я привел вам тысячу киргизских седел... по соглашению между нами в полках будут русские инструктора. Я просил бы назначить инструкторами казаков,—они говорят по-киргизски...

Чокан отрастил усы—были они зеленовато-черные, тонкие, словно губы обведены ниткой. Склонив крепко бритую голову, он внимательно смотрит на плечи атамана. От взятия Павлодара прошел год, Чокан в это время с'ездил на Дальний Восток к атаману Семенову (Колчака и эс-эров он не любил). У атамана Семенова слегка подергивающиеся плечи,—Чокан сравнивает с ним Трубычева. Чокан просит усиленного питания для своих солдат. Здесь атаман вскакивает—блестят желтые, словно медные, краги и галифэ у него хрустят кожанно. Он кричит об интригах, взаимном непонимании, подлости генералов.

В юрте пахнет кумысом и седлами на сундуках.

— Всю Сибирь скоро займут большевики... мы тут на камне сидеть будем. Я приказываю вводить безжалостную дисциплину!.. Если...

Он внезапно стихает, опускается на кошму:

— Вы меня простите, я устал, Чокан... Вы со стадами пришли, Чокан?

— Я пришел всем моим народом.

— Значит, мяса у нас будет достаточно?

Чокан целый год не улыбался. Когда взяли Павлодар и позднее—Омск, Чокана русские стали называть хитрым азиатом. Имея власть,—нужно твердеть лицом. Чокан—хан. Чокан скинул европейскую куртку со светлыми пуговицами (он ее очень любил) и натянул халат. Оставаясь один (это происходило редко), он достает из чемодана «Юмористический чтец-декламатор» и, широко разевая рот, хохочет.

Атамана он знает давно. Едва ли тот сколько-нибудь изменился: только говорит длиннее. Чокан улыбается:

— Да, мяса много.

— Рассчитывая на помощь киргизского народа, имея за плечами помощь Японии...

Чокан вдруг хохочет:

— Что такое?

— Я вспомнил японских женщин... как к ним ходили казаки... и бесцельно! Мне атаман Семенов рассказывал, это бесподобная история. Женщины у них маленькие—как ткань...

— Что?

Чокан играет уздечкой. Седло выложено точеным серебром—Чокан подарил год назад.

— О Павлодаре не думаете, атаман?

— У меня там ничего, Чокан.

— Я знаю, я не об этом. Я думаю часто... оттуда мы вошли в Сибирь. Ворота!.. Как его... там находится... о силе еще много рассказывали. Я его, правда, не видал, я о силе наслышался. У вас же редко встречаются розовые свежие лица... вы не помните его фамилии, атаман?..

Чокан думает, что атаман не ответит. Атаман закуривает и говорит спокойно:

— Запус. Он теперь с моей женой живет. Точно, в Павлодаре ли он?

— Мне неизвестно. Если желаете, приму меры.

— Бросьте... стоит ли.

Проезжая среди телег беженцев из Сибири, Чокан говорил о степях, пастбищах. Халат у него пестр, как весенние лога. Как на весну смотрят на него киргизы.

Скрипят толстоколесые арбы. Шалаши из камыша. Шерстью—серой и грязной—наполнены арбы и шалаши. Ордой наполнена монгольская долина Ак-Тюрши.

Атаману Трубычеву нельзя долго ездить. Он провожает Чокана до его юрт. Широкозадый киргизенок подымает пред ханом кошомную дверь.

Возвращаясь, атаман думает о дисциплине. Степь разваливает крепость духа, это доказывает атаману—казак, сплошь заросший диким волосом. Он лежит на животе под телегой и для чего-то полотенцем трет себе шею. Атаман решает, что казак бежал с караула.

Он склоняется с седла и бьет казака плетью по голым ногам.

— Сволочи! С караула удрал! Есть отпускной билет?

Казак выше лошади. В голубых его глазах слезы и это еще больше злит атамана.

— Так точно, господин полковник, есть...

Женщина, лежавшая рядом с казаком, Фиоза Семеновна. Возможно, что, увидев ее,—подумал так о казаке атаман Трубычев.

— Из Лебяжьего?

— Так точно, господин полковник.

— Фамилья?

— Егор Заливин.

— Иди. Я ж говорил—не сметь шляться к беженцам. На два часа под ружье. Доложи.

— Слушаю, господин полковник.

Атаман причембыривает коня к телеге. Фиоза Семеновна садится рядом, у ней такое же, как и раньше, широкое тело, и еще не осел внутрь мутный зрачок. Атаман плетью сшибает с краг шерсть кошмы.

— Кирилл Михеич здесь?

— Он кизек в степи собирает, Артемий Иваныч. А этот, был что, из Заливиных... Лебяжинских, помните? Вы его больно-то не наказывайте...

— Постоит. После всегда веселее становится.

— Самовар согреть, Артемий Иваныч?

Атаман вдруг вспоминает, как однажды в Павлодаре он играл в карты с Запусом. Для кого вошла тогда в пимокатную Олимпиада? Он со злостью смотрит на загоревшие, вялые щеки (они теперь, как осенние листья) Фиозы Семеновны.

— Муж-то с тобой спит?

— Он теперь, Артемий Иваныч, в религию пошел. День и ночь молится.

— Спит что ль?

— Когда спит. Я его еле уговорила из Павлодара ехать, красные-то на него злы—урезали бы. В городе-то одни стены остались.

— Не к чему ехать. Сидели бы, зарежут—пусть.

— Все едут.

— Все?..

Атаман Трубычев оглядывает мягкое лоснящееся тело Фиозы Семеновны. Он устал от монгольских женщин—ими густо наполнены юрты подле лагеря, они пестры и раскрашены. Ламы в желтых халатах, китайские офицеры с золотыми драконами на погонах, мохнато-скулые казаки—все они ходят к женщинами курить опий и пить густой, приправленный салом, монгольский чай. Стада овец и коней твердо бьют копытами желтую землю, кочуя к западу. Стада пахнут кислыми осенними травами. Такие же запахи у женщин в юртах. Атамана злит, что отряды, бежавшие от большевиков, приобретают эти запахи. Как только люди наполняются до изнеможения кисловато-тягучими запахами созревших стеблей,—они бегут песками на ленивый запад, к Индии.

Войлок юрт от обильнейших ласк промаслился человечьим потом.

Юрты темны и широки—как толстые женщины. Атаману приятно лежать под телегой,—она пахнет деггем поселков.

Атаман сказал:

— Ты ко мне в палатку приди.

Фиоза Семеновна не спросила зачем, а только—когда.

Чокан Балиханов, хан, потомок Чингиса, ранее инженер в Петербурге, собрал беев—старейшин—и об'яснил им о национальном возрождении Монголии.—«Генералы—друзья киргиз и монголов,—говорил он:—спасенная Россия не забудет своих союзников, в огне познается дружба. Священники, ламы и муллы служили затем молебны о победе над красными. Вечером Чокан угощал беев и русских офицеров кониной. Тогда же, в своей палатке, атаман положил на кошмы, пахнущее поселками, огромное тело Фиозы Семеновны

VII.

В ночь, когда беи ели конину и пили кумыс, когда женщины едва успевали приносить темные жесткие (на ощупь) турсуки,—Чокан Балиханов пришел звать—атамана Трубычева.

Фиоза Семеновна лежала у своих телег, где подле передка, у горки кизяка, на восточ молился Кирилл Михеич. Восток черен и суров, как некая риза, закрывающая лицо; какие молитвы надо читать Кирилл Михеичу, дабы умилостивить и поднять ризы.

Чокан затнулся о сбрую.

— Вы спите, атаман?

Трубычев зажег лампу. Губы у него необычайно широкие, словно вышли из нутра. Френч длинен не в меру и один карман оторван. Натягивая сапоги на кривые ноги, он сказал:

— Я же совершенно твердо отказался, Чокан, от празднества. Мне тяжело повторять мои слова о наших задачах... Здесь в этих песках, может быть, необходим опий... слова мои не опий для моих людей, они ходят к монгольским проституткам в юрты.

— И довольно часто.

— У меня нет также веры,—что беи примут предложение хана... Хотя вы потомок хана...

Чокан распахнул халат. Бешмет у него был подпоясан дедовским серебряным поясом. Он стукнул бляхами и сказал спокойно:

— В степи я могу кричать,—не так как в столице. Мне смешно кричать вам... Я—хан!

Дым костров пахнет травой. Казаки, завернувшись в тулупы, видят родные сны. Атаман, ворочая саблей кизяк в костре, задумчиво спросил Чокана:

— А вы видите когда-нибудь во сне Петербург?

Чокан солгал:

— Вижу... Хотя не часто.

— Я Монголию во сне еще ни разу... Я и не знаю, как можно видеть во сне степь.

— Барон Унгерн прислал нам приглашение приехать на совещание... Там, в приглашении, он отметил важность исполняемой вами работы.

— Меня нужно было известить первым... Я—русский.

— Но здесь степь, Монголия. Я—хан!

— Барон Унгерн—русский.

— Он хочет быть ханом, хутухтой, чыченом...

— Я поеду. Мне скучно, я становлюсь мелочным...

В степи завыл волк. Рога скота поднялись, как кустарники. Чокан отошел от костра и шарил что-то по земле.

— Какая вам нужна родина, Чокан?

— Вы свою родину, атаман, почувствовали давно. Я до тридцати пяти лет жил в Петербурге и думал: моя родина—Россия. А теперь я растерян. Мне так легко об'яснить—да вот хотя бы беям, что степь должна быть нашей родиной, а не—русских. Они очень легко соглашаются со мной и говорят—им не нужно итти с казаками в Россию, если степь их родина. Казаки захотят большего и вернутся сюда.

Чокан бросил в костер баранью лопатку.

— Я сейчас гадать буду. Если трещины пересекаются,—к зиме мы придем в Россию.

— Зачем?

— Вы же сами зовете меня. А затем, я же жил в Петербурге, я хочу короноваться монгольским ханом в Петербурге. Ха-а!.. Я люблю цивилизацию и я защищаю не одну степь.

Атаман хотел выбранить барона Унгерна, а вместо этого сказал:

— Я сегодня Запуса вспомнил... В борьбе своей... с большевиками... я как-то плохо отделял ложе...

Он сплюнул в костер.

— Ложе!.. Ложе жены от родины, от нации. Мне стыдно сейчас думать, что я боролся за жену. Я сейчас спокоен. Я Запуса видел немного, он борется не за женщин, а женщины за него. Я одну сегодня из них... она неподвижна... в ней все-то еще горит Запус!

— Золото.

— Что?

— Я говорю он похож на золото, его волосы в сердцах русских, как золото скряге... А? Из вас он вышел?

— Совершенно.

— Я рад, что вы нашли родину. Я никогда не думаю о женщине... в степи меньше всего... Хороший конский бег весьма способствует воздержанию.

— Я был ей благодарен за многое...

Чокан, внезапно гикнув, вонзил шашку в баранью лопатку. Кинул кость на землю и наклонился.

— Е! Трещины прямые, как тракт. В России мы не будем, атаман. Я уйду со своими стадами в Индию.

— Вам география знакома?

— По географии я в Индию не попаду. Но стада доведут. Мы пойдем за стадами. Вы же раскаетесь пред Советским Правительством и, когда тысячи дураков с красными флагами в день Октябрьской революции пойдут гадить на улицы, вам, полковник, будет пожалована амнистия.

— Чокан!

— Я же учился в Петербурге. Там не верят бараньим лопаткам,—не верьте и вы... Я завидую людям, нашедшим родину, ибо, полковник, существует родина, похожая на текст «Слова о полку Игореве», читать можно, а попробуйте разговарить на таком языке?.. Пойдете есть казы?

— Благодарю.

— Если б разбудить ваших казаков и сказать им кое-что о ваших мыслях... они бы на пятьсот верст за ночь ускакали... в Россию, конечно... и воевать, а не сдаваться.

— Чокан, вы старый друг... и если бы...

Балиханов легонько всунул ему свою ладонь под мышки, шевельнул слегка и, покачиваясь, отошел от костра. Лисий его малахай походил на вздыбленную лодку.

— Угодно вам, полковник, выпить на «ты», так как с письмом барона Унгерна мне привезли еще ящик коньяка. Выпив, мы поговорим о дальнейших судьбах родины... Угарное будущее познается угарным настоящим.

Атаман Артемий Трубычев согласился.

Атаман прислугой имел пленных красных. Иногда атаман бил прислугу— когда жара удара отхлынет с мускулов, приятно сознавать, что побои причинены не своим. В отряде атамана существовала порка, но в Монголии от нее отучились—женщины покорны, их много. Степь что ли влияла на сердце атамана, но преступлений по дисциплине находил мало.

Прислуга, красноармеец Еровчук, забыл выстоять коня. Атаман простил ему. Он нехотя увидал конопатое светлобородое лицо Еровчука и подумал:

— Русский...

Атаману хотелось осязать найденную родину. Он спросил Еровчука: велика ли у того семья, какой губернии. Еровчук отвечал быстро, но слова были глупые, крестьянские. Он новосел-переселенец, семья в пять человек.

— Видел ли он Запуса?

— Еровчук Запуса не видал, но наслышался много: безбожник и отчаянный человек.

Атаман сказал ласково:

— Скоро война кончится, домой попадешь. Только большевиков в деревне перережь.

Еровчук вытянулся и крикнул по-солдатски:

— Слушаюсь, господин полковник.

Лежа в постели, атаман думал: все не плохие люди и если бы не война, разве он стал бы вешать людей. Он вспомнил одну жену комиссара, повешенную на журавле колодца. Произошло это почти год назад—женщина походила на Олимпиаду.

Атаман закурил.

Под утро он услышал топот — беи раз'езжались по своим юртам. Он ухмыльнулся наивным мыслям Чокана о великой Киргизии. Алаш-Орда (Великая Орда) во времена Колчака помещалась подле Семипалатинска, в пригороде, на левом берегу Иртыша.

Атаман сказал грустно:

— Джатачники, джатачники!.. И столицу-то свою уткнули в мазанки...

Засыпал он всегда, только подумав что-нибудь хорошее. Теперь он заснул при мысли о любви какой-нибудь чистой, нетронутой девушки. Есть же где-нибудь такие и стоит же ради нее пройти всю Россию. Олимпиада не была девушкой, она говорила, что ее изнасиловал отчим... Конечно, есть же в России девушки, способные так любить!

Надо думать, что есть...

(Окончание следует).

Мои украинские впечатления и размышления [1]).

А. Мартынов.

ГЛАВА I.

Лавина контр-революции и бандитизма.

Осенью 1918 года я переехал из Москвы в Подолию и поселился в Ялтушкове, на территории сахарного завода, в 30 верстах от румынской границы. Здесь я прожил 4 года с малым перерывом в 3 месяца, которые я провел в Николаеве и Киеве во время падения власти гетмана Скоропадского.

После года захватывающей жизни в пролетарских красных столицах, в Питере и Москве, я очутился в мужицком царстве, в том самом месте, которое описывал Сенкевич в своем романе «Огнем и мечем», где некогда бушевала Хмельнитчина, и где теперь тоже бушевали как бы воскресшие из гроба сечевики с оселедцями и гайдамаки, только на этот раз не против польских панов, а в тесном союзе с панами против пролетарской власти.

Восемнадцать раз наш завод с прилегающими местечком и селами переходил с боем из рук в руки. Раз'яренные контр-революционные банды всех видов и наименований, проходили перед моими глазами. Тут были и «австрияки», и петлюровцы, и галичане, и деникинцы, и местные бандиты, и поляки, и опять петлюровцы-черношлычники, и опять поляки, и «фроловцы», и тютюнниковцы и т. д., и т. д.

Уже через неделю после того, как я попал в этот адский котел, в середине августа 1918 г., здесь разыгралась потрясающая драма. Пара десятков деревенских парней и рабочих и два студента, согласно постановлению революционного с'езда, подняли восстание против австрийских оккупантов. Два

---

[1]) Эта статья есть первая часть книги — „Великая историческая проверка“, над которой автор сейчас работает.

От редакции. К сведению молодых читателей, А. С. Мартынов до самого последнего времени известен был как один из виднейших и старейших идейных руководителей меньшевизма. Вместе с Мартовым и Даном А. Мартынов неизменно входил в состав редакций центральных меньшевистских органов; ему поручала партия меньшевиков наиболее ответственные выступления на с'ездах и в печати. Помещаемая редакцией статья говорит сама за себя: в ней как бы подведен новый итог политическому банкротству партии меньшевиков и подведен одним из ее основателей и столпов.

студента, вооруженные, в сопровождении нескольких рабочих, ночью, верхом, поскакали на завод. Австрийцы разбежались—их было мало; но чья-то опытная рука, предполагают—бывшего русского офицера, обоим студентам тут же отрубила головы. Повстанцы растерялись. Местечко находилось в панике. Отец одного из убитых студентов всю ночь бродил по замершим улицам местечка и громко стонал, как подстреленный... На следующий день в местечко в'ехал австрийский карательный отряд. Он сейчас же потребовал, чтобы население в течение двух часов принесло в штаб 300.000 руб. контрибуции. Местечко контрибуцию внесло своевременно. Тем не менее австрийцы в течение нескольких часов обстреливали его из орудий в карательном порядке. Затем началась расправа с селом: солдаты ходили по селу, и с чисто немецкой аккуратностью поджигали каждый второй дом. Сжегши таким образом 240 крестьянских дворов, австрийцы выгнали на площадь все население местечка и села и на его глазах повесили 10 человек, в том числе несчастного отца накануне обезглавленного студента и одного семидесятилетнего старца, у внука которого найдено было ружье. Это была первая моя встреча с контрреволюцией на Украйне.

После так печально кончившегося восстания, меня вызвали в Николаев редактировать социал-демократическую газету. Мне удалось выпустить только 9 номеров. Когда газета во второй раз, и уже окончательно, была закрыта немецкой военной цензурой, я уехал в Киев, как раз тогда, когда на Киев началось наступление Петлюры. Сейчас же после взятия Киева и падения гетманского режима, я вернулся в Подолию на Ялтушевский завод, и тут я имел удовольствие впервые познакомиться с украинской «демократией» за работой.

От января до июня месяца 1919 года у нас была советская власть. В середине июня красные были вытеснены петлюровцами. В местечко вошел атаман Божко во главе «Запорожской сечи». Атаман, в награду за победу, милостиво разрешил сечевикам три дня «гулять», и эти бандиты загуляли! В первый же день они вырезали в местечке 22 евреев—на подбор все молодых, цветущих юношей. Затем они в течение двух дней грабили, шатались пьяные по улицам с обнаженными, окровавленными саблями и запивали кровь самогонкой.

Через несколько дней они были выбиты из местечка красными, но красные недолго удержались. Через пару дней опять пришли петлюровцы и расположились на заводе. Прошел спокойно день. Вдруг ко мне прибегает член завкома, бледный, и говорит: «Беда! Петлюровцы узнали, что вы 1-го мая на площади говорили речь, и требуют вашей головы». Положение было не из приятных. Укрыться было трудно, но благоприятели мои нашли выход по украинской методе: они шумевшего петлюровского «батько» напоили до потери сознания «горилкой», а когда он протрезвился, ему приходилось думать уже не о моей голове, а о своей собственной: в местечко опять вступили красные.

После петлюровцев, приблизительно в августе 1919 года, к нам пришли их союзники-галичане. С первого же момента их пришествия, я чуть не пал

жертвой их ненависти к большевикам. Галичане, подступая к местечку, открыли сильный артиллерийский огонь. Чтобы укрыться от обстрела, часть заводских рабочих и служащих, и я с семейством в том числе (я был учителем в заводской школе, а жена и сестра были заводскими врачами), поместились в одном заводском каменном доме. Когда галичане вступили на территорию завода, раз'яренные солдаты ворвались в наше помещение, приставили штыки к моей груди и к груди другого служащего, стоявшего рядом со мною впереди толпы, и закричали: «Большевики! Коли по одному!». Я заглянул в глаза смерти. Но в этот самый момент в наше помещение вошел какой-то «старшина» и, увидев тут женщин с красными крестами, примирительно сказал: «Отставить! мы не бандиты».

Галичане, в самом деле, вели себя, сравнительно с петлюровцами, не чересчур по-бандитски. Кроме того их преимущество для Красной армии заключалось еще в том, что они были весьма плохие вояки. Тем не менее население от них пострадало больше, чем от всех других контр-революционных проходимцев. Во-первых, они «по-культурному», «по-европейски», но зато основательно, ограбили завод. Выдав заводоуправлению ни к чему не обязывавшую их расписку, они забрали на заводе 60.000 пудов сахару и, не имея возможности его вывезти, тут же стали распродавать его кулакам и спекулянтам. Во-вторых, галицийская армия была в буквальном смысле слова «вшивая армия», и эта вшивая армия заразила все население жесточайшим тифом. Редкий дом миновал этот бич. Смертность была необычайная. У нас в доме, между прочим, тифом заболели в тяжелой форме оба врача, и сестра моя и жена.

В январе 1920 года у нас установился, наконец, на несколько недель, советский режим, но передышки мы и теперь не получили. Когда регулярная война прекратилась, на сцену выступили местные бандиты. Регулярные петлюровские и деникинские банды при своих погромах обходили наш дом, потому что в нем жили врачи заводской больницы, куда все войска, захватывавшие завод, клали своих раненых. Но нерегулярные бандиты с этой неписанной конституцией не считались, конечно. И вот, вечером, 30 января 1920 г., они внезапно делают на нас разбойничий налет. Трое с ружьями окружают наш дом. Двое с обнаженными шашками и обрезанными винтовками (бандитское изобретение!) ворвались в квартиру: «Дайте нам семьдесят пять тысяч золотом или николаевками!». Когда мы им об'яснили, что мы заводские служащие, что у нас денег нет и что неоткуда им быть у нас, они открыли военные действия. «Вы знаете, с кем вы говорите?!—кричал один:— Мы советские генералы из Москвы, мы большевики, только не прежние большевики, а нового сорта. Мы заведем новые порядки».—«Довольно разговаривать! пора действовать!» прервал его другой и начал действовать, «заводить новые порядки». Ударом сабли он раскроил череп кухарке, девушке Парасковье К., затем ранил саблей в голову и руку мою жену, делавшую смертельно раненой кухарке перевязку. Бандит сорвал одеяло с наших спавших детей. Жена, возившаяся с раненой, увидя это, крикнула: «Не трогайте моих детей!». В ответ на это бандит ударил ее саблей по голове. Затем

бандит начал быстро собирать в кучу наши пожитки... Я выбил стекла из двойных рам, выскочил через окно на двор и под обстрелом наружных часовых побежал на завод за заводской охраной. Я потребовал, чтобы мне нарядили пять человек с винтовками. Начальник охраны, пацифистски настроенный контролер, колебался и спорил со мной: не лучше ли послать охранников без оружия? Когда я в сопровождении рабочих охранников вернулся, наконец, домой, бандиты уже исчезли, ограбивши нас: им, к счастью, больше никого не удалось у нас убить, потому что они спьяну перерубили электрические провода и, очутившись в темноте, стреляли и рубили в комнатах впустую... Этим бандитам вообще не повезло. Когда трое из них похвалялись в деревне своим молодецким налетом на лекарей, крестьяне, узнав в этих «советских генералах из Москвы» бандитов из близ лежащих сел, убили их, растерзали. Четвертого вскоре поймали и расстреляли большевики (не «нового сорта», а обыкновенные большевики!). Пятый скрылся.

После разбойничьего нападения на нас, мы переехали на квартиру, расположенную внутри заводской ограды. От мелких банд это было некоторое прикрытие. Но маленьких бандитов через неделю сменили крупные. 8-го февраля 1920 года у нас началась эра кровавых боев с поляками.

Уже с первого момента своего появления на заводе паны себя показали. Они выстроили на заводском дворе всех рабочих и служащих и стали у нас допытываться: сколько тут на заводе вчера было большевиков? Рабочие молчали, главный бухгалтер завода ответил: «Мы не можем точно определить, мы их не считали». Сейчас же раздались две звонкие оплеухи. Затем бухгалтера и директора арестовали и погнали пешком за 30 верст в штаб, на том основании, что они накануне, согласно доносу, накормили обедом большевиков. А накануне, заметьте, все жители Ялтушкова считали себя гражданами Советской Республики—поляками еще не пахло!

Но это были цветочки, ягодки были впереди. Подебоширив, поляки без боя отступили и окопались в десяти верстах от нас. По стратегическим или другим соображениям, они не хотели занять Ялтушкова, но они хотели выкачать из завода весь оставшийся там запас сахару после галицийского набега, а этого нельзя было сделать сразу за недостатком подвод. И вот, они затевают с Ялтушковским заводом дьявольскую игру кошки с мышкой. Они снаряжают в Ялтушково сахарную военную экспедицию, окружают его, обстреливают Ялтушково из орудий, берут его с боем, забирают сколько могут сахару и отступают с тем, чтобы через десять дней начать игру сначала. Шесть раз под-ряд они повторяют эти разбойничьи набеги на нас! Чтобы дать читателям представление, каким мукам нас подвергали польские «освободители Украйны» для того, чтобы пить чай с сахаром, укажу на один эпизод. Мы в феврале жили еще с одним заводским семейством на заводском дворе, в домике, стоявшем особняком, на открытом месте. И вот, при одной артиллерийской подготовке к сахарной экспедиции около самого нашего дома взорвались один за другим шесть польских снарядов! Вся штукатурка с потолка на нас обвалилась; стекла в окнах все были побиты. Казалось, что

дом наш рушится. Моя маленькая, пятилетняя девочка, прижавшись ко мне, шептала упавшим голосом, без слез: «Папа! я хочу скорее умереть».

В середине апреля 1920 г. поляки, предварительно ограбивши начальника почты, нас и еще кое-кого, водворились в Ялтушкове на три месяца. Нас, между прочим, поляки ограбили на том основании, что мы, «пся-крев», укрываем большевиков. Выразилось же это укрывательство в том, что, когда поляки ночью цепью наступали на Ялтушково, красноармейцы, отступая чечерез наш двор, оставили на нашем дворе убитого товарища, сраженного польской пулей! В начале июля паны ушли, и на смену им пришли петлюровцы (Удовиченко) в сопровождении небольшого отряда «фроловцев», оторвавшегося от разбитой деникинской армии. И те, и другие у нас недолго задержались. Но «фроловцы» сейчас же после ухода вернулись назад со специальной целью—«погулять». Я много видел бандитов на Украине за последние годы, но таких гнусных, утонченных, до мозга костей развращенных мерзавцев, как эти фроловцы, я еще не видал. Почти все, навестившие нас фроловцы, были, с позволенья сказать, «интеллигенты»—так они себя рекомендовали. Один из фроловских офицеров, стремительно зашел к нам на квартиру, сел за рояль и стал наигрывать с большим чувством сонату Бетховена. И сейчас же как этот тонко чувствующий господин вышел от нас, он по соседству начал грабить и в первую голову ограбил того обывателя, который накануне оказал ему гостеприимство, правда невольное. Но грабежи были для фроловцев побочным делом. Они специализировались на другой «работе». Они, как гориллы, рыскали целый день по улицам и ловили девушек и девочек-подростков и насиловали их. Они нагнали такую панику на женщин, что целая куча их, чтобы укрыться от бандитов, провела весь день в пруде, стоя по горле в воде.

После ухода фроловцев, осенью 1920 года, к нам пришел прославившийся своими разбоями, кровожадный Тютюнник, второй после Петлюры герой украинской контр-революции. Но у Тютюнника, и у его штаба, настроение в то время было уже, повидимому, весьма меланхолическое. Они, повидимому, чувствовали уже приближение конца. Поэтому они в Ялтушкове отдыхали после своих кровавых подвигов, потешаясь попойками и украинскими спектаклями.

Тютюнник был у нас последней тучей рассеянной бури. После заключения мира с Польшей, фронт у нас исчез. Но до самого последнего времени здесь не прекращались нападения мелких банд, просачивавшихся через румынскую границу, убивавших на проезжих дорогах и в самом Ялтушкове отдельных коммунистов и советских работников, перехватывавших транспорты с товарами, ограбивших дважды местные кооперативы, ограбивших соседние совхозы, забиравших последних лошадей на заводе и, таким образом, обрекавших советские учреждения на сизифову работу: каждый раз с начала начинать с великим трудом налаживавшуюся работу. И это делалось в то время, когда третья часть России корчилась в муках голода, когда обезумевшие от голода люди доходили до людоедства и когда мы выбивались из сил, чтобы как-нибудь помочь голодающим.

ГЛАВА II.

Революционная диктатура или парламентская демократия?

Как убить стоглавую гидру контр-революции? Вот вопрос, который с болезненной остротой пронизывал мои мозги каждый раз, когда новая мутная волна бандитизма нас захлестывала, и, чем больше я об этом думал, тем больше я приходил к убеждению, что в одном пункте мы, меньшевики, были совершенно слепы, что наш меньшевистский взгляд на демократию и диктатуру в эпоху революции есть взгляд маниловский, кабинетный, безжизненно-доктринерский. Когда я очутился на Украйне, в самой гуще гражданской войны, в самом пламени бушующих народных стихий, суровые факты действительности безжалостно разрушали мои старые парламентско-демократические схемы, мою каутскианскую теорию революции. Я имею в виду старую каутскианскую теорию, которая раньше всем нам казалась правоверно марксистской. С новейшими сочинениями Каутского, окончательно распростившимися с революционным марксизмом, я, к сожалению, еще на Украйне не был знаком.

Повторяю, в вопросе о диктатуре и демократии, жизнь пробила первую брешь в моем меньшевистском мировоззрении. Это не значит, что я в этом вопросе сразу, во всем об'еме примирился со взглядами большевиков. То, что в течение двадцати без малого лет составляло главный пункт разногласий между нами, не так-то легко было мне переоценить, даже под впечатлением новых грандиозных событий, тем более, что в другом спорном вопросе—о своевременности осуществления коммунизма в России, жизнь, как мне казалось, всецело подтверждала все наши обвинения против большевиков. И мне тем труднее было теоретически осмыслить свои украинские наблюдения, что я провел эти годы в провинциальной глуши, в прифронтовой полосе, что я был оторван от центров политической мысли. Я, например, как я уже говорил, даже понятия не имел о той, чрезвычайно поучительной дискуссии, которая развернулась по вопросу о диктатуре между Лениным, Троцким и Радеком, с одной стороны, и Каутским, с другой. Только недавно, уже здесь в Москве, я с ней познакомился. Поэтому мне долго приходилось бороться с самим собою, со своими традиционными партийными предрассудками, и только после генуэзской конференции мне удалось вполне свести концы с концами. Я не стану, однако, водить читателя по лабиринту противоречий, которые мне приходилось постепенно и с трудом распутывать. Здесь я изложу свое настоящее отношение к аргументам, выдвигавшимся нами против большевистской диктатуры, здесь я изложу свои взгляды на этот счет, как они сложились у меня уже в окончательной форме весной 1922 года.

«Большевистская диктатура упразднила парламентаризм. Большевики не только разогнали Учредительное Собрание, они и октябрьское восстание сознательно устроили накануне с'езда Советов, поставив его перед совер-

шившимся фактом, и важнейшие свои первые декреты они издали без основательного их обсуждения на с'езде Советов».

Это все верно. Но есть ли тяжеловесный парламентаризм достаточно острое и пригодное оружие в условиях революции, когда приходится действовать быстро и решительно, когда дорог каждый день, каждый час? Имеет ли право революционная партия в таких условиях выпускать из своих рук инициативу? Должны ли были большевики, убедившись накануне октября, что на их стороне пролетариат, что на их стороне все крупные центры движения—Петроград, Москва и т. д., что на их стороне солдатские массы, сидеть сложа руки и ждать, покуда не выяснится путем голосования, что и последний крестьянин в провинции им сочувствует? Делалась ли когда-нибудь в мире так революция? Ждал ли Париж в 1789 г., в 1848 г. и в 1871 г., что скажет провинция, когда начинал революцию? Нет! сто раз был прав Маркс, писавший в 1848 году про франкфуртский парламент: «Франкфуртское собрание занимается школьными упражнениями в парламентаризме и предоставляет правительству действовать. Допустим, что этому ученому собору удалось бы после зрелого обсуждения выработать наилучший порядок дня и наилучшую конституцию. Какой толк будет... от наилучшей конституции, если немецкое правительство в это время поставило уже штык в порядок дня?»

«Большевистская диктатура есть режим насилия меньшинства над большинством».

Это неверно. Большевистская диктатура есть режим насилия революционных классов и слоев населения над нереволюционными в условиях крайне неустойчивого равновесия общества, когда вообще нет возможности точно определить численное отношение между революционным и контр-революционным лагерями, когда это отношение меняется и колеблется с каждым днем, в чем я имел сто раз случай лично убедиться, живя на Украйне. Что же касается отношения советской власти к своему лагерю, революционному, к пролетариату и малоимущему крестьянству, то тут большевистская власть проявила максимум демократизма, конечно, не парламентского, а действенного: она при своих ответственных шагах не всегда дожидалась выражения уже осознанной и оформленной воли масс; зато делала такие шаги, действовала так, чтобы самим действием своим привлечь к себе горячее сочувствие этих масс. Чутко прислушиваясь к их настроениям и желаниям, она в период гражданской войны, в острое время, шла им навстречу так далеко, как никогда не решались итти мы, меньшевики, одержимые программным доктринерством. Только тогда, когда желания рабочих и крестьянских масс враждебно сталкивались друг с другом, большевики временно теряли связь с крестьянством. Доказательства чрезвычайно далеко шедшего приспособления Советской власти к настроению революционных масс: первый декрет Советской власти о социализации земли и одобрение этой властью захвата фабрик и заводов рабочими. И то и другое было со стороны большевиков, марксистов, сознательным революционно-оппортунистическим, если можно так выразиться, отступлением на время от своей программы. С точки зрения меньшевистской

это была демагогия. И нельзя отрицать, что эти шаги были опасны, но благодаря этим опасным шагам они смогли в критический момент удержать власть и спасти революцию.

Именно потому, что большевики глубоко опускали свой якорь в народную стихию, они нащупали в глубине ее такую гранитную опору для своей власти, какую совершенно бессильна была найти дряблая интеллигентская демократия в эпоху Керенского. Если бы судить о России по этой эпохе, то можно было бы притти в отчаяние, можно было бы подумать, что вся Россия есть сплошная Обломовка и что рыхлость и безволие есть национальная черта русского народа. Заслуга большевиков заключалась, между прочим, в том, что они рассеяли это ложное представление о России: они показали, что в ней есть такие социальные пласты, которые более похожи на твердый, хотя и неотесаный гранит, чем на мягкое тесто, что политика зависела у нас не от национального характера народа, а от того, какой класс делал эту политику.

«Пролетарская диктатура ввела у нас режим террора». Это верно. Обороняясь от наступления контр-революции, Советская власть прибегла к чрезвычайным репрессивным мерам, к смертным казням, к «чрезвычайкам», к террору.

Тут надо, однако, с самого начала сделать оговорку: принципиально это не было новым изобретением октябрьской революции. Принципиально, в теории, необходимость таких чрезвычайных мер признала в известный момент уже и февральская революция, руководимая меньшевиками и эс-эрами. Я помню, как в июле 1917 года Церетели на заседании Центрального Исполнительного Комитета в торжественной речи, среди гробового молчания собрания, заявил: «Увы! весна революции прошла. Мы думали, что нам никогда не придется запятнать своих рук. Это была мечта...». На следующий день смысл этих слов был расшифрован. 11 июля Исполнительный Комитет, по предложению Дана, принял следующую резолюцию меньшевиков и эс-эров: «1. Страна и революция в опасности. 2. Временное правительство об'является правительством спасения революции. 3. За ним признаются неограниченные полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии, для решительной борьбы со всякими проявлениями контр-революции и анархии». Резолюция эта предлагала применять чрезвычайные меры на два фронта—и против контр-революции, и против «анархии», но мы знаем, чем вызвана была эта резолюция и какое употребление было сделано из нее Временным правительством. Эта резолюция была вынесена после провала июньского наступления на фронте и после подавления июльского восстания в Питере, когда Корнилов требовал от Керенского введения смертной казни на фронте и в тылу. И Временное правительство, идя, хотя и робко, навстречу требованию Корнилова, действительно восстановило 12 июля смертную казнь «на время войны для военно-служащих за некоторые тягчайшие преступления», опираясь на резолюцию ВЦИК'а.

Чем же разнилось в этот момент отношение к террору Временного правительства от отношения к нему впоследствии Советской власти? Во-первых,

тем, что Временное правительство решило применять террор к солдатам, уставшим от ненужной им империалистской войны, или к тем революционерам, которые сознательно и активно боролись против этой войны, между тем как Советская власть направила свои удары против врагов пролетарской революции. Во-вторых, тем, что Временное правительство, благодаря своему органическому бессилию, вступило на путь террора, главным образом в теории (Корнилов на фронте, впрочем, не только теоретизировал), между тем как Советская власть превратила свои угрозы в дела.

Был ли террор Советской власти неизбежен? Могла ли она обойтись без казней в тылу фронта гражданской войны?

Когда кадеты в 1917 году стали требовать применения казни для спасения... империалистической войны, мы, меньшевики-интернационалисты, самым решительным образом восстали против этого и, конечно, с полным основанием. Но *как* мы обосновывали свою точку зрения? Я на Украйне не раз вспоминал свое выступление по этому поводу против Милюкова в Петроградской думе. Обращаясь к Милюкову, я говорил: «Не ваши ли криминалисты, Кистяковские и Фойницкие, нас учили, что смертная казнь есть варварство, не достигающее цели? Не они ли нас учили, что преступники отпугиваются не казнями, а сознанием, что их преступления будут *неминуемо* открыты и что возмездие, хотя и не кровавое, наступит *неминуемо?* И вот, теперь, когда этого требуют ваши классовые интересы, вы, гражданин Милюков, бывший пацифист, выбрасываете за борт ваши гуманитарные криминалистские теории и предоставляете их защищать нам, революционерам, которые никогда пацифистами не были!». Когда я, живя на Украйне, в огне гражданской войны, вспоминал эту речь свою, я осязательно чувствовал, как наивно идеалистична была моя тогдашняя аргументация. Смертная казнь есть, конечно, варварство, излишняя, недостигающая цели жестокость, в условиях *устойчивого государственного строя,* когда государственный аппарат регулярно функционирует и когда преступника в девяти случаях из десяти может постигнуть законная кара. Но могли ли мы, революционеры, зарекаться, что не будем прибегать к смертной казни, в условиях обостряющейся борьбы революции с контр-революцией, когда лишения в тюремном заключении часто бледнеют перед жестокими переживаниями на воле, когда политическая ситуация каждый момент меняется, когда человек, которого мы сегодня арестовали, имеет основание надеяться, что через неделю, через месяц, через два месяца он нас арестует и с нами расправится, когда отказ от смертной казни равносилен провозглашению почти полной безнаказанности тяжких и опасных для государства преступлений?

Я в Ялтушкове был свидетелем жестокой сцены: у мирных обывателей вырвался вздох облегчения, когда «чекист» на их глазах застрелил убежавшего с допроса участника банды, накануне убившей у нас ни в чем не повинную девушку. Не жестокость, а инстинкт общественного самосохранения вызвал у мирной толпы вздох облегчения при виде расстрела бандита...

Когда власть в стране завоевал пролетариат, все силы ада на него обрушились, и тогда для спасения революции организованный террор стал неизбе-

жен. Но не было ли излишеств в применении террора со стороны обороняющейся советской власти? Да, наверно, были, хотя неизмеримо меньше, чем со стороны наступающей контр-революции и бесконечно меньше, чем у нас было бы, если бы эта контр-революция победила. Однако, если отвлечься от специального вида экономического террора, связанного с охраной продовольственной системы и часто бившего мимо цели в мелкого потребителя и мелкого производителя, о чем речь будет впереди, в связи с разбором старой экономической политики до 1921 г., если говорить об организованном терроре вообще, то его излишества отнюдь не могут быть поставлены в счет диктатуре пролетариата.

Чтобы правильно судить о характере организованного террора нашей пролетарской власти, нужно принять во внимание, в какой атмосфере и из каких корней он вырос. Чтобы правильно судить о нем, нужно помнить два *чрезвычайно важных обстоятельства: во-первых, что наша революция раз'*-игралась в результате трехлетней империалистической бойни, во-вторых, что пролетариат совершил у нас революцию в тесном союзе с крестьянством и что после победы к Советской власти примазались значительные слои городского мещанства, городской мелкой буржуазии.

Я помню, как во время революции 1905 года у меня раз завязалась в вагоне беседа с каким-то пассажиром французом. «Удивительно благодушный ваш народ!—говорил он мне:—Если бы у нас во Франции разыгралась такая революция, то уже успели бы пролиться реки крови». Если бы этот француз приехал в Россию, когда в ней после ужасов и бесчисленных страданий, пережитых народом во время империалистической войны, вспыхнула вторая революция, он бы мог убедиться, что и у «благодушного народа» может наступить конец терпению и что этот «благодушный народ» тогда делается народом грозным. Не случайно первые проявления стихийного террора проявились у нас в армии и флоте и направлены были против офицеров, которые палочной дисциплиной заставляли солдат без конца воевать за цели им чуждые и непонятные. Кстати замечу, что корниловцы, об'яснявшие это озлобление против офицеров не антинародными целями империалистической войны и не кастовым характером старого офицерства, а революционной агитацией, с одной стороны, трусостью и шкурничеством солдат, уставших воевать «за родину», с другой, клеветали на солдат; когда началась вторая война, гражданская, солдаты Красной армии были, конечно, еще более усталыми и в контр-революционной агитации среди них недостатка не было, *но много ли насчитают нам случаев нападения этих солдат,* воевавших за свое кровное дело, на своих красных командиров?

Когда революция социально углубилась, поднялась вторая волна стихийного террора, направленного сначала в деревнях против помещиков, а потом в городах против буржуазии. И тут были эксцессы. Но они исходили по общему правилу не от пролетариата, не от того класса, который взял в свои руки диктаторскую власть, а от его мелко-буржуазных союзников. Я говорю—«по общему правилу», потому что, во время империалистической войны, в нашу рабочую среду втерлось много чуждых ей, шкурниче-

ских элементов, укрывавшихся от воинской повинности, потому что во время экономической разрухи в рабочей среде накопилось много деклассированных элементов и эти деклассированные элементы, конечно, иногда проявляли эксцессы, особенно во время острой борьбы за хлеб. Но пролетариат, как класс, и его организованное ядро в этих эксцессах не были повинны.

В этом отношении наш пролетариат остался верен всему историческому прошлому рабочего класса. Жорес в своей истории Великой французской революции отметил, что в революционном Париже того времени проявления жестокости и разнузданности наблюдались только в мещанских кварталах, а отнюдь не в пролетарских предместьях. Во время мартовского восстания берлинских рабочих в 1848 г., пролетариат так себя вел, что через месяц президент берлинской полиции заявил публике: «Поведение подмастерьев и рабочих по праву заслуживает всеобщей признательности». Известно также, как великодушно, слишком великодушно, вел себя французский пролетариат в 1871 г. во время восстания Парижской Коммуны. Так же вел себя русский пролетариат во время и накануне революции 1905 г. Троцкий красноречиво описывал его поведение, в то время, в 1904 г. в «Искре»,—в статье «Две толпы», в которой он противопоставлял хулиганскому поведению «патриотических» манифестантов, благородное поведение манифестантов революционных: «Не бойтесь, не бойтесь!—успокаивала перепуганных одесских обывателей толпа.—Это вам не Кишинев, мы совсем другого хотим, среди нас нет ни жидов, ни русских, мы все рабочие...—Мы не лавки бьем, мы свободы добиваемся, говорили участники антипатриотической манифестации в Твери». По этому поводу Троцкий в своей статье замечает: «Великодушная и благородная, как всякая масса, которая связала себя невидимыми нитями революционной солидарности и почувствовала свою коллективную силу, многотысячная толпа не позволяла себе никаких насилий.—Яблочка не тронули!—восклицает изумленный обыватель Торговой улицы». И в период октябрьской революции наш пролетариат проявлял не хулиганство, а великую революционную самоотверженность.

Но пролетариат мог и может победить в революции только в союзе с крестьянством, а крестьянство в острый период революционной борьбы проявляло ту двойственность, которая соответствует его мелко-буржуазной социальной природе. Когда крестьяне разрушали и жгли помещичьи усадьбы, это был естественный, стихийный протест, стихийный бунт угнетенного класса против его вековых угнетателей, и разрушительные формы протеста были у них не только проявлением чувства мести—крестьяне усматривали в этом известную гарантию против реставрации. Когда я, побывав в Подолии в нескольких деревнях, видел там всюду развалины роскошных помещичьих усадеб, я спрашивал крестьян: «Почему вы жгли эти усадьбы? Почему вы, прогнав панов, не использовали их усадьбы для своих общественных нужд?»—«А мы для того сжигали их гнезда,—отвечали крестьяне,—чтобы эти птицы никогда к нам назад не прилетели».

Но к этому освободительному порыву угнетенного класса, у крестьян,

особенно у их кулацких элементов, примешивалось еще другое. Когда они в деревне стихийно захватывали помещичьи земли и инвентарь помещичьего хозяйства, когда они, в качестве солдат старой армии, в городах участвовали в стихийной экспроприации «буржуев», они, в отличие от пролетариата, рассматривали это экспроприированное имущество, не как общественное достояние, а как личное; они пустили его в дележку и даже не в уравнительную дележку—каждый захватывал, что мог, при чем, при стихийных «разборках» и дележках, лакомые куски сплошь и рядом доставались кулакам, а об'едки деревенской бедноте. Тут уже проявлял себя не об'единяющий, а раз'единяющий инстинкт мелкого собственника, тут уже проявлялась жадность, а где есть жадность, там недалеко до кровожадности и жестокости. То же можно сказать и про городское мещанство, которое, в отличие от крестьян, примазавшись к Советской власти после пролетарской победы, одинаково с ними принимало активное участие в экспроприации буржуазии.

Чтобы наглядно показать, как резко отличались отмеченные мной две полосы, два потока в октябрьском революционном движении, я приведу здесь пару выдержек из описания катастрофического продовольственного положения на местах в 1918 г., помещенного в «Известиях Народного Комиссариата Продовольствия»: «Это уже не оскудение—это картины... предсмертной агонии. А в паническом настроении народ и действует панически... Упрощенной психике соответствует и упрощенность действий—все они выливаются в одно—погром. Громят продовольственные склады, захватывают пароходы и баржи, громят советы и продовольственные органы, избивают и убивают комиссаров, отцепляют вагоны и грабят поезда... Но замечательно тут одно: *рабочие у станков с героической выдержкой молчаливо работают, пока не падают от истощения; в следующий момент они организуют «дружины за хлебом»; на провинциальных с'ездах выносятся резолюции о поддержке Советской власти и принимаются срочные меры к облегчению кризиса в голодающих местностях. Это все с одной стороны. А с другой—другая часть населения, с достойными вождями своими, в это же самое время громит, грабит и разрушает и без того в конец разрушенную страну...* Темное и косное в русской жизни очень сильно. Яркий пример тому—кулачество в русской деревне и та роль, которую население зачастую дает ему играть. Кулачество, вместе со своими идеологами, ведет свою работу—работу разрушения. В губерниях голодающих спекулирует хлебом и кричит о свободной торговле,—в губерниях хлебных творит ужасающее преступление — сжигает тысячи пудов на самогонку».

Пролетариат стоял во главе октябрьской революции, но в количественном отношении его мелко-буржуазные союзники составляли главную революционную массу и именно они создали перекаленную атмосферу революции.

Таковы были условия, при которых пролетариат, будучи окружен бесчисленными врагами и истекая кровью в борьбе с ними, прибег через восемь, через десять месяцев после октябрьского переворота, для защиты революции к оружию организованного террора. Мыслимо ли было при этих условиях, в

минувший период гражданской войны, удержать организованный террор в строго ограниченных рамках «революционной законности»? Что должна была делать при этих условиях власть? Для соблюдения своей «чистоты» тушить пожар революции, чтобы дать тут же, в той же среде разгореться адскому огню контр-революции?!

Террор есть страшное оружие—что и говорить! Но пусть те слабонервные социалисты, которые из-за применения этого оружия теперь так нравственно негодуют против диктатуры пролетариата, вспомнят отношение к якобинскому террору апостола гуманности в социалистическом мире 2-го Интернационала—Жана Жореса. Кто был его любимым героем в французской революции? Дантон! Тот самый Дантон, который в марте 1793 г. первый предложил Конвенту вступить на путь организованного террора и учредить грозный Революционный Трибунал и который дал этому предложению знаменитую мотивировку: «Враги свободы поднимают голову ...Они имеют глупость думать, что они в большинстве. Так вырвите же их сами из рук народного суда (т.-е. самосуда. *А. М.*). Гуманность это вам повелевает».

Еще одно обвинение против пролетарской диктатуры: «Она упразднила свободу печати и свободу слова для всех партий, кроме коммунистической».

И это верно, как верно то, что свобода печати есть великая ценность, ради завоевания которой у нас не даром велась столетняя борьба. Но у нас, социалистов, есть ценность еще более высокого порядка, чем свобода печати—это свобода от всякой эксплоатации человека человеком. И как быть, если наступает период, когда свобода печати приходит в столкновение с задачей освобождения рабочего класса от капиталистического рабства? А так именно у нас и обстоит дело теперь.

С того момента, как пролетариат взял у нас власть, он очутился сразу меж двух огней: с одной стороны — наступление контр-революционной буржуазии на многочисленных фронтах, с другой стороны — постоянно меняющееся, колеблющееся настроение крестьянской массы в тылу.

Как быстро менялось у нас настроение крестьян, в зависимости от перемены ситуации, я имел достаточно случаев убедиться, живя на Украйне. Когда петлюровские войска, низвергнув гетмана Скоропадского, заняли Киев, украинские социал-демократы, стоявшие близко к Директории, говорили, что Директория, борясь за «самостийность» Украйны, считает себя вынужденной выставить сейчас в области внутренней политики большевистскую платформу, ибо иначе и месяц не пройдет, как быстро нарастающая волна большевизма в крестьянских массах ее сметет с лица земли. Когда я из Киева вернулся в Подолию, я убедился, что это правда. Крестьяне тут говорили в один голос: мы все большевики! Но как только Советская власть ввела разверстку и упразднила свободную торговлю хлебом, крестьяне, подстрекаемые кулаками, завопили: «Не треба нам комунии!» и перекрасились в значительной своей части в петлюровцев. Когда пришли польские паны, они опять метнулись влево, к большевикам. Когда стали приходить красные кавалерийские части и стали у них забирать овес для лошадей, они опять отшатнулись от большевиков и молодежь опять стала уходить в лес, в банды. Когда де-

ревне от бандитов житья не стало, крестьянская масса опять начала возлагать надежды на укрепление Советской власти и начала опять относиться к ней «прихыльно» (сочувственно) и т. д., и т. д.

Так лихорадочно колебалось настроение крестьянских масс, а от их поведения зависела судьба революции. Естественно, что за душу крестьянина велась упорная борьба между революционным и контр-революционным лагерем. На одной стороне, в одном лагере, была коммунистическая партия, *незначительная интеллигентская часть которой разрывалась на части*, затыкая собою все дыры государственного, хозяйственного и военного аппарата. На другой стороне, в другом лагере, была почти вся масса мелко-буржуазной интеллигенции, официально беспартийной, а фактически либо активно стремившейся, либо пассивно ожидавшей, как чего-то неизбежного, ликвидации в той или иной форме октябрьской революции. Что мог пред'явить первый лагерь крестьянству? *Только свои дела.* Но если прошлые дела пролетарской власти (завоевание мира и земли) крепко привязывали к ней крестьян, то с великими тяготами, которые пролетарская власть накладывала на крестьян в настоящем, они мирились, поскольку мирились, лишь из боязни реставрации, а будущие перспективы пролетарской власти для них и поныне не ясны. Тут еще должна быть произведена огромная работа, чтобы на практике убедить крестьянина в преимуществах социализма. Что мог пред'явить крестьянству другой лагерь? *Только слова.* Но этими словами, если бы ему дать свободу слова, он мог бы затопить массы: ведь слово, устное или письменное, есть главное профессиональное оружие интеллигенции. Совершенно очевидно, что при такой обстановке условия конкуренции на поле «словесности» для борющихся двух лагерей были бы далеко не равными. Совершенно очевидно, что если бы молодая пролетарская власть открыла шлюзы для потока интеллигентских пессимистических или явно контр-революционных речей, которые власти недосуг было бы опровергать, она сама дала бы врагу петлю для удушения пролетарской революции.

«Да,—скажут,—но это относится к прошлому, к периоду гражданской войны и так называемого «военного коммунизма»; но с того времени, как гражданская война была ликвидирована и как крестьян замирили новой экономической политикой, гонения на «демократическую» печать уже не имеют и тени оправдания, кроме стремления большевиков к самовластию».

Когда до меня год тому назад на Украйне доходили сведения, что так рассуждают мои бывшие единомышленники, бывшие «меньшевики-интернационалисты», которые, еще до 1917 года, были убеждены, что ликвидация войны откроет в Европе эру социалистических революций, которые и теперь, требуя отказа от метода диктатуры, одновременно признавали необходимость сохранения у нас национализации промышленности, как залога развития к социализму, я только пожимал плечами: «Это или недодуманность, или недоговоренность!» говорил я себе. Как может Советская власть допустить, чтобы дряблая, тоскующая по «порядку» мелко-буржуазная интеллигенция, с вожделением глядящая на возрождающийся у нас в условиях «нэп'а» капитализм, начала со всех крыш кричать по адресу правитель-

ства: «Таскать вам не перетаскать! Никогда вам не справиться с национализированной промышленностью!»? Как может Советская власть допустить такой похоронный вой в то время, как ей приходится делать героические усилия для возрождения государственной промышленности, когда четыре пятых полуразрушенных национализированных предприятий, при недостатке сырья, продовольствия и топлива, при сокращении емкости рынка, при саботаже, с одной стороны, и неопытности, с другой, еще не могут пока свести концов с концами, когда они еще ложатся пока тяжелым бременем на государственный бюджет, а, стало быть, и на крестьянство, когда от крестьянства все еще приходится просить поддержки в кредит?

Не смешно ли требовать, чтобы Советская власть при таких условиях вооружила свободной печатью «демократическую интеллигенцию», когда и без того стоустая молва этой бесхарактерной интеллигенции каждый день пророчествовала: через месяц, через два, Советская власть сдаст в концессию или в аренду прежним капиталистам все фабрики и заводы, точно так же, как она в 1918, 1919 г. пророчествовала: через месяц или через два, Советская власть будет низвергнута крестьянским восстанием или раздавлена победоносной контр-революцией?

Когда я год тому назад узнал, что «левые» меньшевики на словах продолжают держать курс на социалистическую революцию и в то же время требуют от Советской власти, чтобы она в крайне тяжелых условиях разоружилась и дала своим врагам свободу печати, я считал их требование наивным, бессмысленным. Теперь, когда «левые» меньшевики отказались от своих «революционных предрассудков» и открыто заявили—назад к капитализму! я вижу, что их требования были не так уже бессмысленны: «В этом безумии была своя система!»...

ГЛАВА III.

Кратчайшим путем к коммунизму.

Возвращаясь к истории моих идейных исканий и блужданий во время моего пребывания на Украйне, я повторяю: уже давно, уже приблизительно в конце 1919 г., для меня стало ясно, что в одном пункте мы в споре с большевиками были кругом неправы, что устоять против бешеного натиска мировой контр-революции у нас может только железная, диктаторская власть. Тем не менее я еще очень долго колебался между меньшевизмом и большевизмом, ибо меня приводила в отчаяние экономическая политика большевиков в первые годы октябрьской революции, их стремление немедленно и во всем об'еме осуществить коммунистическую программу в нашей экономически и культурно отсталой и разоренной стране.

Собственно говоря, именно как старый меньшевик, я должен был бы понять, что экономическая политика большевиков в первые годы октябрьской революции почти насильно навязывалась им обстоятельствами, что тут была больше беда, чем вина большевистской партии. Ведь меньшевики, и первый из них я, всегда говорили и писали, основываясь на известном историческом

обобщении Энгельса: Если социал-демократическая рабочая партия революционным путем возьмет в свои руки власть в нашей экономически отсталой стране, то она *вынуждена* будет осуществлять свою программу целиком, не считаясь с тем, что страна для этого еще не созрела. Именно поэтому, меньшевики всячески старались избежать такого положения, при котором нашей партии пришлось бы взять власть в свои руки. Именно поэтому меньшевики продолжали упираться против «захвата власти» даже накануне октябрьского переворота, когда коалиционное правительство окончательно обанкротилось, когда революция пришла в тупик, когда для всякого непредубежденного марксиста должно было быть ясно, что без перехода власти в руки революционной социал-демократии, не удастся осуществить программу даже чисто буржуазной революции.

Повторяю, наша собственная меньшевистская теория говорила: Раз власть революционным путем перешла в руки революционной социал-демократии, она *вынуждена* немедленно приступить к осуществлению социализма, не считаясь с ограниченными экономическими возможностями, и картина революционных событий, разворачивающаяся передо мной в первые 9 месяцев октябрьской революции, которую я провел в центрах движения, в Петербурге и Москве, лишь подтверждала, что обстоятельства почти насильно толкают Советскую власть на путь коммунизма.

Я видел, как контр-революция старалась уморить голодом Советскую Россию, как она с самого начала отрезала Советскую Россию от главных источников продовольствия—от Украины, Дона, Кубани, Поволжья и Сибири. Я видел, что пролетариату Петербурга и Москвы и крестьянской бедноте центрального района грозила голодная смерть. Я видел, с другой стороны, как в этих отчаянных условиях борьба за хлеб вынуждала Советскую власть для защиты самой жизни пролетариата прибегать к самым крайним мерам,—к конфискации всех товарных запасов в лавках, для того, чтобы бросить их в деревню в обмен на хлеб, к установлению классового пайка, к организации продовольственных и заградительных отрядов, к организации комбедов для совместной с рабочими борьбы за хлеб с деревенским кулачеством. Уже эти первые, вынужденные обстоятельствами, меры влекли Советскую власть дальше на путь разверстки и национализации всей торговли, которая при малой налаженности закупочного аппарата представлялась единственным надежным способом для извлечения всех излишков из деревни и целесообразного их распределения. Так Советская власть пришла к системе потребительного коммунизма, которая, как впоследствии выяснилось, благодаря нашей экономической отсталости, убила у крестьян импульсы к земледелию и подорвала основы народного хозяйства, но зато обеспечила в самый критический период хотя бы полуголодным пайком главные силы революции—пролетариат и Красную армию.

Это было одно роковое сцепление обстоятельств. Параллельно с этим шло другое. Я видел, как борьба пролетариата с саботажем капиталистов, вылившаяся в эпоху Керенского в стихийную борьбу за рабочий контроль, в первые месяцы октябрьской революции приняла форму столь же стихийного

массового захвата рабочими фабрик, вплоть до самых маленьких. Захватывая фабрики, рабочие не понимали всей сложности и всей трудности экономических задач, которые стояли перед ними. Они не понимали тех огромных затруднений, на которые они скоро натолкнутся, и которые впоследствии побудили власть временно сдать часть своих позиций. Но захват фабрик, поощрявшийся Советской властью, которая лишь постепенно старалась внести известную планомерность в дело овладения пролетариатом процессом производства, будил в рабочих великий энтузиазм, учил их плавать и зажигал в их сердцах такую веру, которая двигала горами и без которой они едва ли в состоянии были бы выдержать трехлетнюю героическую борьбу с контр-революцией.

Как велика была вера пролетариата в свои силы в начале октябрьской революции, я не раз имел случай лично убедиться. Когда я, накануне созыва Учредительного Собрания, на железнодорожном с'езде говорил рабочим, что, двигаясь полным ходом и на всех парах к коммунизму, они не сумеют справиться с производством, один рабочий возразил мне весьма искренним тоном, без всякого полемического задора: «Товарищ, вы судите об нас по старинке. Вы не знаете современного русского рабочего, не знаете, как он вырос. Он теперь все может!». Когда я незадолго до этого выступил в Туле на патронном заводе с речью, предсказывая, что головокружительно быстрый курс на коммунизм приведет к безработице и голоду, работницы, на вид уже не молодые, с изможденными от нужды и работы лицами, меня обрывали: «Ничего, товарищ, мы поголодаем! нам не привыкать-стать».

Стоя у кормила правления в такой боевой атмосфере, большевистская партия и сама прониклась революционными иллюзиями и, занимаясь коммунистическим строительством, конечно, не предполагала, что это пока что еще «военный коммунизм», что нам придется еще отступить далеко назад, чтобы начать строить социализм по настоящему путем соревнования с капитализмом на арене, очищенной политическими победами.

Теперь, когда политика немедленного и всестороннего осуществления коммунизма у нас отошла уже в область прошлого, для меня ясно, в какой мере она навязывалась власти внешней необходимостью, в какой мере она нужна была психологически для поддержания революционного энтузиазма в рабочих массах, в какой мере, наконец, она вызывалась революционными иллюзиями самой власти, заразившейся настроением общей боевой атмосферы и окрыленной преувеличенными надеждами на близость социальной революции на западе. Теперь мне это ясно и об этом я буду подробно говорить во второй части своей книги. Но тогда, когда этот стремительный курс на коммунизм проводился в жизнь на моих глазах, я не оценивал его об'ективно и всесторонне, с экономической и *политической* точки зрения. Когда я жил в Петербурге и Москве, я видел те силы, которые насильно толкают Советскую власть на коммунистический путь, но мои меньшевистские предрассудки против каких бы то ни было методов диктатуры, затемняли в моем сознании то, что я видел. Когда же я переехал на Украйну и когда я под впечатлением наступления контр-революции принципиально примирился с методами

революционной диктатуры, сами причины, толкавшие Советскую власть на путь коммунизма, исчезли с моего поля зрения и ушли в туманную даль: ведь Украйне не приходилось вести отчаянную борьбу за хлеб; напротив того, революционная Москва старалась выкачать хлеб из Украйны.

На Украйне, поэтому, я мало задумывался над *политическими причинами* старой экономической политики Советской власти. Здесь все мое внимание было поглощено непосредственными *хозяйственными последствиями* этой политики. И вот, рассматривая ее с этой точки зрения, я каждый день все больше убеждался, что она увлекает нас в пропасть. Я на Украйне наглядно видел, как эта политика, стремясь втиснуть все мелкое крестьянское хозяйство в тиски строгого учета и контроля, на деле отталкивала крестьян от Советской власти и поселяла в них равнодушное отношение к самому хозяйству. Там я видел, как эта политика, стремясь организовать экономическую жизнь, внести в нее планомерность, благодаря упорному сопротивлению мелко-буржуазной стихии, достигала противоположных результатов— вела к еще пущему увеличению хозяйственной разрухи. Там я видел, как эта политика, стремясь насадить коммунизм, по тем же причинам порождала чудовищный паразитический бюрократизм на пустом месте, тот самый, про который Зиновьев с досадой сказал когда-то крылатое слово: «Наш бюрократизм хуже чумы, хуже холеры, хуже правых эс-эров».

Мне все это было тем лучше видно, что я жил в районе, где кулачество не было сломлено революцией и где крестьяне середняки всегда были настроены более индивидуалистически, более собственнически, чем в Великороссии. Мне это было тем виднее, что я жил в районе сахарной промышленности, в которой фабричное производство самым тесным образом сплетается с сельским хозяйством и работа пролетариев во всех фазах комбинируется с работой крестьян.

Как реагировали наши крестьяне на старую экономическую политику коммунистов? Когда петлюровцы пытались играть на чисто националистических струнках украинского крестьянства, они не имели никакого успеха. Во время одного из первых наступлений петлюровцев, я сам слышал цинично-откровенную жалобу уличного политика «самостийника»: «Наша беда в том, что у украинского селянства еще совершенно нет национального самосознания. Наши дядьки говорят: мы на фронте из одного котла ели кашу с москалями и нам незачем с ними ссориться. Чтобы создать свою Украйну, нам необходимо призвать на помощь чужеземные войска. Когда иностранные штыки выроют глубокий ров между нами и Московией, тогда наше селянство постепенно привыкнет к мысли, что мы составляем особый народ».

Шовинистическая пропаганда украинской мелко-буржуазной интеллигенции и полуинтеллигенции,—народных учителей, кооператоров, фельдшеров и т. д.,—стремящейся избавиться от конкуренции более сильной и многочисленной русской интеллигенции находила мало отклика в крестьянстве. Но дело резко изменилось, когда крестьяне познакомились с разверсткой и с полным запрещением свободной торговли и когда петлюровцы повели у них агитацию под экономическим лозунгом «Геть комунию!». Тут вчерашние

ярые большевики-мужики, руководимые кулаками, сразу повернули фронт. Молодежь стала дезертировать из Красной армии и уходить в банды, а более пожилые крестьяне стали оказывать упорное пассивное сопротивление всем мероприятиям Советской власти: советские деньги крестьянами не стали приниматься. Фронт хлебной монополии прорывался по всей линии, крестьяне продукты свои продавали под полой, по вздутым ценам, за серебро, за «керенки», за «николаевки», за сахар, за соль, за патоку (на самогонку) и цены эти, включая в себе контрабандистскую премию, становились все менее и менее доступными для трудящихся. Крестьяне грозили, что оставят поля незасеянными и действительно сокращали посевы местами. Чтобы избежать выполнения подводной повинности, лошади и волы при приближении воинских частей угонялись ночевать в поле, а телеги разбирались по частям, и отдельные части их—колеса, дышла и пр.—прятались в разных местах.

Изменившееся настроение крестьян, их растущая неприязнь к Советской власти, гибельным образом отражалось на положении национализированных сахарных заводов, которые и так дышали на ладан. Раньше поденная работа на сахарных заводах—вспашка, копка и возка свеклы на плантациях и полевые работы в арендованных заводами экономиях—составляла очень большое подспорье для крестьянского хозяйства; и крестьяне дорожили заводами. Теперь крестьяне стали относиться к ним крайне недоверчиво. Когда сделана была попытка раздать свекловичные поля крестьянам с тем, чтобы они на определенных условиях доставляли свеклу заводу, большая часть крестьян из недоверия к заводам не желали с ним связываться и участков не брали. На заводских плантациях они работали из рук вон плохо—для обработки одной десятины свеклы требовалось вместе 50 рабочих (норма довоенного времени) 150 раб. и более. В то же время на заводских экономиях и плантациях очень трудно было найти рабочие руки—крестьяне упорно отказывались работать на завод в кредит и вообще за советские деньги.

Чтобы избавиться от крестьянского засилия, чтобы показать крестьянам, что в крайнем случае можно обойтись без них, наше заводоуправление, раз, в страдную пору, решило ввести, в виде демонстрации, общую трудовую повинность для всех рабочих и служащих заводов. Я вполне сочувствовал этому, а потому и сам в качестве заводского служащего (учителя заводской школы и библиотекаря) охотно принял участие в полевых работах, хотя по возрасту подлежал освобождению от них. Я думал, что мы, заводские трудящиеся, усердием восполним наше неумение. Увы, это оказалось игрушечной затеей. Мы получали до смешного маленькую плату: я за три дня усердной работы по уборке ячменя на экономиях и за день столь же усердной работы в лесу, по заготовке дров для завода, получил две коробки спичек и четверть аршина ситцу! Несмотря на это, наша трудовая повинность дала лишь убыток заводу—неумелые служащие рассыпали массу зерна и пришлось, поэтому, опять пойти на поклон к крестьянам.

Всякая попытка планового ведения хозяйства, как бы она ни была сама по себе рациональна и целесообразна, в условиях старой экономической политики, отталкивавшей от Советской власти крестьян, терпела неудачу.

Что, например, можно было в принципе возразить против решения сократить число действующих заводов и концентрации производства на немногих, лучше оборудованных? Ведь это основное требование социалистической политики при условии крайнего оскудения государственной казны и недостатка в оборотном капитале. И все-таки, эта мера, которая сейчас, в условиях «нэп'а» применяется с успехом, раньше приносила у нас лишь вред. Для концентрации производства на немногих заводах необходимо было свозить свеклу с плантаций приостановленных заводов на заводы действующие, но для дальней перевозки невозможно было достать достаточного количества крестьянских подвод—крестьяне не возили на тех условиях, которые им предлагали, и свекла гнила на полях, замерзала или расхищалась.

Недостаток крестьянских рабочих рук ощущался во всем—и при полевых работах, и при возке свеклы, и при заготовке дров,—и в то же время, благодаря той же экономической политике, на заводах содержались огромные штаты рабочих, которым нечего было делать, ибо починка домашних печей, самоваров, замков, лужение посуды заводских трудящихся и мелкие работы на частные заказы в мастерских с точки зрения сахарного производства не есть дело. У рабочих пролетарская спайка и интерес к заводу, как к крупной производственной единице, исчезали, ибо они вели на заводе паразитическое существование («соцобес!»). В то время, как их функции, постепенно суживаясь, формально свелись, если не считать весьма вялой работы по ремонту и пары недель работы по производству сахара, к одной лишь *охране* заводского имущества, они, не получая даже голодной платы, вынуждены были *фактически* делать противоположное: всеми законными и незаконными способами *расточать* последние остатки заводского имущества, последние запасы сахара, патоки и т. п. В результате всего, наш огромный, песочно-рафинадный завод, который до февральской революции выпускал в год 1.000.000 пуд. сахару рафинаду и 300.000 п. сахарного песку, в 1920 году выпустил всего 9 тысяч пудов сахарного песку, а с тех пор и вовсе был «заморожен».

При этом наблюдалось одно чрезвычайно знаменательное явление: в то время, как заводская труба перестала дымиться, как работа в заводских корпусах и мастерских замирала, работа в заводской конторе, напротив, все больше и больше оживлялась и увеличивалась. Старые заводские служащие говорили, что никогда еще заводские бухгалтера и конторщики так много не потели над бумагами, так много не работали сверхурочных часов, как в последние годы, когда производство на заводе прекратилось. Что же они писали? Они заполняли бесчисленные анкеты для учета по требованию разных центров—Подолсахара, Главсахара, Райсахара и т. д.

Я рассказываю это, конечно, не для того, чтобы посмеяться над учетом. Не подлежит никакому сомнению, что учет есть азбука социализма, что правильный учет есть первое, необходимейшее условие для всякого планомерного хозяйства, не только социалистического, но и государственно-капиталистического. Но дело в том, что учет может быть правильным и может иметь реальное значение лишь тогда, когда имеются на-лицо основные пред-

посылки для поддержания и хотя бы минимального развития производства. Когда же этого нет, когда производство общими экономическими условиями обречено на распад, учет неизбежно вырождается в никчемную бюрократическую отписку. Так оно и было и у нас до укрепления курса новой экономической политики. Ни для кого, например, не составляло секрета, что в то время, как главки еще не давали никакого простора для инициативы на местах, на многих сахарных заводах, может быть на большинстве, известное количество желтого сахару и патоки утаивалось от учета и утаивалось не из корыстных соображений, а в интересах производства, для того, чтобы в острые, горячие моменты иметь сверхсметные оборотные средства для расплаты с крестьянами, с поденными рабочими. Об этой распространенной практике, конечно, ничего нельзя было узнать из официальных анкет. Правда, учет дополнялся контролем. Но опять таки на местах ни для кого не составляло секрета, что в таких случаях контроль бывал таким же фиктивным, бюрократическим, как и учет: бесчисленные ревизионные комиссии в большинстве случаев в начале ревизии нагоняли страх, а под конец покрывали отступления от декретов и циркуляров, поскольку эти отступления не являлись злоупотреблениями из корыстных мотивов. Но эта ненормальная практика не могла не вносить деморализацию в среду ревизуемых и ревизующих, тем более, что существование последних было крайне необеспечено; поэтому взяточничество становилось бытовым явлением.

Такой же бюрократизм царил, в период скороспелого коммунизма и обострения отношений между советской властью и крестьянством, и в других областях советского строительства на местах, кроме областей продовольственной и военной, в которых сосредотачивалась вся революционная энергия советской власти, и в которых, где-то в глубине, не на виду у обывателя, творилось великое, первоочередное дело спасения главных сил революции— рабочей силы и Красной армии, хотя бы ценой расстройства хозяйственной и культурной жизни населения.

Для иллюстрации бюрократизма того донэповского времени, я укажу еще, как в нашем захолустьи обстояло дело со школами и больницами. И тут, как и во всем, общие принципы, которыми руководилась советская власть, не могут быть оспорены ни одним искренним другом рабочего класса. Что необходимо ввести всеобщее бесплатное обучение и общедоступную бесплатную медицину, с этим согласится не только всякий честный социалист, но и всякий честный демократ. Но широчайший размах, который в то время придавался школьному и медицинскому строительству, стоял в таком вопиющем противоречии с ничтожными, нищенскими средствами государства, что в результате получилось только бесплодное бюрократическое прожектерство и крайне неэкономная растрата сил.

Старые школы были сразу преобразованы в трудовые, но это, при полной неподготовленности учительского персонала и отсутствии соответственных пособий, свелось к тому, что изменена была вывеска школы. Вся педагогическая система осталась старая, а трудовой принцип в педагогике выразился лишь в том, что ученики и ученицы, большинство которых вышли у нас из

рабочей и крестьянской семьи и достаточно много работали у себя на дому, сверхурочно еще пилили дрова для отопления школьного помещения, мыли там полы, а летом копались на маленьких школьных огородных участках, в то время, как учителя свои участки сдавали крестьянам испола. Безграмотность должна быть в полгода ликвидирована! Для этого нужно было чрезвычайно расширить школьную сеть, а в нашей волости никак невозможно было изыскать средств для ремонта и отопления уже существующих школ. Обучение должно быть для всех одинаково бесплатное! Но чем жить учителям? Когда к нам пришла на более продолжительное время красноармейская часть, она помогла волисполкому собрать натурой целевой налог для школ с крестьян. До того же времени школьные учителя больше года не получали никакой платы, а работали они в исключительно тяжелых условиях военной обстановки; неоднократно ученики распускались из школ уже тогда, когда в местечке рвались снаряды или слышен был уже щелк пулеметов. Надо ли удивляться, что наступил момент, когда в учительской среде началась деморализация? Не имея никаких средств к существованию, учителя начали производить нажим на учеников, начали проявлять по отношению к ним исключительную строгость и требовательность, в результате чего большинство учеников стали брать у них частные уроки на дому. Гони природу в дверь, она влетит в окно! (Эта печальная практика, к счастью, продолжалась у нас не больше года. Как только стал поступать целевой налог, в школе вновь установились нормальные отношения между учителями и учениками.)

Не лучше обстояло дело в больницах. Медперсонал нашей заводской больницы состоял из врача и двух фельдшеров, не считая сиделок (во время эпидемии еще присоединился к ним эпидемический врач). Этот персонал справлялся со своим делом даже в те времена, когда завод работал полной нагрузкой, когда в нем во время производства работало, включая поденных, 2.000 чел. (с семьями 6.000). Но Нароздрава, ставившего себе необ'ятные задачи, не удовлетворяла такая постановка дела в больницах. Он требовал, чтобы всеми больничными аптечками заведывали не фельдшера, а спецы-фармацевты. И вот, когда частная местечковая аптека согласно общему декрету была закрыта, к небольшой аптечке заводской больницы были прикомандированы еще два работника—провизор и помощница провизора из закрытой частной аптеки. Провизор стал получать казенные пайки и прозодежду, но делать ему нечего было, конечно, в заводской аптеке, и он там действительно почти ничего не делал, тем более, что в аптечке с каждым днем уменьшалось количество лекарств.

Ясно было, что заводская больница нуждалась не в добавочных провизорах, а в добавочных лекарствах, а их-то в Здравотделе не было; их можно было достать только у тайно торгующих медикаментами дрогистов. При таких условиях, заводские рабочие в момент перехода заводской больницы в ведение Здравотдела, стали наседать на врача, чтобы он скрыл от учета часть необходимейших лекарств для обеспечения ими заводских трудящихся. Заводской врач, чтобы выйти из затруднительного положения, стучался во все двери, ездил три раза в уезд за лекарствами. Врач об'яснял в

Уздраве, что положение критическое, что в заводском районе свирепствует жестокая эпидемия и спрашивал: «Что делать?». Врачу в Уздраве отвечали: «Мы вам помочь ничем не можем, лекарств у нас нет», и прибавляли, не то шутя, не то серьезно: «Покупайте лекарства на стороне и записывайте в книгах, что покупаете молоко»...

Подводя итог первым трем годам октябрьской революции, я констатировал, что это было время растущего противоречия между блестящими военно-политическими успехами и систематическими поражениями на хозяйственно-культурном фронте.

ГЛАВА IV.

Отступление.

Таково было положение вещей у нас, когда мне весной 1921 г. попался в руки номер московской газеты с докладом Ленина о натуральном налоге на X-м с'езде Р. К. П., а затем его брошюра о продовольственном налоге. Как будто молния прорезала черные тучи и сразу ярко осветила то, что у нас происходит. Я видел, что Ленин поставил глубоко верный диагноз нашей болезни, вполне подтверждающийся всеми моими наблюдениями. Я готов был обеими руками подписаться под тем, что он говорил. Если не поздно, говорил я себе, то этим путем революция будет спасена.

Как отразился новый курс экономической политики, намеченный Лениным, в нашей провинциальной жизни? Прежде всего нужно сказать, что он отразился у нас очень не скоро. Мы, в нашем окраинном захолустье, вообще на год, если не больше, отставали от Москвы, а результаты новой экономической политики тем труднее могли дать себя почувствовать в первое время, что летом 1921 г. на юго-востоке разразилась катастрофа голода, которая, независимо от какой бы то ни было политики, должна была чрезвычайно ухудшить общее экономическое положение страны. Однако, именно на почве борьбы с голодом я убедился, насколько изменилось к лучшему настроение массы населения, особенно крестьянского, насколько улучшилось отношение подольского крестьянства к советской республике под влиянием новой экономической политики.

В феврале 1922 г. я был выбран председателем волостного комитета помощи приютам для голодающих детей Поволжья. Для того, чтобы развернуть широко агитацию в волости в пользу голодающих и для того, чтобы агитация велась в *определенном направлении*, я предложил издать специальный номер устной газеты, т. е. газеты для прочтения на народных собраниях. (В виду того, что на окружности пятидесяти верст мы не могли найти достаточно оборудованной типографии, газета была написана в ограниченном числе экземпляров на пишущей машинке). Газета носила не филантропический характер. Она, давая картину ужасов голода в Поволжьи, апеллировала не только и не столько к человеколюбию нашего трудового населения, сколько к его разумно понятым интересам. Она об'ясняла, почему трудовое население правобережной Украйны жизненно заинтересовано в спасении го-

лодающего Поволжья и в спасении всей Российской Социалистической Республики вообще. Газета была прочитана в шести деревнях нашей волости и в местечке, на заводском собрании, на волостных сходах и в школах. После этой пропагандистской подготовки мы приступили к сбору.

Когда к нам летом 1921 года стали доходить сведения о голоде в Поволжьи, местное население отнеслось к этому весьма равнодушно: «Что нам до Поволжья? Мы сами бедуем». Когда до нас осенью стали доходить слухи, что на Поволжье начинает уже распространяться людоедство, обыватели крестились, приговаривая: «Благодарю тебя, боже, что нас миновала чаша сия!», и переходили к своим очередным делам. Соответственно с этим, над нами, организаторами «Недели голодающего ребенка», некоторые обыватели подшучивали: «Вы добром у мужика ничего не возьмете; это ребячья затея; только военные части смогут выколотить хлеб у крестьян в пользу голодающих». Что же оказалось на деле? Несмотря на то, что наш сбор добровольных пожертвований совпал со сбором общегражданского налога и с принудительным четырехпудовым сбором с пятихаток, мы в нашей маленькой волости в «Неделю ребенка» собрали 300 пудов хлеба, 2.000 яиц, несколько пудов сахару, 3 кожи, 12 п. новых ботинок, посуду, старую одежду и т. д. Когда я обходил с подписным листом дома, бедняки, ютившиеся в трущобах, несколько раз мне говорили: «Благодарим вас, что вы нас не миновали». Это был на наш маленький волостной масштаб огромный, блестящий успех. Это свидетельствовало, что лед тронулся, что произошел перелом в настроении масс. Это подтверждали и другие факты. Член местного волисполкома (беспартийный), постоянно раз'езжавший по селам и очень хорошо осведомленный о настроении крестьян, говорил мне: «Я убежден, что если бы сейчас у нас в селах состоялось закрытое голосование, то огромное большинство крестьян нашей волости голосовало бы за советскую власть». О переломе в настроении деревни мне красноречиво говорил и тот факт, что заводская посевная кампания в 1922 г. прошла блестяще. Очевидно было, что в деревне вновь воскресает ее старая дружба к советской власти, к большевикам, что крестьянин-середняк опять больше прислушивается к голосу «незаможных», чем к голосу «куркулей».

Как реагировали на новую экономическую политику в нашем районе буржуазное население городов и местечек, с одной стороны, заводские рабочие, с другой?

Лавочники, торговцы, спекулянты и вся вообще битая, но недобитая буржуазная публика, конечно, ожила и возликовала, когда Советская власть взяла новый курс. Но это отнюдь не означало, что она искренне примирилась с Советской властью, как видимо примирились с ней крестьяне. Это означало лишь, что у нее зародилась надежда, больше того—уверенность в близости добровольной и полной *самоликвидации* коммунизма и Советской власти и полной реставрации капитализма со всей его правовой и политической надстройкой. В течение целого года, от весны 1921 г. до весны 1922, в нашем уезде—в Ялтушкове, Ушице, Баре, Жмеринке неизменно циркулировали самые фантастические слухи, выдававшиеся за достоверные факты, что все са-

харные заводы решено в ближайшее время возвратить бывшим собственникам, что об этом уже ведутся переговоры, что некоторые договоры уже подписаны, что железные дороги сдаются в концессию иностранным капиталистам, что некоторые дороги уже сданы и т. д. и т. д.

Все эти буржуазные мечтания были в порядке вещей. Но странным на первый взгляд казалось, что после провозглашения нэп'а, в буржуазном хоре стали раздаваться отдельные голоса в пользу полного примирения с советской властью. Первый богач и воротила в нашем заводском местечке, владелец двух мельниц, паровой и водяной, человек очень неглупый, энергичный, тертый кулак, видавший разные виды, сейчас же, как выяснился новый курс правительства, стал ярко «красным», стал всюду и везде афишировать свою привязанность к советской власти, жадно читал московские газеты и на всех перекрестках комментировал их, доказывая обывателям, что советская власть с каждым днем крепнет, что все надежды на ее падение бессмысленны и что они должны следовать его примеру—бросить противозаконную спекуляцию и добросовестно «работать» для экономического возрождения советской республики. Чем об'яснить, что этот кулак, которого волисполком, несмотря на его красные речи, при каждом новом налоге или сборе попрежнему облагал вдвойне и втройне по сравнению с другими местечковыми буржуями, проникся такой любовью к советской власти? Что он благодаря «нэп'у» получил возможность вновь пустить в ход свои мельницы, есть об'яснение явно недостаточное—ведь это бы ему разрешила любая буржуазная власть тоже. Причина очевидно была другая, и хорошо знакомому с местными условиями ее нетрудно было разгадать. До революции наш «красный мельник» был в полной экономической зависимости от сахарного завода, безраздельно царствовавшего во всей округе. До революции ему перепадали только крохи со стола этого гиганта. После октябрьской революции этот гигант был парализован, он перестал быть для мельника конкурентом на крестьянском рабочем рынке, когда мельник вновь получил право пустить в ход свои мельницы. Теперь на его улице был праздник. Теперь он, сравнительно маленький человек, пользовался в округе большим кредитом, чем некогда могущественная, а ныне нищая заводская контора. И вот, наш мельник очевидно был убежден, хотя тщательно скрывал это, что пока советская власть будет стоять крепко, в условиях «нэп'а», в условиях нового курса, взятого «всерьез и надолго», для мелких частных предпринимателей будет раздолье, в то время как крупные гиганты промышленности будут попрежнему пребывать в состоянии полного паралича. Отсюда его любовь к советской республике! Не удивительно поэтому, что, как только на нашем сахарном заводе появились первые слабые признаки оживления, как только завод решил поставить собственную заводскую мельницу и осуществил свое желание, наш «красный мельник» почувствовал себя оскорбленным в своих лучших «коммунистических» чувствах, стал рвать и метать и грозился избить служащего, которому поручено было заведывать заводской мельницей!

В то время, как буржуазия у нас в период «нэп'а» переходила таким образом от сладостных надежд к трезвому похмелью, наши заводские рабо-

чие проделывали эволюцию в противоположном направлении. Вначале, когда на них, как снег на голову, обрушился «нэп», когда завод перешел на хозяйственный расчет и стал загонять экономию, когда введено было коллективное снабжение, когда коммунистический принцип «соцобеса» был отвергнут, когда оплата труда стала соразмеряться со степенью его квалифицированности и продуктивности, когда «замороженные» заводы были поставлены в сравнительно худшие условия, чем действующие, когда началось усиленное сокращение штатов, когда введено было единоличное управление и начала применяться трудовая дисциплина, рабочие пришли в угрюмое настроение и начали сильно роптать: «Таковы дела, товарищ!—говорил мне с горьким упреком беспартийный рабочий (в нашем отсталом союзе, впрочем, все рабочие были беспартийные):—Стоило вам тридцать лет жизни ухлопать на борьбу за свободу, чтобы добиться таких результатов?» В то же время, бывший председатель заводской коллегии, а теперь единоличный управляющий заводом, потирая руки, иронически посмеивался: «Теперь мы поменялись ролями. Теперь мы защищаем интересы рабочих, а коммунисты их прижимают и подтягивают». Повторяю, новая экономическая политика, в той части своей, которая касалась непосредственно заводов, их перевода на хозяйственный расчет, встретила вначале у большинства наших рабочих весьма недружелюбное в себе отношение, хотя и до «нэп'а» им жилось очень несладко.

Но постепенно они стали как будто разбираться в значении «нэп'а». Незадолго до моего от'езда из Украйны, к нам часто наезжали деятели нашего профсоюза, уполномоченные райкома трудосахара, из которых некоторые еще недавно были рабочими нашего завода или соседних заводов и пользовались полным доверием рабочей массы. Они на заводских собраниях давали рабочим всестороннее освещение современному положению вещей. Они с цифрами в руках показывали, что «нэп» уже за один год успел дать кое-какие ощутительные результаты. Они указывали, например, что в то время как в прошлогоднюю производственную кампанию в киевском сахарном районе для выпуска каждого пуда сахара пришлось израсходовать полтора пуда, в нынешнем году производство в этом районе уже было бездефицитное, хотя это и куплено было ценой дальнейшего пока сокращения производства и чрезвычайной экономии в рабочей плате. Но, по мере улучшения положения завода, возможно будет и плату повысить. Когда рабочие все это слышали, они начинали задумываться, и они тем внимательнее и доверчивее прислушивались к этим речам, что это были речи своих же братьев рабочих-сахарников, что эти рабочие профессионалисты, требуя применения самых крутых, жестких мер для восстановления трудовой дисциплины и требуя временно сильного самоограничения рабочих, в то же время держали себя очень независимо по отношению к заводской администрации: они, правда, в отличие от практики недавнего прошлого, не вмешивались уже в чисто хозяйственные распоряжения администрации, но зато проверяли ее на каждом шагу, строго контролировали ее и делали это более умело, чем раньше, потому что они сильно выросли за годы революции, потому что они научились понимать немногим хуже старых администраторов хитрую механику завод-

ского хозяйства, обладая кругозором более широким, чем эти администраторы. Таким образом, благодаря энергичной производственной пропаганде профессионального союза, у нашей рабочей массы начинала воскресать вера, что дело пролетарской власти не проиграно и что не за горами время, когда тяжелые жертвы рабочих окупятся. Полного перелома настроения у наших рабочих, я, однако, не дождался на Украйне, во-первых, потому, что рабочие-сахарники в массе своей принадлежат к наиболее серой и отсталой части пролетарской армии, во-вторых, потому, что нашему заводу не посчастливилось. Несмотря на удачную посевную кампанию, он, после некоторых колебаний, и на этот год еще был зачислен в список недействующих.

ГЛАВА V.

Пробили себе дорогу!

Как я лично, живя в Подолии, оценивал положение вещей в период новой экономической политики? Я должен сознаться, что в 1921 г. мое настроение на этот счет было еще весьма двойственное.

Я с самого начала был убежден, что новая экономическая политика есть единственный путь спасения социалистической революции, что другого пути нет, и меня не особенно смущало то, что «нэп» будит радостные надежды буржуазии, поскольку он открывает двери свободной торговле и сеет смятение среди рабочих, поскольку он переводит фабрики и заводы на хозяйственный расчет: я понимал, что при таком крутом повороте неизбежно появление иллюзий во враждебном лагере и временных разочарований в собственном. Но меня смущало другое. Видя, как советская власть, после кронштадтского восстания быстро перешла от разверстки к товарообмену и от товарообмена к денежному хозяйству, будучи оторванным от центра политической жизни, имея возможность читать лишь разрозненные номера московских газет, прочитав заявление Ленина, что «мы не знаем, как долго нам придется еще отступать, и за какой кустик нам удастся уцепиться», живя в атмосфере всевозможных фантастических слухов, которых я не мог проверять, я спрашивал себя с тревогой: не совершается ли у нас паническое отступление? не слишком ли поздно мы вступили на путь новой экономической политики? не начинает ли сама власть отчаиваться, что ей удастся удержаться на позиции, гарантирующей дальнейшее продвижение к социализму? Если бы это было так, говорил я себе, не теряя надежды, что это не так, если бы оказалось, что советская власть осуществила лишь то, что хотела, но чего не в силах была осуществить коалиционная власть, что она осуществила только радикальную буржуазную революцию, то не слишком ли много для этой ограниченной цели было расстреляно пороху, не слишком ли много было разбито горшков?

Все эти сомнения и опасения исчезли у меня весной 1922 г., когда я прочитал авторитетное заявление Ленина на XI с'езде Р. К. П., что отступление кончено, что мы достаточно укрепились, чтоб не сделать больше ни одного

шага назад, и когда я увидел, как стойко держалась наша делегация на Генуэзской конференции в вопросе о возвращении фабрик и заводов собственникам. Тут я убедился, что октябрьская революция уже получила полное историческое оправдание и что ее победы уже невозможно вычеркнуть из страниц истории, что бы нам ни сулила судьба в дальнейшем.

Я не был, конечно, так наивен и доверчив, чтобы прийти к такому заключению на основании одного лишь официального заявления вождя господствующей партии и на основании одной дипломатической ноты нашей Генуэзской делегации. Два чрезвычайно важных обстоятельства питали мою уверенность, что заявления Ленина и нашей делегации не были только парадными фразами, что мы присутствуем на действительном историческом повороте, что наш советский корабль, руководимый твердой рукой, после того, как революционные бури его швыряли из стороны в сторону, после того, как он потерпел целый ряд тяжелых аварий, минув наиболее опасные подводные камни, пробился, наконец, на хорошую дорогу.

Первая причина, внушившая мне эту уверенность, была та, что советская власть во время Генуэзской конференции окопалась на такой позиции, которая, согласно трезвому марксистскому анализу нашей российской действительности, вполне соответствует нашей экономической отсталости и в то же время является достаточной заручкой для хотя бы и медленного, но зато планомерного и систематического продвижения к социализму.

Сохранив в качестве заручки для продвижения к социализму национализацию крупной промышленности, советская власть, учитывая нашу отсталость, своей новой экономической политикой открыла опять простор для развития мелкого крестьянского хозяйства. Правда, при нашей экономической разрухе национализированная промышленность будет у нас еще нуждаться в *протекционизме* в течение более или менее продолжительного времени, а это, конечно, ляжет известным бременем на крестьянское хозяйство. Но этого бы не могла избегнуть при современных условиях и буржуазная власть, и она вынуждена была бы вести протекционистскую политику по отношению к крупной промышленности, чтобы избавить нашу разоренную страну от полного экономического порабощения иностранным капиталом. Зато советская власть может дать крестьянству то, чего не в силах ему дать никакая буржуазная власть: она одна не восстановит частной собственности на землю; а это значит не только уничтожение остатков крепостничества, но и препятствие к образованию капиталистической ренты, ставшей повсюду тормозом к развитию сельского хозяйства. Она одна захочет и сможет вести борьбу с мелким торговым посредничеством, играющим роль паразита на организме крестьянского хозяйства. Наконец, она одна будет решительно отстаивать интересы труда в земледелии, т.-е. интересы крестьянства, поскольку оно является трудящимся классом.

Чтоб все это реализовать в жизни и чтоб крестьянин мог убедиться на практике в преимуществах социалистической власти над буржуазной, нужно время, нужен срок. Но это время, этот срок советская власть себе отвоевала уже на международной арене, и это есть вторая причина, внушившая мне

уверенность в том, что советская власть пробила себе, наконец, дорогу к социалистическому строительству.

Самый факт приглашения на Генуэзскую конференцию Антантой своего смертельного врага, которого она в течение трех лет пыталась сломить силой оружия, свидетельствовал о том, что советская Россия стала великим, общепризнанным историческим фактором в мире. Для меня ясно было, что это была не простая дипломатическая победа. Это был результат, с одной стороны, неизлечимой болезни капиталистического мира, с другой — победоносной, героической борьбы нашей Красной армии, которая быстро выросла и окрепла на развалинах старой армии, в пламени борьбы за социализм, благодаря великому энтузиазму рабочего класса, отдававшего этой армии лучшие свои силы.

Организация Красной армии и ее победы были величайшим положительным достижением октябрьской революции до 1921 года, которое, хотя и куплено было огромной ценой, но зато очистило дорогу для социалистических побед на экономическом фронте в будущем. В этом я себе отдавал вполне отчет на Украйне, ибо там я видел, как быстро развивался и креп этот страж революции, ибо там Красная армия проходила перед моими глазами не парадным, церемониальным маршем, а в тяжких, кровавых боях, и ее героическое поведение заполняло мое сердце радостью и гордостью, хотя я и не был большевиком.

Когда к нам в первый раз пришел красноармейский отряд Б—ского полка, который впоследствии, как я узнал, был расформирован, он своим поведением не внушил мне еще ни радости, ни гордости. Но Красная армия на моих глазах быстро крепла и спаивалась железной товарищеской дисциплиной. И чем больше я переворачивал страниц ее истории, тем больше они окружали ее в моих глазах ореолом славы.

Я помню, как к нам впервые пришли поляки: прекрасные откормленные кони, солдаты и офицеры все одеты были с иголочки в новенькие мундиры, пулеметы сверкали. Офицеры сейчас же устроили себе в нашем доме заводского правления лукулловский обед. Видно было, что хорошо заботилась об них богатая французская тетенька. Когда они выступили, пришли красноармейцы: плохо одетые в пеструю, рваную одежду, плохо обутые, кто во что, полуголодные и в то же время, что было для нас совершенно ново, стесняющиеся просить хлеба. Когда я сопоставил эти две армии, я опасался, что наши при первом столкновении разбегутся. Как сильно я заблуждался! Эти оборванные, полуголодные люди дрались как львы и прогнали неприятеля, который, на наш глазомер, был в пять раз многочисленнее их. Не только обывателям, но и мне это показалось чудом. Одновременно нам рассказали, что в 16 верстах от нас, в городе Баре, несколько сот красноармейцев в течение двух суток сопротивлялись против 10.000 поляков!

Я помню, далее, как раз разыгрался жестокий бой из-за какого-то хутора близ села Женишковец, верстах в десяти от нас. К нам то-и-дело привозили раненых красноармейцев в больницу. У одного товарища от взрыва пушки оторвало ногу. Пока моя сестра делала ему перевязку, я спрашивал

у санитара: «Как обстоит дело на хуторе?». «Позиция наша слабая, но наши держатся крепко, к утру мы там все умрем», ответил он спокойно, как будто равнодушно, и без всякой рисовки.

В то время, как в наших частях спайка росла, у поляков дисциплина, судя по разным симптомам, начала падать. Раз, когда поляки заняли наше местечко, я из окна наблюдал такую сцену: какой-то офицер приказал арестовать солдата. Двое схватили провинившегося солдата под мышки и поволокли. Солдат упирался и отбивался. Офицер выходил из себя, ругался. На месте происшествия собралась большая толпа солдат. Несмотря на грозное требование офицера, они не только не помогали смирить ослушника, но стали заливаться громким смехом. В конце концов офицер сердито махнул рукой, и провинившегося отпустили ко всеобщему удовольствию. Видно было, что когда поляки наступали на нас, даром доставшиеся им от Франции хорошие мундиры и пулеметы не могли заменить в польской армии отсутствующего энтузиазма в борьбе с советской Россией!

Революционный энтузиазм поддерживал дисциплину в Красной армии в самые тяжелые времена, когда она еще была весьма плохо одета и весьма недостаточно снабжена продовольствием, и этот энтузиазм, это хладнокровие пред лицом опасности я наблюдал одинаково и в солдатской массе и в командном составе. Я помню, как раз на нас наступали поляки. В нашей квартире, в кабинете, спал уставший от бессонной ночи военком Янулянис. Когда неприятельский огонь к нам уж очень сильно приблизился, я его разбудил. Он приподнялся, заглянул в окно и сказал флегматично: «Бой идет еще в двух, трех верстах от нас, я могу еще немного соснуть». Через полчаса, когда бой был уже в местечке, он вскочил и сел на коня. Я помню другой случай. В нашей квартире поместился начальник Особого Отдела какой-то части, Иван Иванович Кальнин с двумя красноармейцами. Наши части отступали. Весь штаб с обозом уже ушел днем. Я за обедом спросил Ивана Ивановича, что он предполагает делать. Он ответил мне: «Я пока останусь, у меня правило—отступать последним». Вечером, когда мы сели чай пить и когда в местечке уже не было ни одного красноармейца, на улице раздался неистовый крик—«Слава!» и затрещали винтовки. То была петлюровская конница. И. И. вскочил, схватил в охапку кое-какие вещи и выбежал в сопровождении своих двух спутников на задний двор, где стоял его тарантас, запряженный парой лошадей. На столе в нашем кабинете осталась его ручная граната, а на диване сумка. Уже под свистом пуль моя сестра вынесла на двор гранату, а я вынес и положил в тарантас сумку. Затем мы с сестрой вернулись домой и с замиранием сердца ждали, какова будет судьба И. И. Когда стало светать, мы выглянули в окно,—тарантаса уже не было. Через месяц мы узнали, что И. И., обождавши во дворе, пока петлюровская конница проскочила по шоссе, переехал через улицу и ускакал, обстреливаемый оставшимися петлюровскими постами, на одной лошади; другая была убита.

Самые лучшие, вернее, единственные хорошие политические воспоминания, которые я вынес из Украйны, это — воспоминания о моих встречах и

знакомствах с солдатами и командирами Красной армии. И если я весной 1922 г. поверил заявлению, что мы на экономическом фронте больше отступать не будем, как бы ни был силен на нас нажим большой и малой Антанты, то эту веру я прежде всего черпал из сознания, что наша Красная армия с ее пролетарским, коммунистическим ядром жива и что она бодро стоит на защите советской республики.

Я повторяю, только весной 1922 г. я окончательно подвел итоги моим украинским наблюдениям и размышлениям, и пришел к убеждению, что коммунистическая партия, руководившая и руководящая октябрьской революцией, *в конечном счете* хорошо выдержала исторический экзамен. Октябрьская революция, как и все прошлые великие революции в европейской истории, в известный период стихийно пошла дальше, чем это позволяли экономические условия нашей страны. Но в отличие от всех прошлых революций, это не повело к победе контр-революции, потому что коммунистическая партия, вооруженная марксистским разумом, сумела во-время перевести наш поезд на другие рельсы, когда прошло время непосредственной борьбы за власть, с тем, чтобы двигаться вперед уже более планомерно, без внутренних катастроф. Это—великое торжество марксизма.

После того, как я пришел к такому выводу, мне осталось только в свете октябрьской революции переоценить весь наш старый спор между меньшевизмом и большевизмом. Это я и делаю во второй части настоящей книги, посвящаемой мной прежде всего меньшевикам, тем, с которыми я много лет рука об руку боролся за общее революционное дело.

В третий раз в моей жизни я переоцениваю мои взгляды. Первый раз я их переоценивал, когда от народовольчества переходил на точку зрения марксизма. Второй раз, когда от «рабочедельства» переходил на точку зрения меньшевизма. Третий раз—теперь, когда от меньшевизма перехожу на точку зрения коммунизма. Переоценивать свои взгляды тяжело. Но я утешаю себя тем, что в деле переоценки взглядов у меня были хорошие предшественники, начиная с «неистового Виссариона». И еще я утешаю себя тем, что в каждом из трех случаев, я шел вперед, в направлении развития революции, а не назад.

Более прискорбно мне другое, что в то время, как коммунисты боролись с буржуазным миром, делая большие ошибки и поправляясь, спотыкаясь и вставая, я четыре года на Украйне ухлопал на борьбу с самим собой, со своими партийными предрассудками. В этом грехе я утешусь лишь в том случае, если трудная работа самокритики, проделанная мною за эти четыре года, облегчит муки родов коммунизма у многочисленных меньшевиков, которые, я уверен, чувствуют сейчас, как чувствовал я, что они зашли в тупик, но не знают, как из него выбраться.

Курс лекций по историческому материализму[1]).

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

ЛЕКЦИЯ 2.

Краткий очерк развития философско-исторической мысли.

Всякая вещь, всякое явление и всякое учение имеют свою историю. И для того, чтобы надлежащим образом понять вещь, явление или учение, необходимо узнать их историю. История определенного учения раскрывает его истинное содержание и сущность тех воззрений, которые ему пришлось преодолевать на пути к собственному утверждению. Без знания последних невозможно настоящее знание и первого.

Философия истории, т.-е. та отрасль знания, которая занимается установлением общественно-исторических законов, имеет свою собственную и по своему внутреннему содержанию весьма почтенную историю. Полное и всестороннее понимание материалистического понимания истории, настоятельно требует знания исторического развития философии истории вообще, хотя бы в кратких чертах. Считаю, поэтому, необходимым дать краткое и сжатое изложение основных и главных принципов исторического развития философии истории, которые имеют на мой взгляд особенно важное значение для ясного понимания исторического материализма.

Сравнительно с другими областями человеческого познания философия истории и обществоведение очень позднего происхождения.

Вопросы естествознания зарождаются на самых первых стадиях человеческого развития, на заре культуры. Почти у всех первобытных народов есть своя религия, имеющая своим главным предметом об'яснение явлений природы. К этому вынуждает прежде всего борьба за существование. В мире, в бесконечно разнообразных явлениях окружающей природы первобытный, или выражаясь более научным определением исследователя Ревиля, нецивилизованный человек останавливает свое внимание на тех, которые решают сложный и тяжелый вопрос о его существовании, на тех, которые поддерживают или препятствуют его самосохранению, на тех, которые внушают ему надежду и вызывают чувство роковой зависимости. Чтобы отстоять себя, чтобы утвер-

---

[1]) См. „Красная Новь“ № 6 (10).

дить свое право на жизнь, чтобы не быть раздавленным внешними, стоящими перед ним грозными и непонятными силами окружающего мира, человек должен был так или иначе определить свое отношение к ним и установить ту или иную гармонию между своей деятельностью и работой внешних противостоящих сил. Этим установлением и является по существу первобытная религия, которая представляет собою по своему основному содержанию естествознание первобытного или нецивилизованного человека.

Ранее зарождение начал естествознания . об'ясняется, таким образом, очевидной и ярко-выявленной зависимостью человека от сил и явлений окружающей природы и стремлением воздействовать на нее. Природа дает себя чувствовать с самого начала, как внешний, противостоящий предмет, требующий настойчиво об'яснения и разгадки ее тайн.

Совершенно иначе слагаются отношения человека к его общественно-исторической жизни. Общественная среда даже на высоких сравнительно ступенях своего развития представляется человеку как продолжение его собственной деятельности, ничем не обусловленной; она кажется следствием свободной воли, результатом индивидуальных усилий и сознательно поставленных общих целей. И тогда, когда судьбы общественной жизни фетишизуются. т.-е. когда они переносятся по ту сторону общества и приписываются воле и намерениям божества, общество, общественная действительность все же не воспринимается, как об'ективная, противостоящая сила, а продолжает рассматриваться, как плод исключительно человеческого сознания и воли, управляемых и определяемых божеством, при чем добрая или злая воля самого божества так же ставится в зависимость от поведения человека.

Другая причина, об'ясняющая позднее возникновение философии истории, заключается в том, что историки обращали свое исключительное внимание на выдающиеся шумные и бьющие в глаза события. Ежедневная жизнь, труд и борьба за существование широких народных масс, т.-е. те явления общественной действительности, которые составляют сущность и основу общественного бытия и исторического движения, оставались где-то в тени, скрытыми за пределами сознания историографов. Привычные явления серых будней истории ускользали от духовного взора историков, как явления, не заслуживающие серьезного внимания. На поверхности житейского бурного моря виднее всех и всего были выдающиеся крупные личности, деятельность королей, крупных законодателей и военные подвиги храбрых и умелых полководцев.

Совершенно верно поэтому говорит один из новаторов исторического метода Огюстэн Тьерри:

«Удивительна упорная склонность историков не признавать за массой никакой самостоятельности, никакого творчества. Если какой-нибудь народ выселяется, ища себе нового места жительства, то наши историографы и поэты об'ясняют это тем, что какой-нибудь герой решился основать новую империю с целью прославить свое имя; если возникает какое-нибудь новое государство, то это об'ясняется инициативой того

или другого государя. Народ, граждане—всегда представляют собою лишь материю, одухотворяемую мыслью отдельных людей».

Так говорит новатор исторического метода начала XIX столетия, выражая свое удивление и даже свое негодование по адресу историков старой школы. Давая яркую и справедливую оценку прежнему историческому методу, знаменитый историк упускает из виду, что новый взгляд, им исповедуемый, на историческую действительность не есть плод гениальной интуиции, а продиктован движением масс XVII и XVIII столетий.

Сделанное О. Тьерри в общем и целом справедливое обобщение имеет, конечно, и свои внушительные исключения. Так, например, история Пелопонесской войны Фукидида, написанная в течение последней четверти V столетия до нашего летоисчисления, дает обстоятельную характеристику социальных отношений, изображенной эпохи. А там, где речь идет о *социальных отношениях*, там выступает с естественной необходимостью значение жизни широких слоев населения.

Далее, в эпоху упадка античной Греции, когда накопление классовых противоречий явно выступает наружу, угрожая гибелью общественно-государственной жизни, Платон (427—347 по старому летосчислению) приходит к общему социологическому выводу, что торговля и промышленность неминуемо приводят к раздирающим государственный организм противоположностям общественных слоев населения данного государства.

Великий идеалист классической древности, создавая новый спасительный, с его точки зрения, утопический план государственного устройства, взял за исходную точку разделение труда. Разделение труда является, по мнению Платона, *основой единства* и в то же время также и *противоречия* государственного целого. Государственное управление имеет поэтому своей главной целью руководить силами, составляющими национальное государство, и держать в равновесии противоречивые, всегда готовые к борьбе общественные элементы. Государство в целом Платон рассматривает, как нечто связное, единое целое, сравнивая его с человеческим организмом.

Тут же следует отметить, что органическая теория в социологии имеет свое отчетливо выраженное начало в учении Платона о государстве. Взгляд великого мыслителя на государственное устройство был большим шагом вперед на пути к постановке проблемы философии истории. Государство, общество провозглашается об'ективной внешней силой, управляемой так или иначе какими-то собственными законами.

Еще дальше в этом направлении пошел гениальный ученик Платона Аристотель (384—322 по ст. лет.). Аристотель, глубокий мыслитель и в то же время серьезный и терпеливый исследователь, стремится установить законы общественной жизни, исходя из конкретно-исторических основ. Абсолютно совершенных государственных форм управления, как и абсолютно негодных, не существует. Всякая государственная форма правления вытекает из определенно-конкретных условий жизни данного народа и им соответствует. Аристотель становится таким образом на диалектическую точку зрения, но наи-

более замечательным является в учении Аристотеля о государстве деление общества на классы, главным образом по имущественному признаку, и ясное понимание того, что борьба политических партий обусловливается социальной борьбой классов. «Существуют,—говорит Аристотель в «Политике»,—во всех государствах три класса: очень богатые, очень бедные и третий класс, занимающий среднее положение между ними. И если умеренность и средина вообще должны быть признаны самым лучшим, то ясно, что среднее имущественное положение также наилучшее». «Ясно,—заключает Аристотель,—что наилучшей государственной формой управления является та, которая покоится на среднем классе, и что только те именно государства способны к хорошему управлению, в которых средний класс многочисленен или же, по крайней мере, сильнее одного из них. Ибо во втором случае средний класс, присоединяясь к одному из двух крайних классов, является решающей силой и не дает господствовать ни одному из них. Поэтому большое счастье, когда граждане владеют средним достатком, ибо где одни владеют большим имуществом, а другие его совершенно лишены, там возникает вследствие этих двух крайностей либо наиболее крайнее господство народной массы, или наглейшая олигархия, либо тирания»... В этой связи нельзя не отметить и еще одной изумительной мысли Аристотеля. В подтверждение справедливости своего взгляда на благодетельное значение среднего класса, философ указывает на тот факт, что наилучшими законодателями были люди, вышедшие из этого именно класса: из среднего класса вышли Солон, Ликург, Хордас и почти все другие крупные законодатели. Аристотель имеет, таким образом, ясное представление о классовых идеологах, выражающих интересы, настроение и стремления своего класса.

Эти замечательные мысли Аристотеля, которые могли бы, кажется, сделаться исходной точкой для дальнейшего развития общественной и исторической науки, как бы дремали под спудом негодного исторического материала, не оказав непосредственного влияния на методы исследования и писания истории.

«Представление,—говорит Энгельс в «Антидюринге»,—будто существенными в истории являются политическая деятельность государей и государств, столь же старо, как и сама историография. Это представление есть главная причина того, что у нас так мало сохранилось данных о совершающемся в тишине за этими шумными проявлениями и действительно движущем вперед развитие народов. Это представление господствовало во всем прежнем понимании истории и впервые было поколеблено только буржуазными историками времен реставрации».

В общем это без сомнения так. Совершенно понятно поэтому, что философия истории, ставящая себе задачу найти общие начала, движущие исторический процесс, не могла возникнуть на ранних ступенях культурной жизни человечества.

Философия истории, как отдельная самостоятельная область познания, возникает лишь в XVII столетии. Родоначальником ее считается с полным правом французский епископ Боссюэт (1627—1704), который в своем сочи-

нении «Всемирная история», появившемся в 1661 году, впервые делает попытку найти обобщающее философское начало всемирной истории. Общая точка зрения Боссюэта—религиозная. Бог руководит историческими судьбами народов, но мировая история осуществляет заранее предначертанный божественный план. «Бог управляет мировой историей, преследуя свою цель, а человек волнуется». Так гласит общая формулировка философии истории знаменитого епископа. По Боссюэту исторические события вызываются не великими личностями, а носителем, выразителем и движущей силой общего исторического процесса является какой-нибудь избранный *народ*. Израильское племя, осуществляя божественный предначертанный план, служит носителем мировой культуры, и оно же, израильское племя, имело решающее влияние на культуру Греции и Рима. Проникновение в глубины исторического процесса, понимание могущества об'ективного хода вещей подсказывает основателю философии истории великую мысль о том, что историческая жизнь совершает свое движение под влиянием более властных и могучих сил, нежели капризная воля того или другого короля или даже государственное творчество гениального законодателя.

Религиозное об'яснение истории, провозглашенное Боссюэтом, разумеется превзойдено в настоящее время. Даже представители религиозного мировоззрения наших дней, вроде Гарнака и Эйкена, не приемлют философии истории Боссюэта в ее чистом виде. И теологам приходится теперь делать уступки научной мысли, но за Боссюэтом останется бессмертной заслугой сама постановка проблемы и факт искания общих об'ективных исторических законов. Ибо, когда речь идет об историческом развитии мысли в определенной отрасли познания, важно то, что вопрос был правильно поставлен, а не то, как он был разрешен.

За Боссюэтом следует философско-историческая теория Вико (1668—1744). Этот знаменитый и поистине гениальный итальянец поставил вопрос о развитии всемирной истории на научной основе. Свое произведение, трактующее проблему философии истории, Вико назвал «Новой наукой», и с полным правом дал ему это заглавие. В истории человечества мыслитель отмечает три периода, следующие друг за другом в закономерном порядке: период богов, период героев и период деятельности людей. Эти три периода составляют общий цикл. Когда этот цикл завершен, начинается новый по тому же порядку. История представляет собой, таким образом, постоянный круговорот. Наиболее замечательными и поистине гениальными являются в доктрине Вико: во-первых, *впервые* формулированная по отношению к философии истории *идея развития;* во-вторых,—социологический подход в отношении составных элементов общественной жизни. Вико касается семьи, собственности, государства, права, языка и религии, рассматривая все эти общественные формы жизни, как элементы общественно-исторического движения. Эти элементы подвержены постоянному изменению и на протяжении исторического времени меняют свои основные черты.

В общем Вико исходит из эклектической точки зрения, тем не менее его

философско-историческая доктрина составляет, без всякого сомнения, начало научного об'яснения истории. Таким началом является, во-первых, идея развития, во-вторых, убеждение в том, что историческое развитие совершается путем освобождения от авторитета богов и героев, находя свое конечное завершение в деятельности людей.

Следует тут же отметить, что гениальные идеи Вико были идеологическим выражением и обобщением итальянского возрождения, глубокий смысл и значение которого состояли в борьбе против авторитета и власти церковной и феодальной иерархии.

Проблема философии истории после Боссюэта и Вико как бы снова засыпает. Как специальная проблема, философия истории не занимает особого места в общественной идеологии. В общем, идеология XVII и первых трех четвертей XVIII веков передовых капиталистических стран занимается главным образом вопросами государственного строительства и проблемами новорожденной науки, политической экономии.

Тут история звучно и бурно играет свою прелюдию к великой французской революции. Гражданская зрелость английской и французской буржуазии, ее золотой век бури и натиска естественно отмечен глубоким интересом прежде всего к экономическим, политическим и правовым проблемам. Французское Просвещение XVIII столетия являлось боевой идеологией против дворянства и духовенства во имя науки, торжества разума, свободы личности и, в результате, во имя свободной конкуренции. Просвещение было глубочайшим образом проникнуто индивидуалистическими началами. С точки зрения индивидуалистической философии Просвещения общество является простым механическим соединением отдельных личностей, и вся общественная жизнь составляется из свободной игры интересов, страстей и стремлений отдельных лиц. Вследствие этого вопрос о том, что лежит в основе всего общественного целого, какими внутренними имманетными причинами определяется процесс исторического движения, не приходил в голову деятелям Просвещения. Характеризуя общественную идеологию XVIII столетия, Маркс справедливо и, как всегда, глубокомысленно говорит в найденном в 1902 г. введении к «Критике политической экономии», что индивид этой эпохи, который был с одной стороны «продуктом разложения феодальных общественных форм, а с другой— новых производительных сил, начавших развиваться в XVI веке, представлялся идеологам этой эпохи не результатом истории, но ее исходным пунктом». «Так как этот индивид,—продолжает Маркс,—казался воплощением естественных свойств и отвечал воззрению на природу человека, то в нем видели нечто не исторически возникшее, а установленное самой природой».

Увлечение натуралистическим индивидуализмом, клич назад к природе, идеализация доисторического времени и отрицательное отношение ко всему прошедшему не было, по справедливому мнению Маркса, «реакцией против чрезмерной утонченности и возвращением к ложно понятой природе». «Точно также и «Общественный договор» Руссо, в котором взаимоотношения и связь между независимыми от природы суб'ектами устанавливается пу-

тем договора, ни в малой степени не покоится на подобном натурализме. Все это внешность и только эстетическая внешность, больших и малых робинзонад. Напротив того, мы имеем здесь дело с предвосхищением «буржуазного общества», которое начало развиваться с XVI-го столетия, а в XVIII-м—сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости. В этом обществе свободной конкуренции отдельная личность является освобожденной от естественных связей... которые в прежние исторические эпохи делали из нее составную часть некоторого ограниченного человеческого конгломерата».

Под влиянием разложения феодального порядка история культуры была сдана в архив, и, следовательно, не могло быть и речи о философии исторического хода вещей.

Революционный буржуазный индивидуализм мог строить свою программу и фактически строил ее на двух основаниях: во-первых, на воспитании личности, во-вторых, на демократическом законодательстве. Истинным и полным выражением этих двух основ были «Эмиль» и «Общественный договор» Руссо.

Французские материалисты резко отличались от просветителей в вопросах обще-философского мировоззрения, но в вопросах общественно-политических они мало в чем расходились с Просвещением. Правда, в произведениях Гольбаха и Гельвеция, в особенности Гельвеция, встречаются интересные мысли социологического характера, но эти мысли ведут одинокое существование, не оказывая серьезного влияния на общее рационалистическое об'яснение общественной жизни, насквозь проникнутое революционно-буржуазным индивидуализмом. Справедливость требует отметить, что в произведениях Руссо мы находим более глубокие мысли философско-исторического характера, чем у материалистов.

В связи с трактуемой нами темой следует выделить особо Монтескье (1689—1755). Этот знаменитый политический мыслитель занимается в своем главном сочинении «Дух законов» теоретическим обоснованием государственного законодательства. Но вопросы политики приводят Монтескье к вопросу об условиях среды, которыми определяется конкретное воздействие или же бесплодность того или другого закона. В конечном итоге социальная среда и историческая жизнь определяется, с точки зрения Монтескье, географическим положением, климатом, почвой и пламенными особенностями. Интересно *и заслуживает внимания в учении Монтескье сближение законов* естественных и законов общественных. Монтескье ясно понимает, что общественная жизнь управляется неизбежными законами, что и ей присуща внутренняя причинная необходимость. Когда изданный государственной властью закон не соответствует данной общественной организации, он обречен на полную неудачу и представляет собой не что иное, как печальное и курьезное недоразумение. Но, как уже упомянуто, основой общественно-исторической закономерности служит географическая среда и племенные особенности.

Среди общественных мыслителей XVIII столетия Франции Монтескье придал философии истории новый оборот, подчеркивая естественную и причинную зависимость успехов или неудач политической деятельности от реальных условий жизни, сводя эти последние к физическим силам природы. Про-

блема не была, конечно, решена, но реалистический момент был сильно подчеркнут. Однако теория Монтескье, оказавшая значительное влияние своей политической частью, не находит себе во Франции непосредственных последователей в области философии истории. В этом периоде теоретическое мышление французов капитулирует перед грядущими бушующими историческими событиями.

Настоящим образом развертывается философско-историческая мысль в Германии.

Гегель где-то заметил, что в то время, когда французы делают историю, немцы думают о том, как ее следует писать. Немцы в эту эпоху, действительно, думали над тем, как надо писать историю, точнее—они задумывались над вопросом о ее законах.

Великая французская революция основательно всколыхнула мыслящую интеллигенцию Германии. Грандиозные, потрясающие события, сделавшие, как тогда выражались, разум основой мировой жизни, дали могучий толчок к исторической мысли избранным умам страны, которая, казалось, еще спала мертвым, непробудным сном.

Прежде всего Кант (1724—1804) и Гердер проявляют живейший интерес к вопросам философии истории.

По Канту вечные идеи права и справедливости, являясь регулятивными руководящими идеями, осуществляют в своем историческом развитии свободу народов. Свобода народов и вечный мир были общественно-историческим идеалом Канта. В трактате «К вечному миру», где главным образом обосновываются и развиваются философско-исторические взгляды мыслителя, мы читаем следующее чрезвычайно характерное место:

> «Настанет когда-нибудь время, когда среди народов земного шара взаимная внутренняя связь (более или менее тесная) достигнет таких размеров, что нарушение права в одном месте земного шара даст себя почувствовать во всех пунктах его. Поэтому идея всемирно гражданского права не является фантастическим или утопическим представлением о праве, но необходимым дополнением к неписанному кодексу как государственного, так и международного публичного человеческого права вообще. Только при этом условии является возможность утешаться надеждой на осуществление вечного мира, к которому мы постепенно приближаемся».

Целостно-единого философско-исторического воззрения Кант не дал с точки зрения его теории познания и не мог дать. Дуализм между непознаваемой и неподвижной вещью в себе и не менее неподвижными априорными формами вообще лишает возможности по существу открыть движущее начало исторического хода развития. В конечном счете философия истории Канта сводится к суб'ективно-метафизическим построениям отвлеченного права и отвлеченной метафизической идеи справедливости. Но важное значение в этом построении имели, во-первых, сама идея, что исторический процесс реализует свободу, во-вторых,—идеал международного братства и понимание того,

что вечный мир может обеспечить лишь тесная реальная связь между народами земного шара.

За Кантом следует Гердер (1744—1803). Гердер,—один из благороднейших сынов Германии, воодушевленный и глубоко проникнутый великими стремлениями гуманизма и страшной жаждой раскрыть смысл и значение исторического процесса, эта гениальная бурная натура, исполненная поэтических порывов,—чувствует биение пульса исторической жизни, как бы сливаясь с ней. Философия истории трактуется Гердером, как отдельная самостоятельная область ей он уделяет большое и сосредоточенное внимание. Его сочинение «Идеи к философии истории человечества» изобилует многими мыслями, сохранившими интерес и в настоящее время. Историческая действительность *рассматривается как эволюционный процесс. «Исторический прогресс,—думает* Гердер,—должен осуществить благородную подготовку человека к разумной жизни и свободе, к более чистым помыслам, к более крепкому и тонкому здоровью, к господству на земле». Глубоко проникнутый идеями Руссо, с одной стороны, и началами классической древности, с другой, Гердер видит задачи культуры в разностороннем развитии личности, в гармоническом сочетании физического и духовного. Но наиболее интересной в учении Гердера является мысль о роли и значении масс для выработки и развития человеческой индивидуальности. Проникнутый этим воззрением, мыслитель сосредотачивает особенное внимание на народном творчестве, которому он в своей многосторонней и обширной литературной деятельности отводит большое место. Следуя общей мысли Монтескье, Гердер придает огромное значение географической среде, развивая эту же мысль дальше и считая, что климатом, почвой и физическими условиями определяется не только народный быт, но этими основными элементами обусловливается вся духовная культурная жизнь.

В общем итоге в философско-исторических взглядах Гердера имели серьезное значение и оказали большое влияние на дальнейший ход философии истории: 1) ярко выраженная *идея эволюции,* 2) идея прогресса, 3) роль *географической среды и* 4) значение масс и народного творчества.

Все до сих пор кратко очерченные философско-исторические точки зрения являются подготовительными ступенями и вошли той или иной стороной в современное научное об'яснение истории, т.-е. в теорию исторического материализма.

Но больше, чем кто бы то ни было из мыслителей европейского запада, сделал в этой области Гегель.

Гегель (1770—1831)—идеалист. Согласно его идеалистическому мировоззрению началом всех начал является разум, абсолютная идея или, что одно и то же, абсолютный дух. Все мироздание представляет собой поступательное движение абсолютного духа. Природа и история человечества являют собою необходимые ступени этого абсолютного и всеоб'емлющего мирового духовного начала. На первой ступени своего саморазвития и самообнаружения дух не сознает себя. Сознания самого себя он достигает в общественном мышлении человечества. В государстве он достигает об'ективного значения; в философии

и главным образом в системе Гегеля—он приходит к самосознанию, так как истинная философия занимается мышлением об абсолютном духе, о его сущности, о его значении и о всех проявлениях его развития.

Философия Гегеля проникнута, таким образом, принципом развития. Само мироздание не есть что-то неизменное, застывшее, всегда себе равное, а является непрерывным процессом постоянных изменений, возникновений и разрушений, но совершает тем не менее свой путь от бессознательного к сознательному, от необходимости к свободе. Природа и история человечества составляют, таким образом, одну связную, неразрывную цепь, одно общее, слитное, единое целое.

Понятно, следовательно, что история человечества, являясь проявлением и обнаружением развертывающегося мирового разума, не может по существу представлять собою беспорядочную хаотическую игру случайности. Известное положение Гегеля, гласящее: «Все действительное разумно, и все разумное действительно», вытекает с непреложной логической необходимостью из общего мировоззрения философа.

Намерение, цели, страсти, мысли и деятельность отдельной личности, как бы гениальна ни была эта последняя, не могут с точки зрения великого идеалиста определять собою ход и исход исторических событий.

Историческая деятельность человечества слагается из действий людей, вызванных реальными интересами каждой отдельной личности. Каждая отдельная личность преследует в борьбе за свое существование свои собственные реальные цели, а в результате из совокупности идей и действий слагается нечто общее, имеющее свои собственные законы. Как, например, вода не похожа на свои составные элементы водород и кислород, так и общественная историческая деятельность людей в своем общем итоге не похожа на отдельные деяния мыслящих и действующих личностей. «В всемирной истории,—говорит Гегель,—из человеческих действий выходит нечто иное, чем то, к чему они стремились. Они поступают так, как этого требуют их интересы, а в результате этого получается нечто новое, нечто такое, что заключалось, правда, в их действиях, но чего не было в их сознании и их намерениях».

Вышеизложенные философско-исторические взгляды до Гегеля отличаются в той или иной мере эклектизмом, т.-е. воззрением, согласно которому исторический ход вещей определяется взаимодействием различных областей человеческой мысли и деятельности.

В сложном механизме общественно-исторической жизни выявляются с особенной отчетливостью отдельные и с виду как бы совершенно самостоятельные формы проявления жизни человечества или, как принято выражаться, «факторы». Бросается также в глаза взаимодействие этих «факторов».

Поэтому и среди современных социологов является наиболее распространенным взгляд, что вся историческая действительность обусловливается взаимодействием различных самостоятельных сил. Происходит, утверждают представители этого эклектического течения, постоянное взаимодействие

между различными факторами—умственным, нравственным, эстетическим, экономическим, правовым и т. д.

Исходя из своей строго продуманной монистической точки зрения, Гегель по-своему высмеял и подверг серьезной и глубокой критике господствовавшую до него и в его эпоху теорию взаимодействия. «Когда довольствуются,—говорит Гегель в своей «Энциклопедии»,—тем, что рассматривают данное содержание с точки зрения взаимодействия, что представляет собою прием крайне бедный в смысле понимания, тогда имеют дело просто с сухим фактом, и требование посредствования, сказывающееся там, где речь заходит о нахождении причинной связи, остается неудовлетворенным» Другими словами, об'яснять те или другие явления фактом взаимодействия, значит по существу ничего не об'яснять, а лишь констатировать «сухой» факт взаимодействия, который сам по себе на-лицо и требует для своего об'яснения чего-то третьего, к которому должно быть сведено взаимодействие, как к основной причине. Это значит, когда говорят о взаимодействии различных сторон общественной жизни, мы не должны довольствоваться указанием на их взаимодействие, а искать об'яснение как и этих самых сторон, так и возможности их взаимодействия в чем-то третьем, как выражается Гегель «высшем».

Для того, чтобы об'яснить факт взаимодействия, скажем религии и искусства, необходимо выяснить сущность и развитие религии, нужно понять содержание и развитие искусства, а затем найти третье общее, составляющее общую основу обеих областей и делающее возможным факт взаимодействия.

Если же общее третье не найдено, если эти, так называемые, факторы мыслятся, как это обычно делается эклектиками, как самостоятельные, самодовлеющие силы, тогда вообще взаимодействие немыслимо.

Далее. Благодаря последовательному историческому об'ективизму и глубокому пониманию того, что исторический процесс обусловливается действиями всего человечества, Гегель, как на это справедливо указал Г. В. Плеханов, часто вынужден изменять своему общему идеалистическому мировоззрению и становиться в деле об'яснения крупных исторических явлений на материалистическую точку зрения.

Вот пример материалистического истолкования исторических событий: Давая об'яснение, почему в славянских странах реформация не имела глубокого исторического значения, Гегель пишет в своей «Философии истории»:

> «В Австрии, в Богемии реформация сделала большие успехи и, хотя говорят: когда истина раз проникла в сердце людей, то ее уже нельзя вырвать оттуда, реформация, вопреки этому утверждению, была побеждена здесь силой оружия, хитрости или убеждения. Славянские народы были земледельческими народами, а земледелие ведет к появлению господ и подчиненных. В земледелии главная роль принадлежит природе, человеческая сноровка и суб'ективная деятельность находят себе при этой работе, вообще говоря, меньше места. Поэтому славяне медленнее и с большим трудом приходят к суб'ективному самосознанию и к сознанию общего, и они не могли принять участия в начавшемся освобождении».

Мы видим, таким образом, что в об'яснении событий огромной исторической важности Гегель исходит из чисто материалистических соображений. Во-первых, религиозная идеология поставлена здесь в прямой зависимости от способа производства; во-вторых, что тем же способом производства, а не свойствами абсолютного духа об'ясняется общее направление человеческой психики, степень активности и способ мышления славянских народов. Это об'яснение Гегеля ясно и недвусмысленно говорит о том, что общественное сознание определяется общественным бытием.

А вот и другой не менее характерный пример: государство, которое с общей идеалистической точки зрения Гегеля есть осуществление нравственной стороны абсолютного духа, само оказывается в действительности продуктом социально экономического развития. В той же «Философии истории» он говорит:

> «Действительное государство возникает только тогда, когда уже есть на-лицо различие сословий, когда очень большими становятся богатство и бедность, и когда появляется такое положение, что большинство уже не в состоянии удовлетворять свои потребности привычным для него образом».

Вот какими причинами об'ясняет абсолютный идеалист возникновение государства.

Вообще вся система Гегеля, проникнутая диалектическим методом и оплодотворившая все главные отрасли знания принципом диалектического развития, имела огромное значение для философии истории. Но о влиянии диалектического метода на выработку научного материалистического об'яснения истории речь будет впереди [1]).

(Продолжение следует).

---

[1]) Поправка. В предыдущей лекции вкралась ошибка. Напечатано, что Галлилей находился 30 лет в тюремном заключении. В действительности Галлилей жил в своей вилле, находясь под арестом и под строгим надзором инквизиции, которая вмешивалась в его частную жизнь. Около тридцати лет в тюремном заключении был Кампанелла.

Наше денежное обращение и пути его оздоровления [1]).

В. Смирнов.

I.

Последнее время вопросы денежного обращения, в связи с продолжающимся падением курса рубля, резкими скачками золотой монеты, выпуском банкнот, вновь выдвигаются на первый план. Кроме того, за нами уже более чем полуторагодовой опыт денежного обращения в условиях новой экономической политики, и на основе его полезно подвести некоторые итоги.

Как повлияла новая экономическая политика на наш бумажный рубль? Приведем несколько цифр. За 1918 год покупательная сила нашего рубля упала в 7,6 раза, за 1919—в 16 раз, за 1920—в 7,8 раза, за 1921—в 15,5 и в 1922—в 74 раза. В области денежного обращения Нэп начал с парадокса: оживающие деньги за год его господства дали такое падение, в сравнении с которым падение их за годы отмирания денег—годы «военного коммунизма»—кажется детской игрушкой. И невольно является вопрос, не наносит ли Нэп смертельного удара—не денежному обращению, конечно,—а нашему советскому рублю, не идем ли мы к его «нулификации»?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сопоставить приведенный выше темп падения рубля с темпом нашей эмиссии. Цифры следующие: за 1918 год мы увеличили количество находящихся в обращении бумажных денег в 2,2 раза, за 1919—3,7, за 1920—в 5,2 раза, за 1921—в 15 раз (отметим при этом, что за первую половину—до развертывания Нэп'а—увеличение определяется всего в 2 раза, а во вторую—в 7,5 раз) и, наконец, в 1922 г.—в 120 раз. Причина падения рубля нам станет тогда ясна. Она заключается не в том, что советский рубль отжил свой век, что он вытесняется другими средствами обращения, а в том исключительном усилении темпа выпуска бумажных знаков, в 8—60 раз превышающего темп эмиссии каждого из предыдущих годов.

Более того: сравнение приведенных двух рядов цифр показывает, что несмотря на колоссальное падение, рубль, в сущности, стал крепче, устойчивее: в годы военного коммунизма падение рубля шло быстрее роста массы денежных знаков, в 1921 переходный год то и другое приблизительно одина-

---

[1]) В дискуссионном порядке

ково, а в 1922 году падение рубля уже значительно отстает от темпа эмиссии. Это лучший ответ тем, кто на основании поверхностного наблюдения явлений склонен утверждать, что выгоды эмиссии совершенно иллюзорны, что всякое увеличение бумажно-денежных знаков дает отбой в виде соответствующего, или даже большего, падения их покупательной способности. Дело здесь гораздо сложнее.

Но прежде чем обратиться к рассмотрению этого последнего вопроса, попробуем разобраться, почему, непосредственно вслед за переходом к Нэп'у, мы должны были прибегнуть к таким колоссальным выпускам бумажных денег.

До начала новой экономической политики мы расходовали в денежной форме совершенно ничтожные суммы (если не считать использования золотого фонда для закупок за границей). Расход денег определялся преимущественно расходами на денежную часть заработной платы, бывшую совершенно незначительной и игравшей второстепенную роль в бюджете рабочего; экстренными расходами на покупку хлеба и фуража, разрешавшимися иногда в порядке исключения; денежными платежами по подрядам, поскольку таковые еще существовали; командировочными деньгами и т. п. Вместе с тем и источником получения денежных средств, при ликвидации денежных налогов, бесплатности транспорта, почты и других государственных услуг, была почти исключительно эмиссия. А она дала нам в переводе на довоенные рубли за 1919 год около 250 миллионов и в 1920—около 125. Таков был размер нашего денежного бюджета в период напряженнейшей гражданской войны, против 3—3½ миллиардного бюджета царской России *в мирное время.*

Само собой разумеется, что действительный бюджет государства ни в какой степени не исчерпывался этой ничтожной суммой *денежных* доходов и расходов. Мы не будем говорить о продразверстке—это всем достаточно известно... Но на-ряду с ней существовала несравненно бóльшая разверстка на продукты промышленности, обращавшаяся на потребности государства вообще и на оборону в частности. Едва ли когда-нибудь удастся более или менее точно подсчитать, сколько дохода получило государство по этой статье. Но стоит вспомнить о том, как брались на учет все запасы промышленных предприятий, деятельность Чусоснабарма, колоссальное истощение старых запасов, оставшихся нам в наследство от капитализма, сокращение работы предприятий за отсутствием топлива и сырья, изношенность оборудования, не подвергавшегося нормальному восстановлению,—чтобы с уверенностью сказать, что размер этой «промразверстки» на много и много превышал «продразверстку», и что без нее мы ни в коем случае не выдержали бы напряжения годов гражданской войны.

С переходом к новой экономической политике эти натуральные расходы превратились в денежные с небывалой быстротой, особенно те, которые производились за счет промышленности в порядке, так называемого. планового распределения. Ликвидация натуральных поступлений от промышленности произошла тем легче, что юридически налог с промышленности, в

противоположность продразверстке, нигде и никогда зафиксирован не был. Плановое распределение—да, оно было установлено твердо, но мы по меньшей мере смутно представляли себе, что оно является скрытой формой налога, а потому и ликвидация этого налога произошла незаметно, путем все большего сокращения сферы планового распределения, необходимость чего вытекала из существа новой хозяйственной структуры.

Но это только юридический момент. Экономически же промышленность, работающая не для удовлетворения своей продукцией своих собственных потребностей, а для передвижения последней в другие сферы народного хозяйства, нуждалась в гораздо большем развязывании себе рук, чем в значительной степени натуральное еще крестьянское хозяйство. Разрешение товарообмена, хотя бы и «в местном масштабе», сразу резко повысило значение *денежной части заработной платы*, которую государство уже не в состоянии было покрыть в прежнем порядке—путем бюджетных назначений за счет эмиссии. Пришлось сразу же пойти по пути процентных отчислений продукции предприятий, для самостоятельной реализации ее на вольном рынке и обращения вырученных сумм на заработную плату, а отчасти и на закупку необходимого сырья и материалов у крестьянства и кустарей. Продукты промышленности вышли на рынок, и последний стал быстро развиваться, *сначала преимущественно как розничный, так как предприятия на* первых порах просто выдавали продукцию на руки рабочим для реализации их силами—непосредственно или через кооперацию. Раз начавшийся процесс перехода промышленности на денежное хозяйство стал дальше развиваться стихийно. Если первые «тресты»—Северолес и Льнотрест, возникшие осенью 1921 года, как об'единения, целиком реализующие свою продукцию на рынке и снабжающиеся исключительно из того же источника, были образованы в порядке декрета С. Н. К., прочие тресты образовывались уже в порядке управления, приказами В. С. Н. Х., очень быстро один вслед за другим. Последним крупным событием, прошедшим в порядке отдельных законодательных актов, был перевод на хозяйственный расчет Гута весной 1922 года с установлением платного отпуска топлива всем, в том числе и государственным, потребителям. Чрезвычайно характерно, что после этого перевод на хозяйственный расчет всех остальных (за немногими исключениями) промышленных предприятий произошел под давлением финансовых затруднений в порядке «снятия предприятий с государственного бюджета» при составлении ориентировочного бюджета на 1922 год.

В задачи настоящей статьи не входит оценка описанного выше процесса. Нам важен конечный результат. Происшедший частью под влиянием общих хозяйственных условий, частью под прямым давлением финансовых затруднений переход промышленности на хозяйственный расчет, фактически ликвидировавший «промразверстку», образовал в нашем государственном бюджете при перевоплощении его из натуральной формы в денежную огромную дыру, только отчасти штопавшуюся искусственно низкими ценами, которые государство платило своим предприятиям (это обстоятельство, заметим в скобках, означает, что наш бюджет отнюдь еще не исчер-

пывается теми расходами, которые в нем зафиксированы, и в дальнейшем должен будет увеличиться на всю сумму этого скрытого расхода). Если при переходе к денежному бюджету в расходной части его только выяснились незаметные раньше расходы, то в доходной части его произошла действительная утеря. Денежные налоги, которые должны были наиболее эту потерю восполнить, не могли достаточно быстро произвести соответствующего эффекта. Развитие их наталкивалось на целый ряд препятствий, которые можно охарактеризовать в общем, как недостаточное развитие денежных отношений: отсутствие денег у крестьянства, неустойчивость и спекулятивный характер торговли, неясная и неопределенная кон'юнктура промышленности, неопределенность доходов различных групп населения—все это не давало удобных об'ектов обложения, а следовательно, и возможностей быстрого развития налоговой системы, особенно, если принять во внимание те затруднения, которые создает для последней падающая валюта. При этих условиях понятно, что доход от эмиссии, игравший в донэповские годы совершенно второстепенную роль в доходах государства, достигая даже за 1921 год—переходный—всего 138 миллионов довоенных рублей в год, занимает теперь после продналога второе место и за 1922 год достигает почтенной цифры в 380 миллионов довоенных рублей.

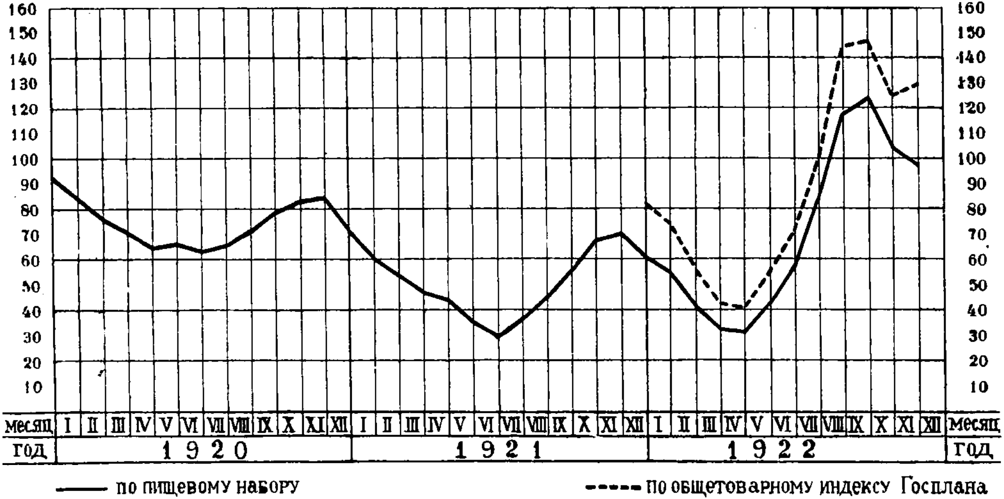
II.

Чтобы уяснить себе роль бумажных денег в нашем хозяйстве и неоднократно отмеченную уже неравномерность колебаний их покупательной способности (смену периодов резкого их падения периодами относительной стабилизации), попробуем определить стоимость всей массы бумажных денег в разные моменты. Для этого общую номинальную ценность бумажных денежных знаков на первое число каждого месяца разделим на коэффициент среднего вздорожания товаров на то же число. Результаты по месяцам за период 1920—1922 г.г. даны на прилагаемой диаграмме. Ввиду отсутствия полных данных о ценах товаров за этот период, за средний коэффициент вздорожания товаров взято вздорожание розничных цен по 16 продуктам, входящим в бюджет рабочего, данные о которых имеются в Центр. Бюро Статистики Труда. За 1922 год для сравнения приведена кривая, составленная тем же способом по общетоварному индексу цен Госплана, получаемому на основании данных об оптовых ценах как предметов широкого потребления, так и сырья и полупродуктов.

С первого взгляда на диаграмму бросается в глаза, что действительная, выраженная в твердых единицах измерения, ценность всех находящихся в обращении денег, подвергается в течение года резким колебаниям, при чем общий характер последних примерно одинаков за все три года. За 1920 и 1921 г.г. аналогия уж совершенно полная. Ценность всей массы бумажных денег достигает минимума к первому июля, затем поднимается, доходит до максимума в декабре, после чего вновь начинается падение. В 1922 году и

ДВИЖЕНИЕ

общей стоимости всей находящейся в обращении массы бумажных денег.



момент минимума и момент максимума наступают на два месяца раньше: в мае—вместо июля и в октябре—вместо декабря. Далее идет опять падение, правда, менее уверенное, чем в предыдущие годы, особенно, если принять во внимание кривую, составленную по общетоварному индексу Госплана, дающую после падения в течение октября новое повышение в ноябре, которое, повидимому, сохранится и для декабря. Размеры колебаний за каждые из трех годов весьма значительны: в 1920 году стоимость массы бумажных денег падает с 92 миллионов довоенных рублей в январе до 62—к первому июля, возрастает до 83 к первому декабря, вновь падает до 29 к июлю 1921 года, опять поднимается к декабрю до 71, к маю 1922 года падает почти до цифры минимума предыдущего года—до 31 миллиона, после чего резко идет вверх, доходя к октябрю до небывалой за все три года цифры в 147 миллионов рублей. Размах колебаний, отметим, между прочим, становится все резче и резче.

Не представляет труда определить основную причину указанных колебаний: она явно заключается в расширении товарооборота в осенние месяцы в связи с реализацией урожая и последующем его сжатии. Это подтверждается и движением цен на предметы крестьянского потребления (напр., текстильных фабрикатов), которые быстро обгоняют цены на все прочие *продукты в осенние месяцы и так же быстро отстают от них в весенние и* летние. То обстоятельство, что в 1922 году развитие товарооборота начинается с мая, а не с июля, об'ясняется своеобразным совпадением голода 1921 года с хорошими видами на урожай, выяснившимися уже к маю 1922 г.: накопившиеся в ожидании высоких хлебных цен в 1922 году запасы были сразу выброшены на рынок, как только эти ожидания не оправдались: началась реализация авансом будущего урожая. Что касается признаков сжатия товарооборота с октября, то, как указывалось выше, оно не носит особенно решительного характера, в ноябре и декабре вновь имеются признаки его расширения, и оно об'ясняется, повидимому, некоторыми специфическими причинами, определить которые в данный момент еще трудно.

Однако этим отнюдь не исчерпываются причины указанных колебаний. Предположение о сокращении и расширении товарооборота в течение года в 2½—5 раз было бы слишком рискованным. Нам придется поэтому обратиться к вопросу о том, всегда ли бумажные деньги имеют одно и то же значение для обслуживания товарооборота или роль их в нем подвергается видоизменениям.

Как известно, деньги в процессе товарооборота выполняют несколько функций: 1) мерила ценности, 2) средства обращения, 3) средства платежа, 4) средства хранения и накопления ценности, 5) мировых денег. *Последней* роли наши советские деньги, не имевшие и до сих пор не имеющие даже котировки за границей, никогда и ни в какой степени не выполняют. Так же мало выполняли они роль мерила ценности. Единица, сохраняющая некоторую устойчивость в течение 3—4 месяцев в году, вообще не может претендовать на роль измерителя. Но вместе с тем эта наиболее отвлеченная функция денег, имеющая значение преимущественно для счетоводства, имеет

наименьшее отношение (непосредственно по крайней мере) к потребности товарооборота в деньгах [1]).

С этой последней точки зрения имеют значение почти исключительно функции денег, как средства обращения, хранения и платежа. Но совершенно ясно, что для выполнения этих функций наши бумажные деньги в различные моменты пригодны не в одинаковой степени.

Для выполнения функций хранения падающие деньги вообще мало пригодны. Период с января по апрель прошлого года, когда деньги падали в течение месяца вдвое, а иногда и больше, наиболее характерен для иллюстрации этого положения. Все, кому попадались в руки деньги, стремились избавиться от них как можно быстрее. Шла бешеная спекуляция на всякий товар, который сулил в будущем хоть какую-нибудь устойчивость по отношению к остальным. Покупали все, что попало—целый ряд товаров играл роль валюты. Бумажные деньги, как средство хранения, потерпели полный крах.

Однако такой полный крах обусловливался только тем катастрофическим темпом падения денег, который имел место тогда, и при котором падение их ценности чувствовалось буквально со дня на день. При более медленном темпе падения бумажные деньги все же частично функции средства хранения за собой удерживают, удерживают тем в большей степени, чем медленнее этот темп. Деньги, подлежащие хранению на короткие периоды, становится уже невыгодным страховать, быстрота их оборота задерживается, а следовательно, и количество денег, необходимое при одной и той же величине товарооборота, увеличивается. Этим периодическим то ослаблением, то усилением роли бумажных денег, как средства хранения, и об'ясняется резкость колебаний ценности всей бумажно-денежной массы.

В самом деле, как указывалось раньше, потребность государства в деньгах покрывается преимущественно за счет эмиссии. Если мы возьмем общую сумму денежных поступлений по налогам, почте и телеграфу, железным дорогам и эмиссии (прочие статьи доходов играют совершенно незначительную роль), то поступления от эмиссии по отношению к этой сумме составляли за 1922 год:

Январь	93,5%
Февраль	86,2%
Март	81,9%
Апрель	74,5%

[1]) Весьма интересно кстати отметить, какой кавардак производит отсутствие твердой единицы, овеществленной в денежном знаке, в головах бухгалтеров: один из них на одном из совещаний выставил положение, что если я имею в начале года тысячу пудов муки, а в конце ту же тысячу пудов муки и сверх того сто рублей, то эти сто рублей при всех условиях являются моей прибылью. Потеря твердого денежного знака, в полном согласии с вульгарным буржуазным представлением, что ценность есть деньги, приводит здесь к полному отказу от ценностного учета и к переходу чуть что не на физиократическую точку зрения.

Май	69,0%
Июнь	65,4%
Июль	65,4%
Август	68,3%
Сентябрь	61,6%

Если к этому прибавить, что доходы от железных дорог и почты и телеграфа целиком фактически закреплены за этими ведомствами, а из налоговых поступлений подавляющая часть их расходуется из местных касс Н. К. Ф., то станет ясным, что источником средств для пополнения центральной кассы Н. К. Ф. является почти целиком эмиссия, которая и составляет таким образом тот фонд, которым государство может свободно маневрировать. При таких условиях государство в своей эмиссионной политике может лишь в очень слабой степени сообразоваться с потребностями в деньгах общего товарооборота,—размер эмиссии диктуется необходимостью покрытия бюджетного дефицита. Непрерывный поток эмиссии, создающий тенденцию к падению ценности рубля, то совпадает с такой же тенденцией, создаваемой сужением товарооборота, и тогда падение рубля идет с удвоенной силой, то с противоположной—при расширении товарооборота,—и тогда ценность рубля замедляется в своем падении, стабилизируется или даже на короткое время несколько повышается, как это было в период с половины июля до половины сентября 1921 года. Вместе с тем, как только рубль начинает сильно падать, деньги, находящиеся в покое, как средство хранения, начинают выбрасываться на рынок, замещаясь рядом других товаров, начинающих играть роль валюты, и отчасти золотой монетой, что в свою очередь дает новое падение. В период стабилизации создается обратное явление. Замедленный темп падения создает добавочный спрос на деньги, как средство хранения, тем самым усиливает тенденцию стабилизации, а вслед за этим и роль денег, как средства хранения. Расширение и сужение этой последней функции всегда таким образом усиливает ту тенденцию курса рубля, которая в данный момент существует, и в этом-то обстоятельстве заключается об'яснение как необычайного размаха колебаний стоимости общей массы бумажных денег, так и того, что из года в год этот размах становится все больше: с восстановлением денежной системы потребность держать запасы ценностей в денежной форме, вообще говоря, все усиливается, и как только советский рубль становится сколько-нибудь для этой цели пригодным, он очень быстро вытесняет из этой области остальные товары. Но зато с такой быстротой он выскакивает из нее, как только начинает падать.

III.

Пресловутый закон Грэшэм'а утверждает, что худшие деньги вытесняют лучшие. Эта чрезвычайно грубая формулировка, конечно, не верна. Дело в том, что «худшие» деньги обычно обладают, в противоположность «лучшим», в ясной или скрытой форме определенной юридической санкцией,

являются законным платежным средством. Только благодаря этому обстоятельству, им удается отвоевать у лучших денег определенную сферу, за пределами которой лучшие деньги сохраняют все свои преимущества. Не было еще случая, чтобы худшие деньги вытеснили золото из мирового оборота. Как показано в предыдущем на примере денежного обращения в России, в качестве средства хранения твердая валюта, даже будучи нелегальной, лишь с трудом уступает легальной плохой валюте эту свою функцию. Как платежное средство при сделках на срок, худшая валюта должна, по крайней мере, ориентироваться на лучшую—расплата производится по курсу твердой валюты. Наконец, история знает случай, когда лучшая валюта вытеснила худшую даже в сфере обращения—крах территориальных мандатов во время великой французской революции и вытеснение их золотом. Не верна поэтому и та изредка высказываемая мысль, что для наших бумажных денег конкуренция золота, как лучшей валюты, осужденной на вытеснение, не является страшной. На этого конкурента стоит обратить внимание.

На прилагаемой диаграмме дается сравнительное движение среднего вздорожания товаров и золотой монеты за 1920, 1921 и 1922 годы. Движение обеих кривых сильно отличается друг от друга.

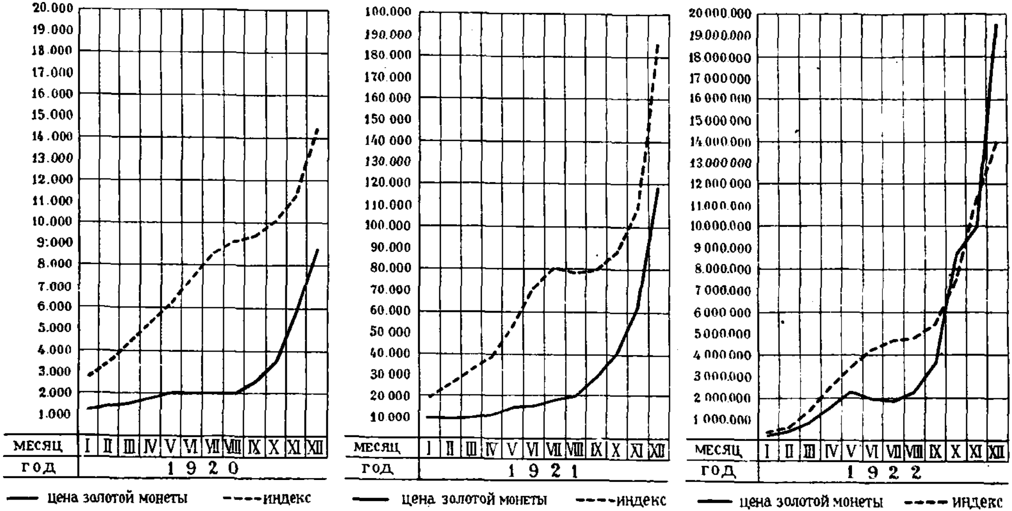
В первую половину каждого года цены на золотую монету значительно отстают от цен товаров, вновь приближаясь к ним, и даже обгоняя их (как в 1922 году) в конце года. Цены на золотую монету составляли в отношении цены товарного набора:

	1920	1921	1922
15 января	47%	50%	65%
15 февраля	36%	36%	62%
15 марта	35%	28%	59%
15 апреля	34%	31%	66%
15 мая	32%	27%	64%
15 июня	28%	20%	48%
15 июля	23%	21%	43%
15 августа	22%	26%	45%
15 сентября	28%	37%	68%
15 октября	34%	46%	117%
15 ноября	51%	54%	91%
15 декабря	57%	65%	139%

Что касается колебаний покупательной силы золотой монеты в течение года, то в общем золото начинает обгонять товары несколько позже того момента, когда начинается расширение товарооборота, особенно усиливаясь к концу периода его расширения, и затем вновь начинает отставать. Этот процесс связан с двумя явлениями:

Во-первых, как я говорил выше, начинаются покупки золота с целью страхования себя от обесценения бумажек. Но эта операция страхования текущих получек и случайных сбережений со стороны широких масс населения по отношению к золоту имеет небольшое значение. Здесь предпочтение отдается не золоту, а запасам предметов потребления. Гораздо боль-

Диаграмма движения товарного индекса и цены золотой монеты в знаках 1921 г.



значение имеют явления, связанные с своеобразным движением в тече-
года денежного капитала.

Расширение товарооборота означает в то же время и известный рас-
промышленности. Наиболее характерную картину дает в этом отноше-
текстильная промышленность.

В течение января—апреля 1922 г. вздорожание на текстиль колеблется
около 60% общего вздорожания, к маю падает до 45, затем начинает
юнно расти, выравниваясь с общим вздорожанием к концу августа, а
и, обгоняя го, достигает 200% общего вздорожания к концу декабря.
стоящее время уже чувствуется определенная заминка, из которой тек-
ьная промышленность пока выходит путем перехода на более отдален-
рынки. Аналогичную картину в менее резкой форме мы имеем и по дру-
отраслям промышленности как в этом году, так и в прошлом. То же
сходит и в сфере торговли. Естественно, что к концу осеннего периода
ления, когда обороты уже начинают сокращаться, и в промышленно-
и в торговле начинают высвобождаться средства, которые требуют бо-
олидного помещения на сравнительно продолжительное время. Имеются
шенно определенные указания, что последнее повышение цен на золото
но с большими закупками его трестами прямо или через посредников
чет средств, освобождающихся за сокращением операций. Когда же во
я последующей депрессии и промышленники и торговцы должны покры-
свои убытки, накопленное золото вновь выбрасывается на рынок, сби-
на него цену. Золото становится средством сбережения относительно
ных накоплений.

Особенно интересно с этой точки зрения значительное повышение цен
олото в 1922 г. сравнительно с 1920 и 1921 г.г. В 1921 году, после страш-
неурожая, цены на хлеб даже осенью сулили исключительно сильное по-
ение. К этому присоединялись еще и навыки периода военного комму-
а, когда снабжение хлебом было вопросом, всегда стоявшим на первом
е. Все усиленно запасались хлебом, помещая в него все свободные сред-
В 1922 году мы имеем обратную картину. С начала сентября вздоро-
е хлеба уже не превышает вздорожания всех остальных товаров и не-
нно, хотя и медленно, идет вниз, давая к концу декабря всего 80%
его вздорожания. Серьезнейший конкурент золота в сфере страховки
бесценения бумажного рубля был этим устранен, результатом чего и
алось, что вздорожание золота впервые за все время революции превы-
вздорожание товаров и превысило очень значительно.

Однако в последнее время золото все более приобретает и функции
ла ценности: целый ряд сделок начинает заключаться по курсу на зо-
. На этом явлении следует остановиться более подробно.

Является ли золото в настоящее время, при тех огромных колебаниях
покупательной силы, которые мы отметили выше, пригодным мерилом
ости? Конечно, золото никогда не являлось абсолютно устойчивой еди-
й. Не говоря уже об изменении его ценности, происходившей в резуль-

тате изменений с течением времени условий его добычи, в течение цикла промышленного оживления, кризиса и застоя оно и независимо от этого испытывало значительные колебания, связанные с колебаниями в разные моменты этого цикла спроса на золото, но одно дело колебания в течение 7—10 лет, и другое—в течение года, как у нас. Золото, которое впредь до введения золотого обращения, неизбежно будет спекулятивным товаром, сделавшись мерилом ценности, еще больше внесет дух ажиотажа и спекуляции в торговые и промышленные операции.

С другой стороны, широкое развитие сделок по курсу на золото предполагает, что этот курс действительно является курсом, т.-е. основан на достаточно большом количестве сделок с золотом. Предпосылкой превращения золота в мерило ценности является легализация обращения золотой монеты. Но такая легализация, при резких колебаниях ценности нашего бумажного рубля, которые могут быть изжиты лишь тогда, когда наша эмиссия перестанет быть источником покрытия бюджетного дефицита,—является чрезвычайно рискованной. Сделки с золотом и превращение золота в платежное средство по всяким сделкам слишком связаны между собой, и в результате легализации первой операции золото начнет внедряться в обращение и преждевременно вырвет или резко ослабит то средство извлечения доходов, которое мы имеем в руках в виде эмиссии, и заменить которое другими источниками не так-то легко, и может быть сделано не так-то скоро. А что эта опасность является достаточно реальной, показывает как опыт весны 1922 года, когда, при резком падении рубля, расплата золотом начала было развиваться, так и опыт последних месяцев, когда то же явление опять начинает повторяться.

В связи с вопросом о золоте надлежало бы рассмотреть и вопрос о нашей банкноте. Но опыт ее функционирования еще настолько непродолжителен, что делать на основании его какие-либо выводы пока преждевременно. Отметим только, что курс банкноты следует пока не за действительным курсом золота, а за курсом котировальной комиссии, отличающимся от первого весьма значительно.

IV.

Попробуем сделать некоторые выводы. Опыт этого года еще раз подтвердил, что стремиться к стабилизации рубля без ликвидации бюджетного дефицита значит рассчитывать на чудо, и что если в определенный период рубль и стабилизируется, то это явление временное, за которое впоследствии мы расплачиваемся тем более быстрым падением. С другой стороны, тот путь наименьшего сопротивления, по которому мы шли до сих пор для ликвидации бюджетного дефицита—путь механического сокращения расходов—должен быть брошен. Промышленность уже не в состоянии выдерживать тех искусственно низких цен, которые устанавливаются для государственных заказов или прямо, или косвенно—путем установления цен в бумажных деньгах на продолжительный срок. Для угольной и нефтяной промыш-

ленности от этого уже пришлось отказаться: мы перешли уже на расплату по скользящей скале—в зависимости от падения покупательной силы рубля. При заказах Н. К. П. С.'а на паровозы и рельсы мы стали на тот же путь. Недалеко то время, когда такой же способ придется установить и для всей металлической промышленности. В отношении остальных отраслей промышленности, где плановых поставок и твердых цен вообще нет, а плата в той или иной степени по курсу уже существующий факт, мы находимся накануне того момента, когда государство должно будет расплачиваться со всеми своими контрагентами по полной цене.

Помимо искусственного повышения цен сокращать расходы уже не на чем,—наоборот, приходится думать об их расширении. *При этих условиях ликвидация бюджетного дефицита должна итти не по линии сокращения расходов, а по линии увеличения доходов.*

Одним из главных препятствий на этом пути является падающая валюта, чрезвычайно тяжело отражающаяся на всех фиксированных доходах, в том числе и налогах. При существующей у нас системе определения ставок налогов в бумажных рублях, наша налоговая политика носит характер судорожной и безуспешной погони за падающим курсом рубля. Вот несколько примеров.

Наиболее крупные поступления по косвенным налогам дают акцизы на нефтяные продукты, соль и сахар. И вот каковы оказываются по месяцам ставки акцизов на эти продукты, выраженные в довоенных рублях [1]) за 1922 г. с пуда.

	Растительное масло.	Соль.	Сахар.
Январь	—	—	—
Февраль	—	—	—
Март	23,2 к.	23,2 к.	—
Апрель	33,2 „	21,5 „	—
Май	19,4 „	12,9 „	3 р. 23 к.
Июнь	25,6	10,3 „	2 „ 56 „
Июль	21,9 „	8,7 „	2 „ 19 „
Август	21,1 „	8,4 „	2 „ 11 „
Сентябрь	20,6 „	8,25 „	2 „ 07 „
Октябрь	16,0 „	6,4 „	1 „ 60 „
Ноябрь	25,0 „	10,3 „	2 „ 59 „
Декабрь	20,3 „	16,2 „	2 „ 03 „

Ту же картину мы получаем по жел.-дор. тарифам, оплате почтовых и телеграфных услуг и т. д. Любопытно, что понижение реальных ставок в течение июля—октября было следствием сохранения установленных бумажных ставок, которое мотивировалось соображениями о поддержании авторитета бумажного рубля, о поддержке в населении уверенности в прочности его стабилизации. Слабость развития наших денежных поступлений в наиболее благоприятные для них месяцы была платой за стабилизационные иллюзии. На самом деле это, конечно, имело как раз обратный результат. На

[1]) Отмечу для любителей золотого рубля, что при исчислении в золоте картина получается еще худшая.

психологии стабилизации не сделаешь, реально же мы потеряли те доходы, которые на самом деле дали бы нам возможность сократить эмиссию.

Нужно твердо встать на путь систематического изменения ставок для всех доходных поступлений в соответствии с падением курса рубля. Иначе получается заколдованный круг: падение рубля, происходящее в результате эмиссии, автоматически сокращает реальный размер денежных поступлений государства, а сокращение этих поступлений заставляет форсировать эмиссию. Разорвать этот порочный круг необходимо, несмотря на некоторые технические затруднения, не имеющие решающего значения.

Но государство за счет обычных доходных поступлений покрывать всех своих расходов не может. Затраты капитального характера (а их нам предстоит не мало и на нашем бюджетном дефиците они отражаются весьма тяжело) могут быть покрыты лишь при развитии государственного кредита, основанного, естественно, на развитии кредитных операций вообще. Для последних же падающая валюта, не имеющая коррективов, является смертельным ударом. Прошлогодние попытки Госбанка вести кредит в бумажной валюте, страхуя себя от убытков по этому кредитованию за счет некоторых специальных операций, потерпели неудачу. Банк вынужден был, в конце концов, страховаться участием в прибылях своих клиентов, что было чрезвычайно тяжело для последних, с одной стороны, а с другой—при неопределенности этих прибылей возлагало на банк чересчур большой риск. Операции по долгосрочному кредиту оказывались при этом совершенно невозможными. Система золотых текущих счетов является первым проявлением новой политики в этом направлении, и должна в ближайшем будущем получить свое дальнейшее развитие.

Нужно совершенно ясно дать себе, наконец, отчет, что *вопрос оздоровления нашего денежного обращения есть вопрос ликвидации нашего бюджетного дефицита и ничего больше.* Всякие попытки добиться оздоровления путем механического сокращения эмиссии и других мер искусственной поддержки курса рубля, сулящих с первого взгляда быстрое исцеление, ничего кроме горьких разочарований, не дали и не дадут. Стабилизация рубля не есть вопрос одного—двух лет, и с этим обстоятельством надо с самого начала считаться.

Если это так, если наш рубль еще сравнительно долго будет падающей валютой, то надо точно уяснить себе, для чего он при таких условиях пригоден и для чего не годится. Как средство обращения и средство платежа внутри страны, мы его сохранить можем и сохранить должны. Никакая легализация его конкурентов вроде золотой монеты и иностранной валюты недопустима. Зато, как измеритель ценности, как счетная единица, он безусловно непригоден, и пытаться сохранить за ним эту роль бесполезно. Установление твердой счетной единицы с этой точки зрения является очередной задачей.

Современный Берлин.

(Мимолетные впечатления).

С. Членов.

Теперь стало модой говорить о «душе города». Если раньше таковую полагалось иметь, по преимуществу, итальянским городам (Вернон Ли), то теперь мы имеем уже книгу о «Душе Петербурге» (Анцыферов).

На эту тему можно найти блестящие страницы в недавно вышедшем II томе «Гибели Запада» Шпенглера.

Так как русские читатели еще не скоро увидят перевод этой книги, мы позволим себе несколько цитат. Нужны они нам, во-первых, потому, что подводят некоторую видимость научного фундамента под наш совсем ненаучный очерк, а во-вторых, потому, что сама книга Шпенглера и ее шумный успех—очень характерная черта в лике современной Германии. Это, выражаясь немножко заезженным термином, не просто книга, а «знамение времени».

«Мировая история, это—история городского человека»—такова одна из любимых идей Шпенглера.

«Истинное чудо—есть рождение души города. Как массовая душа совсем особого рода, последние причины зарождения которой для нас навеки останутся тайной, она внезапно выделяется из общей души данной культуры. Когда она пробуждается, она образует собой видимое тело. Из деревенского скопления отдельных дворов, из которых каждый имеет свою историю, возникает целое. И это целое живет, дышит, растет, получает облик, внутреннюю форму и историю.

Само собой разумеется, что не размеры, а именно наличие души отличает город от деревни».

«Всякая политическая, как и всякая экономическая история может быть понята лишь тогда, когда мы увидим в городе то образование, которое, отделяясь все больше и больше от деревни и, в конце концов, лишая ее всякого значения, определяет ход и смысл истории высшего типа. Мировая история, это—история города». Такова общая мысль Шпенглера, в которой, в конце концов, не много нового. Дальше, однако, Шпенглер развивает другую мысль, в свете которой современный город приобретает смысл социального символа совсем особого значения.

Первая идея Шпенглера состоит в том, что деревня—это физиология, а мужик, корнями ушедший в землю, подобно растению, не имеет истории, в то время, как город это—воплощение духа, он психологичен и историчен.

Вторая идея, и она куда более интересна, формулируется Шпенглером так: «Город означает не только дух, но и деньги».

Вырастает большой город, который столь же отличен от маленьких городов, как те от деревни. Дух этого большого города, это—деньги. У Шпенглера есть и своя «философия денег», основные мотивы которой сближают его с Зиммелем (хотя, конечно, в этом пункте Шпенглер значительно менее интересен. чем Зиммель) и с номиналистическими теориями Лифмана и Карла Эльстера.

На этой философии денег мы сейчас останавливаться не будем. Для нас важно сочетание понятий «город» и «деньги» в построении Шпенглера.

Только в стенах больших городов деньги получают свой завершенно-абстрактный характер. «Деньги больше не служат для сравнения товаров между собой; они оценивают все товары по отношению к себе». Деньги наполняют сознание и определяют помыслы людей города подобно тому, как земля властвует над психикой крестьянина. «Существует «мышление в деньгах», как существует математическое и юридическое мышление».

Город и деньги развиваются параллельно, и их господство является самым ярким признаком перехода нации от культуры к цивилизации. (Мы, к сожалению, не можем здесь останавливаться на этих центральных понятиях философии истории Шпенглера. Об этом много писалось, в частности на страницах «Красной Нови» в прошлом году.)

Точнее, символом и в то же время роком цивилизации является не всякий город, а только город мировой, в своей грандиозной механичности противоположный старым, органически выросшим городам.

Шпенглер находит яркие краски для того, чтобы нарисовать силуэт мирового, или, как он говорит, «абсолютного» города. «Кто с высоты башни взглянет на это море домов, тот безошибочно узнает в этой окаменевшей истории эпоху, когда кончается органический рост и начинается анорганическое, а потому безграничное, выходящее за пределы всех горизонтов, скопление».

Эти каменные громады, в стенах которых царствует абстрактное божество—«деньги», как гигантские вампиры, высасывают кровь всей страны.

«Ни несчастия, ни принуждение, ни даже ясное сознание всего безумия такого развития не может уменьшить притягательной силы этих демонических образований. Колесо судьбы катится по направлению к концу; рождение города влечет за собой его смерть... Некогда крестьянство родило городской рынок, маленький город, и питало его своей лучшей кровью. Теперь город-гигант высасывает страну, ненасытно требуя и поглощая все новые потоки людей, пока среди еле обитаемой пустыни город-гигант не начинает хиреть и умирать. Кто однажды подпал под обаяние греховной красоты этого последнего чуда истории, тот никогда не освободится».

Человек города утерял связь с землей. Он насквозь интеллектуален, космополитичен, лишен расы. Город живет чисто интеллектуальным напряжением, он отдыхает от этого напряжения тоже особым, только ему свойственным образом: он развлекается или, точнее, «рассеивается» (Zerstreung).

Не можем отказать себе в удовольствии процитировать еще несколько строк, в которых Шпенглер характеризует манеру развлекаться, свойственную мировому городу. Ибо не только по тому, как люди работают, но и по тому, как они отдыхают, можно судить о данной эпохе.

«Смена интенсивнейшей практической мыслительной работы ее противоположностью,—сознательным дурачеством, смена духовного напряжения физическим в виде спорта, смена физического напряжения чувственным в виде «удовольствий» и духовным «возбуждением» в игре и пари, замена чистой логики повседневной работы сознательно воспринимаемой мистикой,— все это повторяется во всех мировых городах при всех цивилизациях. Кино, экспрессионизм, теософия, матчи бокса, танцы негров, поккер, скачки,— все это видел уже Рим»...

После этого маленького литературного экскурса позвольте обратиться к одному из мировых городов современности—Берлину. На его физиономии, искаженной страданием, с необычной резкостью выступают некоторые черты, позволяющие даже поверхностному наблюдателю прочитать многое в книге мировой истории, что еще не написано, а, может быть, никогда не будет написано в книгах, вышедших из типографий.

История сначала делается, а потом пишется. События творятся и переживаются одним поколением, а их историки принадлежат к другому. Конечно, одно дело—об'ективный смысл исторических событий, другое—их отражение в психике переживающих события людей. Первый, обычно, уясняется только post factum, ибо «сова Минервы начинает летать только ночью». Второе, в сущности, никогда, или почти никогда, не удастся воспроизвести в сознании и психике будущих поколений, в особенности, если дело идет об эпохе исторической катастрофы, которую стараются описать и понять люди последующих «органических» эпох.

Можно с «естественно-научной точностью определить материальный переворот в экономических условиях производства», который лежал в основе Великой французской революции. Но понять до конца, почувствовать вполне адекватно переживания людей, которые были, по выражению Лабриола,— «авторами и актерами, суб'ектами и об'ектами» этой революции, последующим поколениям никогда не удастся.

Вот почему, нам кажется, с таким захватывающим интересом читается книга живой истории, написанная на каменных страницах больших городов.

В лабиринте их улиц, по которым днем и ночью несутся потоки людей—пешком и в автомобилях, на трамваях и в экипажах, — бьется пульс мировой истории,—такой, как она переживается.

Берлин, несомненно, по терминологии Шпенглера, самый «анорганический» город в Европе. Начиная с беспощадного проведения принципа шахматной доски в его внешней физиономии и кончая беспощадной механич-

ностью в его манере работать и жутким автоматизмом в его манере развлекаться.

Когда Германия была en vogue, когда в Париже и в Лондоне со страхом и завистью взирали на расцвет германского капитализма и триумфы германского империализма, это все можно было прочитать на физиономии Берлина. С одной стороны, на ней отражалось тяжелое напряжение каторжного труда. Берлин был сердцем страны, которая упорно выбивалась на первое место в ряду мировых держав. С раннего утра до позднего вечера миллионы наемных рабов, от рабочих до стенографисток, от банковских клерков до инженеров, с тяжким напряжением и мрачной настойчивостью работали над громадной постройкой германской империи. Немец всегда работал совершенно иначе, чем, например, англичанин. Эта разница проходила по всей линии: от рабочего до директора. Еще до войны труд в Германии был «милитаризован». Дисциплинированный, напряженный, беспощадный, угрюмый.

Немец, это—солдат по природе,—повторялось с гордостью во множестве книжек, выходивших во время войны в Германии. И не только империалист Шпенглер горделиво писал, что в социал-демократии Бебеля было что-то солдатское, но и вольнодумец и эстет, Зомбарт, отдал дань этой моде, восхваляя солдатскую сущность немца в противоположность торгашеской сущности англичанина (см. глупую, а все-таки талантливую книжку Зомбарта—«Торгаши и герои»).

Мы меньше всего верим в «солдатскую природу» немца или хотя бы пруссака «как такового». Но в формах господства германского финансового капитала, начиная с организации промышленности и государства и кончая психикой и господствующего и подчиненного класса, было много, очень много от казармы. И это было написано на челе Берлина. Было на нем написано и другое: тупое безграничное самодовольство и упоение своими триумфами.

Это был до войны город торжествующего империализма. И это торжество было написано на блестящих касках шуцманов и на лоснящихся цилиндрах банкиров, оно сверкало на саблях и штыках «христианско-германской» армии и на золоченных решетках домов еврейской буржуазии Курфюрстендама. Торжествующая военно-капиталистическая цивилизация. Именно цивилизация, а не культура,—вот что было написано на каменном лице довоенного Берлина. И только в Берлине можно было почувствовать глубочайшую разницу между культурой и цивилизацией еще задолго до того, как Шпенглер ее формулировал.

Пришла война. Неизбежная, неотвратимая, роковой этап на пути, по которому катится к гибели колесо капиталистической цивилизации. Берлин был мозгом и сердцем воюющей Германии. И один из лучших ее писателей, Бернгард Келлерман, в своем «9-ом ноября» дал потрясающую картину Берлина во время войны. Жуткий облик великого города, охваченного смертью,—что-то апокалиптическое встает перед нами со страниц романа.

Но война прошла. Наступил длительный период «войны после мира». Выставленная русской революцией на одном из ее этапов формула: «мира

не подписывать, войны не вести»—превратилась в практике западных держав почти в противоположную: «мир подписывать, войну вести».

Вопреки пословице—«худой мир» Версаля оказался немногим лучше «доброй ссоры» великой войны.

Но все же истекающая кровью Европа стала понемногу оживать. Ожила и Германия. Начал оправляться и Берлин. Уже не было блестящих лейтенантов, сняли горделивые каски с шуцманов. Уже не радовали сердца берлинских мещан дефилирующие журавлиным шагом под звуки маршей гвардейские полки. Уже нельзя было зевакам любоваться на смену караулов у дворца и на Бранденбургской гауптвахте, и не замирали женские сердца, ибо не проносились больше по блестящему асфальту ни лихие гусары, ни величественные кирасиры. Над мрачным зданием дворца уже не развевался императорский штандарт, и его коронованный обитатель не мчался по Берлину, радуя сердца верноподданных и мальчишек сложной фиоритурой рожков своего автомобиля. Мало стало цилиндров, потемнела позолота решеток. А главное, не было духа триумфа, упоения победами. На их место пришла горечь поражения, унижение национальной гордости.

«Deutschland ueber Alles»—носилось в воздухе Берлина до войны. «Горе побежденным»—эти слова, как будто написаны теперь на стенах каждого берлинского дома, и с каждым месяцем все ярче выступают очертания этих огненных букв, все глубже врезается в сознание каждого берлинца их поистине ужасный смысл.

Но, по видимости, начиная с 1919 года Берлин оживал. К 1921 году улицы опять были залиты электричеством, фабричные трубы дымились, наемные рабы густыми вереницами спешили в предрассветном тумане к своим станкам и конторкам, с грохотом летели подземные и надземные поезда, неслись тысячи автомобилей, сияли витрины бесчисленных магазинов, заваленные товарами. Берлин работал больше чем всегда, но и «развлекался», судя по бесчисленному количеству ресторанов, шантанов и ликерных,—во всю.

Российские Евдоксии Куксины, всегда испытывающие «a l'étranger» некую сенсацию, уже вопияли восторженно о чудесах западной цивилизации, о возродившейся за три года (конечно, в условиях демократии и собственности) Германии, о Берлине «совсем как до войны».

Конечно, нельзя отрицать, что в восстановлении производства и транспорта германский капитализм снова показал за последние три года свои организаторские способности.

Но, тем не менее, ничего похожего на Берлин «как до войны» нет. Берлин до войны был столицей капиталистической империи на верху блеска и могущества. Сейчас Берлин—жуткий город, над которым распростерты крылья отчаяния, город—умирающей цивилизации.

Только мировая война, которая внесла в ход мировой истории небывалую катастрофичность, которая до невыносимости обострила все противоречия, снова возродила к жизни дух подлинного марксизма. Конечно, теория исторического материализма есть философия истории или, уж если так угодно Н. И. Бухарину, марксистская социология. Но все же учение Маркса-

Энгельса есть философия революций, а не теория исторической эволюции, и их внимание было сосредоточено именно на периодах великих исторических сдвигов и крушений общественных систем, а не на периодах так называемого «нормального» общественного развития.

Поэтому теоретический арсенал, оставленный социалистическому движению Марксом, покрывался в течение десятилетий, предшествовавших войне, пылью и ржавчиной, покоясь «за ненадобностью» в полузабытых подвалах.

Под флагом марксизма вырабатывалась теория эволюции капитализма в социал-демократический рай. Одними тщательно скрывалась, другими чистосердечно игнорировалась подлинная сущность марксизма, как учения о колоссальной исторической катастрофе, как учения о неизбежной гибели капиталистической цивилизации. Капитализм погибнет в расцвете своих производительных сил, в блеске своей технической организации, ибо не выдержит давления своих внутренних противоречий, не сумеет смирить те грозные силы разрушения, которые им самим вызываются к жизни. Вот подлинный марксизм, сущности которого не замазать никакими комментариями, который написан не только в «Коммунистическом манифесте», но и в «Капитале» (и не только в 1-м томе, но и в 3-м, особенно в 15-й главе).

Но при чем же тут Берлин?—вправе спросить нетерпеливый читатель. Пройдите по Берлину, и вы поймете. Вот, где перед вами во всем блеске гибнет капиталистическая цивилизация, несмотря на неустанную работу миллионов, несмотря на то, что фабрики и заводы в полном ходу.

Да, но разве это не следствия войны, разве не политика Антанты душит Германию?— слышим мы сейчас же вопросы. При чем тут капитализм? При чем законы истории и гибель капиталистической цивилизации?

Просто—глупая политика Пуанкаре. Несчастная историческая случайность. Таково, действительно, ходячее об'яснение.

Но, право же, Версальский мир, и хроническое состояние неофициальной войны после мира, и эпидемия безрезультатных конференций, ноты и комиссии, политика Пуанкаре и угрожающие жесты Фоша, зигзаги английской политики и позиция Америки,—все это совсем не случайность. Пуанкаре вовсе не так глуп, как кажется умным обывателям, а если и глуп, то только в том смысле, в каком древние говорили: «кого боги хотят погубить, того они лишают разума».

Право же, в этих словах больше понимания истории, чем в бесплодных launentациях мудрых пискарей пацифизма о «глупости» Пуанкаре или других империалистов. Здесь не глупость, а трагедия, не вина, а беда. И это не лучше, а гораздо хуже для капитализма. Но мы не брались писать трактата о мировой политике, а хотели рассказать кое-что о Берлине. Итак...

Помните, мы цитировали в начале слова Шпенглера, что деньги—это душа мирового города. И именно тогда, когда денежная система потрясена в самых своих основаниях, когда курс денег падает с каждым днем, именно тогда их власть над городом ощущается с невиданной силой, их господство вырождается в нестерпимую тиранию. Маркс учил, что только золото—деньги.

Что бумажные деньги светят лишь его отраженным светом, что «золото покупает своей тенью».

Всей глубины этой теории не поняли не только буржуазные ученые, но и иные марксисты. Как?—при чистой бумажно-денежной системе, когда никакого золота нет, а есть только бумажки,—все-таки золото останется мерилом ценности, единственным светилом капиталистического мира? Это показалось слишком даже Р. Гильфердингу.

Однако именно здесь и была наиболее глубокая правда. Что является сейчас в Берлине мерилом ценности? Что царит над биржей и над товарным рынком, над производством и над судьбой каждого обывателя? Чем полны все помыслы днем и тревожные сновидения ночью? За что можно купить все и едва ли не всех?

— *Доллар.* Доллар—тиран и Молох, царь и бог современного Берлина! Доллар—это золото. Марка—это его тень. Власть денег мы видим сейчас везде. Страшную тиранию доллара, желтый террор которого повис над огромным городом и держит в кошмарном напряжении миллионы его жителей,—вы увидите именно в Берлине.

В Германии все в полном порядке,—говорят глубокомысленные наблюдатели,—вот только с маркой неладно, но ведь это частность. Увы, деньги не частность, а nervus rerum современной цивилизации. Капиталистическая страна с непрерывно-падающей бумажной валютой—поражена в сердце. Если вы спросите, чем интересуется Берлин, — вам нельзя дать другого ответа, кроме как—курсом марки, или курсом доллара,—это все равно, ибо это два выражения одного факта—безмерной власти золота.

Золото недосягаемо, ибо марка падает. Золото всемогуще, ибо все от него зависят. Почему нет человека в Берлине, начиная с 10-летнего мальчика и кончая глубоким стариком, который не знал бы утреннего и вечернего курса доллара? Это спекулятивная горячка? Да, конечно, эта болезнь сейчас свирепствует как никогда. Десятки тысяч берлинцев спекулируют, но миллионы—нет. Рост курса доллара тянет за собой цены, означает падение заработной платы, рост налогов, лишения, холод и голод.

Вот почему миллионы рук каждый день тянутся к биржевому бюллетеню, вот почему каждый знает, что на бирже решается и его судьба. В каком-то кошмаре отчаяния мечется огромный город, днем и ночью над ним стоит золотой призрак всемогущего доллара. Марка опускается то резкими скачками, то медленными ползущими движениями. Иногда немного подымается, будит надежды, и снова падает. Падение марки—это падение заработной платы. Это призрак нищеты в рабочих кварталах, это—соблазн сверхурочных работ, это—угроза последнему реальному завоеванию ноябрьской революции—8-часовому рабочему дню. Но падение марки для рабочих пока не создало еще такой острой трагедии, как для другого большого класса населения Берлина, для «Mittelstand'a»,—для средних слоев. Худшие дни для рабочих еще впереди, для среднего класса они уже наступили.

Вот подлинные носители отчаяния, вот кто создает ту атмосферу безысходного уныния, в которой так трудно дышать в современном Берлине.

В Германии почти нет безработных, ибо падающая валюта формирует ее экспорт, ибо, по вычислениям Вальтера Ратенау, в ней 4½ миллиона «скрытых» безработных, т.-е. людей, делающих работу, которую не нужно было делать до войны. Усиленный спрос на труд, созданный лихорадочным и болезненным «пораженческим» расцветом германской промышленности, сокращенное предложение труда (миллионы не вернулись с полей сражения к станкам), все это позволяет немецким рабочим, до известной степени, приспособлять цифры своей заработной платы к росту цен, хотя Германия все же является страной самой низкой реальной заработной платы. Она хозяйничает по знаменитому принципу Вишнеградского: «не доедим, а вывезем». Конечно, недоедают одни, а вывозят другие. Но ведь благословенное разделение труда воспето еще Адамом Смитом.

Так или иначе, рабочие еще отстаивают с напряжением всех сил свой скудный прожиточный минимум, но фронт среднего класса безнадежно прорван.

Старая Германия гордилась своим Mittelstand'ом, видела в нем оплот государственности и несокрушимый буфер между капиталом и пролетариатом. Средний класс охватывал мелких торговцев, промышленников и рантье, армию чиновников, служащих частного капитала (для Германии характерно, что последние любили себя величать «Privatbeamte», т.-е. «частные чиновники») и, наконец, интеллигенцию.

Трудолюбивый, сравнительно обеспеченный, хорошо вышколенный,— этот класс был надежной опорой капитализма и государства, и на него с гордостью указывали профессора социально-этической школы, как на живое опровержение теории обострения классовых противоречий.

Где теперь все это великолепие? Средний класс умирает у нас на глазах, чудовищная мельница мировой истории перемалывает его между своими жерновами. «Быстро мелют мельницы капитализма»,—восклицал когда-то Вернер Зомбарт.

Но сейчас темп их движения захватывает дух, миллионы погибают между жерновами. Сотни тысяч семейств, живших рентами, пенсиями, доходом от домов, словом, имевших твердый доход, обращены в нищих. Сотни тысяч мелких промышленников и торговцев разорены судорожными колебаниями кон'юнктуры. Служащие и интеллигенция не зарабатывают физиологического прожиточного минимума. Профессор зарабатывает меньше чернорабочего, врач меньше маляра. В классической стране наук, которая кичилась и кичится своей ученостью, своими университетами, академиями и профессорами, ординарный профессор получал, напр., в ноябре 1922 года 12—15 тысяч марок. Это меньше половины прожиточного минимума. Представьте себе такие цены: фунт масла или маргарина 1.200—1.500 марок, ботинки 15—20 тысяч, книга (небольшая)—2.000, и вы будете иметь представление о том, как в Берлине живут или, если хотите, умирают профессора.

Пожалуйства, не забывайте, что Берлин—столица культурной, демократической, свободной Германии, а не варварской, деспотической, захваченной «красными вандалами», России.

Поэтому там профессора не получают пайков и академического обеспечения, не пользуются бесплатными домами отдыха и не смеют даже мечтать о таких варварских изобретениях, как наша комиссия по улучшению быта ученых. Конечно, лавочник ломает шапку перед профессором, особенно. если он «geheimrat» (тайный советник), но он не даст ему в кредит фунта сахара. Конечно, немецкий буржуа после хорошего обеда, созерцая фокстротт и запивая его sekt'ом, будет гордо говорить о заслугах немецкой науки, но это не мешает профессору умирать с голода.

Вернер Зомбарт покинул неблагодарную отчизну (страну «героев») и уехал зарабатывать твердую валюту в... Испанию. А более предприимчивый Эмиль Ледерер прямо подписал контракт на два года — читать лекции в Японии (тоже превосходная валюта).

Но дело не в одних голодающих ученых, недоедающих врачах и инженерах, не в одной интелигенции, безнадежно опустившейся за линию бедности и делающей отчаянное усилие для того, чтобы сохранить «респектабельность».

Хлеб и сахар по карточкам, и почти бесплатная квартира (арендная плата нормирована законом и при теперешнем обесценении марки равна почти нулю), еще давали бы возможность держаться, но в Берлине нет Сухаревки, где можно разбазаривать вещи, и там нельзя ходить без воротничка. в рваных ботинках, или в солдатской шинели, как в варварской стране.

Надо голодать, но сохранять респектабельный облик. И, пожалуй, в этом величайшая трагедия нищих в воротничках, в которых превратилась немецкая интеллигенция. А рядом с ними громадная армия чиновников, приказчиков, банковских клерков, машинисток, продавщиц,—все люди не получающие и половины прожиточного минимума. Разоренные мелкие буржуа, рантье и пенсионеры, пенсии и доходы которых превратились в ничто, офицеры, выброшенные на улицу за сокращением армии, инвалиды мировой войны, пенсии которых не стоят ни в каком соответствии с ценами предметов первой необходимости.

В одном Берлине—миллионы людей, которых катастрофическое падение марки неудержимо увлекает в бездну нищеты. Исхода нет, надежды нет, все позади и ничего впереди. «Плохо, и будет еще хуже»,—слышите вы повсюду, и жутко становится в вагоне подземной дороги или трамвая от этих хмурых, злых, измученных лиц, от этих унылых взглядов, в которых написано чувство бессильной, беспомощной злобы.

Так же, как бюджет каждой обывательской семьи, трещит и расползается по всем швам бюджет государства и муниципалитетов.

Беспощадно завинчен налоговый пресс. Тяжко давит на низы населения. Крупная буржуазия и здесь ускользает. «Горе побежденным», горе средним классам, обреченным на гибель. Но налогов не хватает, но колебание курса беспощадно сметает хитроумные чертежи и расчеты министерства финансов, начертанные на песке падающей валюты.

Медленно, но неуклонно сокращается число поездов, недоступным ста-

новится телеграф, редеет сеть, связывающая мозг страны—Берлин со всей периферией.

Гаснут фонари на улицах. В полутьму погружен еще полгода назад залитый светом Курфюрстендамм. Жалобно мигают одинокие фонари (горит один из четырех) на прямых, суровых улицах. Отошли в область преданий щетки, которыми мыли мостовую. Асфальт уже не блестит, как зеркало. Темно, грязновато. В под'ездах домов уже появились об'явления: «По постановлению общего собрания жильцов центральное отопление работать не будет. Предлагают озаботиться установкой печек». Появились домкомы. Домовладельцы махнули рукой на свои дома,—ничего кроме беспокойства и убытков. Холодно (конечно, еще не везде), многие семьи ложатся в 9 часов или сидят впотьмах: электричество слишком дорого.

Известные магазины обуви Штиллера привлекают покупателей кричащими плакатами: «у *холодной* печи—*теплые туфли* из верблюжьей шерсти».

Но, увы, многим, многим берлинцам не по карману не только теплая печь, но и теплые туфли.

В Берлине есть громадный магазин дешевой обуви на Linkstrasse. Он обслуживает не армию делающих покупки иностранцев, а именно берлинцев, и вообще немцев. Прошлой зимой он напоминал гудящий улей. Столько было покупателей, что не на что было сесть, и приходилось ждать очереди на продавца. В этом году он пуст. Пусты оба этажа, толпа приказчиков бросается навстречу случайно забредшему покупателю. А на вопрос вам мрачно отвечают: у берлинца нет денег, никто ничего не покупает.

Но, если бы в Берлине была только бедность, только дороговизна, давящая миллионы берлинцев, только надвигающийся голод и холод, только миллионы, мечтающие о новых ботинках или шляпе, как о недосягаемом идеале,—мы не имели бы той жуткой и отвратительной картины столицы умирающей цивилизации, которую являет современный Берлин.

Вместе с нищетой и отчаянием идет по пророческому слову Маркса возрастание «одичания и моральной деградации». Растет преступность, принимает угрожающие размеры продажность, невероятно распространяется проституция (не столько в качестве главного занятия, сколько в форме подсобного промысла), которую Ломброзо метко назвал «эквивалентом преступности».

И на другом полюсе общества идет накопление богатства. Скачки курса превратили всякую калькуляцию в спекуляцию, уничтожили условия нормального существования для тысяч предприятий, но открыли новые возможности быстро и легко приобрести богатства. Над Берлином царит биржа. Никто не читает отчетов рейхстага, но все читают курсовой бюллетень. Слово «вакханалия» слишком слабо для обозначения той демонической свистопляски биржевой спекуляции, которая захватила тысячи людей. Рядом со старой респектабельной торговой, промышленной и финансовой буржуазией вырос новый буржуа—мародер и спекулянт,—получивший название—«шибер» (шибер—термин, возникший во время войны и продовольственной монополии. Означал он первоначально то же, что наш «мешечник». Но он пережил войну и «социа-

листические» эксперименты). Слово «шибер» в Берлине гораздо популярнее, чем у нас «нэпман». «Шибер» царит над Берлином, налагает на его лик печать, неизгладимую печать кричащего позора.

Тупой и наглый, грубый и презирающий все, кроме денег, лишенный всех традиций культуры, он чувствует себя в Берлине, как завоеватель в побежденном городе. Сдвинув на красный затылок мясника новенький цилиндр или котелок, попыхивая громадной гаванной, напялив на толстые пальцы волосатых рук массивные кольца с несколькими «каратами», выпустив толстую золотую цепь по модному жилету, облегающему об'емистый живот, шибер с пьяной, лоснящейся и наглой физиономией наслаждается прелестью бытия. Отовсюду гремит музыка негритянских оркестров, как автоматы кружатся пары в «фокс-тротте» и «Шимми».

Странные танцы вырождения с недвусмысленными движениями, которые танцуются с деревянными лицами. Впрочем, большинство танцующих стрекоз кружатся не с радости, а с голоду,—помните как у Крылова: «так пойди же попляши».

В Берлине сильно упало потребление пива, сократилось число дешевых ресторанов. Зато возросло непомерно потребление ликеров, появилось множество ресторанов шантанного типа и так называемые «Палас», т.-е. большие, особенно шикарные и особенно дорогие рестораны с танцами.

«Ici on danse» («Здесь танцуют»)—так написали когда-то парижане на площади, где только что высилась Бастилия. «Ici on danse»—написано огненными буквами шантанных вывесок над Берлином,—столицей страны, только что потерпевшей неслыханное поражение. «Ici on danse»—гремят негритянские оркестры (они не из негров, но музыка под негритянскую) над гигантским городом, об'ятым тяжелым сном отчаяния.

Все танцует. Танцует валюта, танцуют, как в вихре, тысячи акций, танцуют шибера, танцуют клерки из банков, сорвавшие куш на удачной валютной спекуляции, танцуют взяточники, танцуют кокотки, вчера еще девушки из «хорошей семьи»...

Все «жить торопятся и чувствовать спешат». У одних нет денег, и для других они ничего не стоят. Накоплять марки бессмысленно. Что будет завтра—никто не знает.

«Ici on danse»—это ясно. А что дальше? Не все ли равно? «Après nous le deluge»,—«после нас хоть потоп».

Пусто у Рейнгардта, но зато в кинематограф «Уфа-Палас» приходится брать билеты у перекупщиков, а в ресторанах с танцами у вас строго спрашивают, заказали ли вы столик. А рекламы ювелиров, предлагающих вам на самых выгодных условиях бриллианты, лезут вам в глаза на каждом шагу и назойливо преследуют даже в театре и кинематографе.

«Кино, экспрессионизм, теософия, матчи бокса, танцы негров, поккер, скачки,—все это видел уже Рим»,—так говорит Шпенглер.

Да, и Рим видел еще другое: господство богатых вольноотпущенников (им теперь соответствуют шибера), и вавилонское столпотворение в своих стенах, нашествие иностранцев, смешение языков.

Берлин наводнен иностранцами. Это самый дешевый мировой город на земле. Американцы и англичане, голландцы и испанцы, чехи и японцы, шведы и итальянцы,—все, меняя свою «твердую» валюту на кипы германских марок, живут здесь почти даром.

Поэтому ими полны магазины и рестораны, кино и кафе. Они задают тон, по ним равняется немецкий «шибер», который тоже перевел свои деньги в валюту, тоже считает на доллары и тоже богатеет при каждом падении марки. «Распродажа Германии» идет во всю. Мировой аукцион невиданного размера. Скорее, скорее, покупайте, пока не поздно,—уже стучат последние удары молотка.

Небывалое зрелище: все трубы дымят, все фабрики работают полным ходом, а люди беднеют, а марка падает.

«Считая курс доллара в 3.500 марок, золотой запас Рейхсбанка приблизительно вдвое превышает ценность обращающихся банкнот. Это положение—не имеющее прецедентов. Ни одна валюта не терпела крушения при наличии столь крупного еще неиспользованного потенциального резерва»,—так писали международные финансовые эксперты, приглашенные в ноябре 1922 года в Берлин для дачи заключения о стабилизации марки.

Здесь не место разгадывать эти загадки. Этому стоит посвятить отдельную статью. Во всяком случае, в Берлине есть много тысяч иностранцев и никак не меньшее число немцев, которые богатеют с каждым падением курса марки, которые живут лозунгом «чем хуже, тем лучше».

На глазах у подавленных, измученных, голодных берлинцев их столица делается не только ареной международного ажиотажа, но и всеевропейским трактиром, притоном и вертепом.

Не даром растет волна национализма, антисемитизма и монархизма, не даром поднимаются не по дням, а по часам, фонды своеобразного немецкого фашизма,—фашизма отчаяния.

Вот маленький факт. Несколько молодых людей в одном из провинциальных городов бросили бомбу в биржу. На суде обвиняемые об'яснили, что это—акт протеста против засилия международной спекуляции и еврейской банкократии, что они добрые немцы и действовали, как патриоты.

Немецкие обыватели, которые судили этих «национал-социалистов», признали их виновными только в нарушении общественной тишины, и они отделались ничтожным наказанием.

Говоря о физиономии современного Берлина, никак нельзя пройти мимо русских, которыми наводнен Запад (лучшая часть города). Ими переполнены бесчисленные пансионы, они живут едва ли не в каждой немецкой квартире в качестве жильцов, толкутся на Курфюрстендаме, заполняют кафе и рестораны. Русская речь слышна всюду.

«В Берлине есть русские рестораны для русских и есть немецкие рестораны... тоже для русских», с горечью говорят берлинцы. Работающим до изнеможения берлинцам, плохо одетым, бьющимся из-за куска хлеба, враждебна и непонятна, вызывает зависть и в то же время презрение эта громадная толпа праздношатающихся русских, живущих годами в чужой стране,

занимающихся неизвестно чем, ненавидящих свою родину, щеголяющих в мехах и бриллиантах и живущих ресторанами, сплетнями и зрелищами.

В Берлине очень хорошо относятся к советской России. Не из сочувствия к советским принципам, а из какой-то общей уверенности, что Россия окрепнет и поможет Германии и против Франции, и, особенно, против ненавистной Польши.

Но русскую эмиграцию в Берлине еле терпят, и представление, которое по ней немец себе составляет о русских, удастся изжить не скоро.

Сравнение современного Берлина и Рима времени упадка напрашивается само собой. Но там цивилизация умирала на арене цирка, здесь умирает на бирже.

Демократическая контр-революция.

И. Майский.

(Продолжение.)

11. Чехо-словаки.

Если однако, несмотря на засилие монархистов в Народной Армии, Комитет членов Учредительного Собрания не погиб через несколько же недель после своего возникновения, а продержался почти семь месяцев, то несомненно главной причиной тому были чехо-словаки.

Обстоятельства, вызвавшие вмешательство чехо-словаков в русскую революцию, до сих пор остаются еще недостаточно выясненными, и ближайшее будущее, вероятно, подарит нас целым рядом весьма пикантных разоблачений на этот счет. Поскольку, однако, позволяют судить имеющиеся пока сведения и факты, дело сводилось в основных чертах к следующему.

Так как в начале 1918 г. в результате Брестских переговоров русско-германская война была ликвидирована и началась массовая, демобилизация армии, то естественно встал вопрос о дальнейшей судьбе чехо-словацких войск, находившихся на русско-германском фронте. Чехо-словаки обратились за инструкциями и указаниями к французскому военному командованию. Париж решил вывести чехо-словацкие войска из России через Архангельск и Владивосток для того, чтобы подкрепить ими союзный фронт во Франции. Впоследствии мысль об отправке чехо-словацких войск через Архангельск была оставлена, но зато с тем большей энергией делались попытки найти выход через Дальний Восток.

Однако французский посол в России Нуланс, поддерживаемый другими представителями Антанты в России, держался несколько иной точки зрения. Нуланс, принимавший активное участие в борьбе эс-эро-белогвардейских элементов против советской власти, считал более целесообразным использование чехо-словаков на месте в качестве вооруженной силы российской контр-революции. Он, поэтому, всячески тормозил отправку чехов во Францию, прилагая наоборот большие усилия к тому, чтобы вовлечь их в русскую гражданскую войну. Так как сношения между Петербургом и Парижем в то время были очень затруднены, то Нуланс в отношении чехов был почти в положении диктатора. Он поставил вопрос очень просто: если чехо-словаки

хотят получить в результате победы Антанты независимую Чехо-Словакию, они должны оплатить ее рождение борьбой с советской властью в России. Этот ультиматум действовал совершенно неотразимо на психологию каждого чехо-словака. И, так как французский посол в России вдобавок еще снабжал чешские войска необходимыми денежными средствами, то вполне понятно, что чехи должны были повиноваться его приказаниям.

Так была решена судьба чехо-словацких войск в России. Впоследствии, когда участие чехов в гражданской войне стало уже совершившимся фактом, оно было санкционировано французским правительством, а также председателем заседавшего в то время еще в Париже чехо-словацкого Национального Совета профессором Массариком.

Вмешательство чехов в российскую революцию навсегда останется тяжелым воспоминанием для трудящихся масс Советской Республики. Вольно или невольно чешские войска сделали этот шаг, но последствия его оказались для русских рабочих и крестьян воистину роковыми. Не вмешайся чехо-словаки в нашу борьбу, не возник бы Комитет членов Учредительного Собрания и на плечах последнего не пришел бы к власти адмирал Колчак. Ибо силы самой русской контр-революции были совершенно ничтожны. А не укрепись Колчак, не могли бы так широко развернуть свои операции ни Деникин, ни Юденич, ни Миллер. Гражданская война никогда не приняла бы таких ожесточенных форм и таких грандиозных размеров, какими она ознаменовалась; возможно даже, что не было бы и той самой гражданской войны в подлинном смысле этого слова. Весьма вероятно, что дело ограничилось бы лишь небольшими местными восстаниями контр-революционного характера, с которыми советская власть справилась бы без большого труда. Словом, весь ход событий изменился бы. Вот почему, оценивая историческое значение вмешательства чехо-словаков в судьбы российской революции, трудно найти достаточно резкие и сильные слова для характеристики той черной и предательской роли, которую они сыграли. Да, чехо-словаки сделали много, очень много зла русскому народу, и память об этом зле не так-то скоро изгладится из его сознания.

Но, если таким образом в [illegible]ще-историческом масштабе чехо-словаки в 1918 г. выступали, как контр-революционная сила, то совсем иное значение они имели на «территории Учредительного Собрания» и в Сибири. Чехословацкая армия того периода была весьма далека от черносотенных настроений русского офицерства. По составу своему армия эта была довольно демократична: она состояла, главным образом, из крестьян и рабочих; в ней было много социалистов различных оттенков, как среди солдат, так и среди командного состава; отношение между низшими чинами и офицерами в ней носили вполне человеческий характер. Внутренняя организация армии сильно напоминала советскую систему, так как верховным органом последней являлся с'езд представителей военных частей, избиравший Национальный Совет чехо-словацких войск в России. Чехо-словаки любили на каждом шагу повторять, что они тоже революционеры, и что они не имеют ничего общего с русскими белогвардейцами и черносотенцами. В июле 1918 г. в Омске было

опубликовано особое воззвание «от чехо-словацких социалистов русским социалистам», которое начиналось следующими словами:

«Товарищи рабочие и крестьяне! Советское большевистское правительство об'явило войну чехо-словацкому революционному войску, т.-е. чехо-словацким рабочим революционерам, из которых состоит большинство чехо-словацкой армии».

Протестуя против агитации большевиков, заявлявших, что чехо-словаки являются контр-революционерами, авторы воззвания квалифицировали эти утверждения, как клевету, и затем продолжали:

«Наша армия—демократическая. В ней создалось и укрепилось единение всех честных борцов за освобождение своего народа... Мы, как социалисты, уверяем вас, что наша армия не будет и не может быть использована в целях контр-революции... Будьте убеждены, что мы вполне сочувствуем следующим вами выставленным лозунгам:

1) Автономная Сибирь, соединенная с Федеративной Демократической Российской Республикой.

2) Созыв Учредительного Собрания.

3) Непризнание Брестского мира.

4) Вооруженная борьба против германского империализма.

5) Защита гражданских свобод.

6) Охрана труда и защита профессиональных союзов.

7) Передача всей земли народу.

8) Недопущение военной диктатуры» [1].

Воззвание было подписано 18-ю видными социалистами по поручению всех социалистов чехо-словацких войск (а число их было очень значительно) и в общем довольно правильно отражало господствовавшее в то время в чехо-словацкой армии настроение.

Позднее, в конце августа, приветствуя Челябинское государственное совещание по организации центральной власти, представитель чехо-словаков Богдан Павлу, между прочим, говорил:

«Мы, чехо-словаки, выступив три месяца назад, поставили пред собой задачу помогать русскому народу в осуществлении его идеалов, помогать ему в деле восстановления единой нераздельной России, для спасения завоеваний революции, для сохранения народовластия, для утверждения Учредительного Собрания» [2].

И здесь по существу тот же основной лейт-мотив, что и в воззвании чешских социалистов.

Ясно таким образом, что на «территории Учредительного Собрания» чехо-словаки не только не были силой черносотенной, но, наоборот, являлись главной, почти единственной опорой той буржуазной демократии, которую стремился осуществить Комитет. Полковник Галкин до поры до времени должен был кокетничать с эс-эрами только потому, что в Самаре были чехи.

---

[1]) „Вестник Комитета членов Учред. Собрания“ № 30 от 13 августа 1918 г.

[2]) „Вестник Комитета членов Учред. Собрания“ № 49 от 6 сентября 1918 г.

Белогвардейские генералы в Сибири летом 1918 года должны были играть в парламентаризм опять-таки лишь потому, что в Омске, Ново-Николаевске, Томске стояли чехи. Когда в середине сентября сильно поправевшее Сибирское Правительство сделало попытку ликвидировать заседавшую в Томске Сибирскую Областную Думу, на защиту последней с оружием в руках выступили чехо-словацкие части, и в результате сибирскому правительству пришлось пойти на попятный. Если бы не чешские штыки, то черные генералы, конечно, уже летом 1918 года бесцеремонно покончили бы с бледно-розовыми демократами меньшевистско-эс-эровского толка. Оттого-то эти генералы так ненавидели чехов, стремясь при каждом удобном случае устроить какую-нибудь пакость своим «доблестным братьям и освободителям». Вместе с тем присутствие чехо-словацких войск естественно укрепляло положение эс-эров и меньшевиков и давало им возможность упрочить надолго свое политическое господство.

Но тут-то как раз и сказалась полная беспочвенность и беспомощность российской «демократии». Тут-то как раз и сказалось, что она не имеет никаких серьезных корней в массах, и что она оказывается совершенно непригодной для настоящей государственной работы. Она занималась болтовней, когда надо было делать дело, она боялась бить стекла, когда горел весь дом. И это в конце концов погубило ее.

Пока чехо-словаки верили в жизнеспособность эс-эровско-меньшевистской «демократии», они оказывали ей энергичную поддержку. Они дрались на ее фронтах в ожидании, пока она сорганизует собственную армию, они помогали ей строить эту армию, они обуздывали черносотенных генералов, они открыто заявляли о своем сочувствии ей на различных с'ездах и совещаниях, созывавшихся для создания анти-большевистской «всероссийской власти», они, наконец, впоследствии, когда демократия была разгромлена Колчаком, спасали жизнь отдельных ее представителей, пряча их в своих штабах и отправляя за границу в своих эшелонах.

Однако в политике законодательствует не чувство, а рассудок. И по мере того, как начинала выясняться военно-государственная импотентность «демократии», ослабевали и симпатии к ней со стороны чехо-словаков. Осенью 1918 г. чехо-словаки уже достаточно ясно выражали свое разочарование. Я помню, как в последних числах августа, встретившись со мной на Челябинском вокзале, уже упоминавшийся Богдан Павлу с горечью мне говорил:

— Создание русской армии и у вас, на Волге, и в Сибири идет слишком медленно. Государственный аппарат также налаживается плохо. Вместо того, чтобы единым фронтом вести борьбу с большевиками, отдельные анти-большевистские правительства начинают грызню между собой, устраивают по границам какие-то заставы и открывают чуть-ли не таможенную войну. Нас, чехов, всем этим вы ставите в крайне затруднительное положение. Мы согласились вам помочь в расчете, что в течение двух-трех месяцев вы сумеете стать на ноги и дальше вести борьбу сами. Вместо этого вы заставляете нас драться на ваших фронтах. Чешские части уже три месяца находятся в непрерывных боях, они страшно устали, а смены им вы не даете. Так долго

продолжаться не может. Если в ближайшем времени не произойдет радикальной перемены, нам придется пересмотреть свою позицию.

Это настроение в описываемое время было очень широко распространено среди чехо-словаков, и оно было вполне понятно. Проливать кровь в чужой стране за чужое контр-революционное дело многим из чехов совсем не хотелось. Тем более, что в правильности этого дела далеко не все из них были уверены (среди чешских войск были части, которые высшее командование опасалось пускать на фронт из боязни, что они перейдут к большевикам). До поры до времени, конечно, действовала сила дисциплины и сознание, что борьбой в России покупается независимая Чехо-Словакия, но рано или поздно должен был наступить момент, когда влияние названных факторов должно было прекратиться. Такой момент наступил после уфимского государственного совещания, о котором речь будет ниже, когда с полной определенностью выяснилось, что «демократия» по дряблости и бессилию сдала черной сотне все важнейшие политические позиции.

С этого времени среди чехо-словаков начинается явный отлив симпатий к русской «демократии». Созданную на уфимском совещании коалиционную директорию они поддерживают уже только с прохладцей, по обязанности, с эс-эрами, укрывшимися в Екатеринбурге и Уфе, они ведут двойную игру, а колчаковскому перевороту они не оказывают никакого сопротивления. Едва ли можно сомневаться, что большинство чехо-словаков не питало никаких симпатий к омскому диктатору, но, разуверившись после полугодового опыта в жизнеспособности русской «демократии», они считали теперь за лучшее занять по отношению к нему нейтральное положение. На фронтах за Колчака чехи не дрались, да Колчак и не рискнул бы обратиться к ним с подобным предложением. В эпоху Колчака чехи занимались главным образом охраной сибирской железнодорожной линии, в целости которой они сами были больше всех заинтересованы: ведь по этой линии должен был совершиться их исход на родину из суровых пространств революционной России.

Отказ чехов от поддержки «демократии» сыграл роковую роль в судьбах Комитета. Созданный чешскими штыками, он естественно должен был умереть, когда эти штыки прекратили ему служить. Ибо сам по себе Комитет был воплощенное бессилие, и это еще раз и необыкновенно ярко иллюстрировалось характером его деятельности в сфере внутренней политики, к которой я сейчас и перейду.

12. Внутренняя политика.

В «Приказе № 1», изданном Комитетом 8 июня 1918 года, было сказано:

«Все ограничения и стеснения в свободах, введенные большевистскими властями, отменяются, и восстанавливается свобода слова, печати, собраний и митингов... Революционный трибунал, как орган, не отвечающий истинно-народно-демократическим принципам, упраздняется и восстанавливается Окружный Народный Суд».

Я не сомневаюсь, что те, кто подписывал этот «Приказ», имели самое искреннее желание осуществить на деле всю полноту столь пленявших их «демократических» свобод. Но политические партии судят не по их словам и даже не по их намерениям, а по их делам. Каково же было «дело» Комитета в данной области? как осуществлял он на практике все те великолепные свободы, которыми он так щедро осыпал подвластное ему население в своих приказах и воззваниях?..

Пусть говорят факты.

Обратимся прежде всего к гражданским свободам. Мера демократии в каждой стране определяется мерой свободы, предоставляемой не друзьям, а врагам существующего политического и общественного строя. Что удивительного, если английское правительство гарантирует самую широкую свободу консерваторам и либералам,—этой надежнейшей опоре нынешней капиталистической Англии? Это в порядке вещей. Судить о степени демократичности английского правительства можно лишь по той свободе, которую оно предоставляет рабочему классу и в особенности его крайнему левому коммунистическому крылу. Если подойти с этой точки зрения к внутренней политике Комитета, то придется констатировать, что, несмотря на широковещательные заявления его лидеров, никакой «демократии» на подчиненной ему территории вообще не было.

Все население этой территории подразделялось на две части «государственно-мыслящую» и «большевистскую». «Государственно-мыслящая часть» включала в себя меньшевиков, эс-эров, народных социалистов, кадетов и все элементы, стоящие вправо от последних. Правда, монархисты официально считались противниками Комитета, но последний, благодаря влиянию г.г. Галкиных и К-о, не имел возможности дать сколько-нибудь определенное выражение своему отрицательному к ним отношению. Я помню только два случая попытки удара направо и оба они оказались ударом по воздуху. Вот они. С середины августа самарские кадеты открыли жестокий поход против Комитета, при чем их газета «Волжский День» изо-дня в день помещала гнуснейшие статьи, направленные против «демократии» вообще и против эс-эров в особенности. В виде репрессии управляющий ведомством внутренних дел Климушкин арестовал одного из виднейших самарских кадетов Коробова, как раз опубликовавшего в «Волжском Дне» одну очень свирепую статью. Но Климушкин сделал расчет без хозяина. Едва Коробов очутился в стенах тюремной келии, как в городе поднялся необычайный шум. Забегали кадеты, заволновались торгово-промышленники, выступило с настоятельными «представлениями» военное ведомство, и в результате через три дня Коробов был освобожден. Другой случай относится уже к более позднему времени, когда Комитет после эвакуации Самары временно обосновался в Уфе. Тот же Климушкин как-то вызвал к себе редакторов издававшихся там правых газет и, не стесняясь в выражениях, задал им жестокий нагоняй за их нападки на Комитет и эс-эров. Однако этот начальнический окрик не возымел должного действия на редакторов, а Климушкину доставил много неприятностей.

В резком противоречии с этой почти эфирной нежностью обращения с

правыми элементами стояло отношение Комитета к «большевистской» части населения. Под последней подразумевались главным образом революционные рабочие, партийные большевики, меньшевики-интернационалисты и вообще все, сочувствовавшие Советской власти. Здесь Комитету ни промышленники, ни офицеры не мешали, наоборот, они охотно брались играть роль «карающей руки», и в результате «большевики» на территории Учредительного Собрания» оказались взятыми в железо.

Свободы печати для «большевиков» не существовало. Ни одной коммунистической газеты в районе действия Комитета не издавалось, потому что не могло издаваться. Меньшевики-интернационалисты сделали было попытку выпускать в Самаре еженедельный орган «Свободное Слово». Газета была маленькая и довольно бесцветная. Тем не менее она была закрыта на втором номере. Да что «Свободное Слово»! Даже правительственная меньшевистская печать то-и-дело вызывала недовольство начальства. В Оренбурге, где царствовал атаман Дутов, редактор меньшевистской газеты «Рабочее Утро» был предан военно-полевому суду «за возбуждение одного класса против другого», и Комитету стоило немалого труда предупредить по отношению к нему кровавую расправу. В Самаре власти держались более тактично, тем не менее редактора меньшевистской «Вечерней Зари» то-и-дело вызывали либо к управляющему губернией, либо к чешскому коменданту города для строгих внушений и назиданий. Бывали случаи, когда управляющий губернией устраивал собрания редакторов всех самарских газет, на которых он просто приказывал им, как газеты должны себя вести, о чем писать и о чем не писать.

Не иначе было с свободой слова и собраний. «Большевики», конечно, были лишены и этих двух основных прав буржуазной демократии. Кадеты могли сколько угодно ругать Комитет, но, если большевик выступал на каком-нибудь митинге, он мог быть уверен, что благополучно не вернется домой. В Совете Рабочих Депутатов, где большевики под фирмой «беспартийных» составляли большинство, им приходилось быть также очень осторожными со своими речами. Были случаи, когда члены Совета, критиковавшие с трибуны политику Комитета, при выходе на улицу арестовывались чинами охраны. Такой режим применялся не только в обычное время, но также и в период избирательных кампаний в местные самоуправления. Эс-эрам, очень любящим возмущаться «стеснением свободы слова и собраний» при выборах в Советы, следует почаще вспоминать, как в 1918 г. проводились выборы в городские думы на «территории Учредительного Собрания». Я уже упоминал выше, что губернские и уездные уполномоченные Комитета имели право запрещать всякие собрания и с'езды по соображениям государственной безопасности. В провинции на основании этого права фактически была уничтожена свобода собраний не только для «большевиков», но подчас даже для меньшевиков и эс-эров.

То же самое происходило и с свободой организаций. Конечно, коммунистическая партия и меньшевики-интернационалисты могли существовать только нелегально, но даже и положение профсоюзов было далеко не блестящее. Я, как министр труда, прилагал все усилия к тому, чтобы обеспечить

нормальное существование профсоюзов в качестве органов защиты рабочего класса от эксплоатации предпринимателей; однако мои усилия далеко не всегда были успешны. Даже в Самаре профсоюзы сильно страдали от систематических выселений из квартир, от внезапных обысков, от арестов руководителей и т. д. В провинции дело обстояло гораздо хуже: там профсоюзы нередко влачили лишь призрачное существование. В Оренбурге стачки были запрещены под угрозой смертной казни. В Самаре этого, конечно, не было. Но, когда во время забастовки приказчиков профсоюзом были выставлены на улицах стачечные пикеты, полицейские власти их разгоняли и арестовывали. Весьма показательна была также судьба самарского Совета Рабочих Депутатов. В середине августа он начал свою работу, а в конце сентября он был насильственно ликвидирован военно-полицейскими мероприятиями. При этом произошел следующий любопытный инцидент. Накануне разгона Совета несколько эс-эровских военспецов с капитаном Калининым во главе пришли ко мне и заявили, что считают дальнейшее существование Совета совершенно невозможным. Они утверждали также, что на этой точке зрения стоит и большинство Комитета. Я протестовал против подобной меры и предложил им подождать с окончательным решением до тех пор, пока не выскажется меньшевистская организация. Военспецы согласились и обещали пока Совета не трогать. Тем не менее на следующее утро Совета не стало.

В полном соответствии с общим духом комитетской «демократии» находилось и осуществление принципа неприкосновенности личности. На «территории Учредительного Собрания» *существовали две контр-разведки*: русская и чешская. Русская была довольно плохо организована и потому проявляла себя сравнительно мало. Чешская была организована гораздо лучше и потому очень болезненно давала себя чувствовать населению. Обыски и аресты применялись контр-разведками весьма широко, и часто людей хватали направо и налево без сколько-нибудь достаточных к тому оснований. Бывали поистине поразительные случаи.

Однажды поздно ночью я вернулся с заседания правительства домой. Я жил в гостинице «Националь», где помещались члены правительства, члены Учредительного Собрания и вообще все власть имеющие люди. Открыв ключом дверь своего номера, я невольно остановился в изумлении: все вещи из моего номера исчезли. Исчезли не только мой чемодан, книги, лежавшие на столе, и бумаги, сложенные в столе, но даже моя постель, даже свечка, стоявшая на столике у постели. Комната была совершенно чиста. Пораженный непонятным исчезновением всего моего имущества, я обратился за раз'яснением к швейцару. Швейцар заявил, что приходила чешская контр-разведка и забрала все мои вещи. Я поднял скандал и вызвал к телефону начальника контр-разведки. Когда я назвал себя и потребовал об'яснений, в контр-разведке началось движение. Начальник последней заявил, что произошло недоразумение, и что вещи мне немедленно будут возвращены. Часа через два, уже почти на рассвете, вещи мне, действительно, доставили, при чем молодой чешский офицер, явившийся с моим имуществом, в ответ на резкое замечание с моей стороны, только свистнул и беспечно прибавил:

— Ну, это еще что! Вышла ошибка, только всего. Голова ни у кого не свалилась. Бывает хуже.

Если такие случаи возможны были с членами правительства, то легко себе представить, каково приходилось рядовому обывателю. Действительно, тюрьмы «территории Учредительного Собрания» были переполнены «большевиками», среди которых было много совершенно ни к чему не причастных людей. В Самаре, например, во время моего там пребывания число заключенных доходило до 2.000, в Оренбурге было около 800, в Хвалынске—700, в Бузулуке—500 и т. д. При этом условия, в которых находились заключенные, были по большей части отвратительные. В камерах, рассчитанных на 20 человек, сидело по 60—80, питанье было плохое, а обращение нередко вызывало острые конфликты между охраной и арестованными.

Особенные безобразия происходили, конечно, в провинции. Так, Дутов в Оренбурге наложил на рабочие кварталы контрибуцию в размере 200 тысяч рублей (по тем временам крупная сумма). На уральских заводах, в Усть-Катаве, Миньяре и др., рабочих, заподозренных в большевизме, пороли розгами. Порки в широких размерах применялись и к крестьянам, отказывавшимся давать рекрутов, при чем в подобных подвигах упражнялись не только черносотенные офицеры, но и представители эс-эровской партии. Порками прославился, например, эс-эр Бобров, посланный Комитетом в деревенские районы для урегулирования столкновений, возникших в связи с мобилизацией.

Впрочем, не всегда дело ограничивалось только телесным наказанием. Я помню, как однажды в своем докладе правительству полковник Галкин сообщал, что в некоторых местах, отказавшихся давать солдат, карательные отряды обстреливали непокорные деревни артиллерийским огнем. Правительство санкционировало эту расправу.

В другой раз, уже перед самым оставлением Самары Комитетом, в расположенном неподалеку от последней фабричном центре Иващенково вспыхнуло восстание. Рабочие, в чаянии близкой помощи от подходившей Красной армии, изгнали представителей Комитета и об'явили Советскую власть. В Иващенково были посланы воинские части. Так как Красная армия не успела вовремя подойти, то карательный отряд Комитета произвел жестокое усмирение повстанцам. Подробностей этого усмирения я не знаю, но от ряда достоверных свидетелей слышал, что в Иващенкове было убито несколько сот человек.

Не довольствуясь жестокими репрессиями, происходившими в порядке повседневного факта, Комитет стремился облечь их в одежду формальной законности и закрепить их в качестве постоянно действующего института. Так, с самого начала его господства, на железнодорожных и водных путях сообщения было об'явлено военное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями. 17 сентября 1918 года «Приказом № 281» Комитет учредил чрезвычайный суд, состоящий из четырех лиц: одного от чехов по назначению командующего Поволжским фронтом, одного от Народной Армии по назначению управляющего военным ведомством, одного от военно-судной части и одного от ведомства юстиции. На рассмотрение этого суда должны

были передаваться не только такие преступления, как восстание против существующей власти, нападение на воинские части, государственная измена, шпионаж и т. п., но также и покушение на насильственное освобождение арестантов, призыв к неисполнению требований гражданской и военной власти, злонамеренное распространение ложных слухов и т. д. По пункту 5 названного «Приказа», все виновные в совершении указанных преступлений подлежали наказанию смертною казнью. Очевидно, подобный суд полнее всего соответствовал «истинным народно-демократическим принципам», во имя которых Комитет при своем образовании декларировал уничтожение большевистских ревтрибуналов! Не следует думать при этом, что «Приказ № 281» остался только на бумаге. Наоборот, он очень быстро вошел в жизнь и отправил на тот свет не мало граждан «территории Учредительного Собрания».

Несколькими днями позднее Комитетом было издано «Положение о министерстве охраны государственного порядка». Это положение предоставляло огромные полномочия министру охраны и всем подчиненным ему органам. В частности, предусмотренным по положению губернским штабам охраны предоставлялось право: а) на предварительное задержание всех лиц, внушающих основательное подозрение в совершении государственных преступлений или прикосновенности к ним, а равно в принадлежности к противозаконным обществам; б) на производство обысков во всех без исключения помещениях и наложения ареста, впредь до распоряжения подлежащего начальства, на всякого рода имущество, указывающее преступность действий или намерений (даже намерений!) заподозренного лица. Как видим, это положение юридически раз-на-всегда узаконяло бессудные обыски и аресты в любом количестве.

Такова была «демократическая» практика Комитета в области внутренней политики. Таковы факты. Возможно, что сторонники Комитета мне возразят: в обстановке гражданской войны никакая государственная власть не в состоянии обойтись без террора. Я готов согласиться с этим утверждением, но тогда почему же эс-эры так любят болтать о «большевистском терроре», господствующем в Советской России? Какое они имеют на это право? Террор был и в Самаре, на той единственной территории, где волей исторического случая и чехо-словацких штыков эс-эры на краткий срок оказались носителями государственной власти. И от этого террора партия социалистов-революционеров не сможет отмыть своих «белоснежных» риз, сколько бы она ни старалась. Но разница между эс-эровским и большевистским террором заключается в том, что эс-эровский террор был направлен против революции и против рабочих, в то время как большевистский террор наносил и наносит удары контр-революции и буржуазии. Эта разница радикально меняет политическую и моральную оценку террора в том и другом случае. Всякий искренний революционер не сможет прнять эс-эровского террора, но он без труда примет террор большевистский.

13. Вопрос о единой всероссийской власти.

Еще одной и, пожалуй, самой поразительной иллюстрацией внутреннего бессилия Комитета была его политика в вопросе о создании «всероссийской власти». И так как на решении этого вопроса Комитет сломал себе голову, то на нем следует остановиться несколько внимательнее.

В самом начале существования Комитета члены его были твердо уверены, что именно Комитет станет единственным наследником Советской власти на территории, отвоеванной чехо-словаками у большевиков. Свою уверенность они основывали, главным образом, на том соображении, что правомочным «хозяином земли русской» является только Учредительное Собрание, а впредь до созыва его, очевидно, тот орган, который почерпает свой государственный авторитет непосредственно из лона Учредительного Собрания. Таким органом был только Комитет. Всякие иные органы, могущие возникнуть в местностях, отвоеванных у большевиков, казались членам Комитета юридически незаконными, а политически не авторитетными. Мысль о том, что политическая авторитетность власти покоится не на мертвых юридических формулах, а на реальной силе, как-то плохо укладывалась в их эс-эровских головах. И потому на первых порах члены Комитета рисовали себе путь дальнейшего развития в виде присоединения одной области за другой к «территории Учредительного Собрания», управляемой Комитетом членов Учредительного Собрания в Самаре.

Однако действительность жестоко разочаровала эти ожидания. Ниспровержение Советской власти в 1918 г. в Поволжье, Урале и Сибири происходило приблизительно одновременно в различных районах. Связь между этими районами восстанавливалась не сразу. Бывали периоды, когда два района, уже захваченные контр-революционерами, были отделены друг от друга районом, еще находившимся во власти большевиков. В течение всего лета шла упорная борьба на фронтах, и, в то время как Самара была занята чехо-словаками 8 июня, непосредственная связь ее с Читой и Дальним Востоком была установлена только в конце сентября. И так как ни один город и ни один район не мог длительно существовать без какой-либо государственной власти, а единая власть, авторитетная для всех захваченных контр-революцией территорий, сразу не могла создаться, то вполне естественно, что в различных местах стали возникать локальные власти. Первоначально все они рассматривали свое существование как весьма кратковременное, ибо в 1918 году в контр-революционном лагере были твердо убеждены в близком падении большевиков, после чего естественно должна была возникнуть единая всероссийская власть. Однако расчеты на быстрое исчезновение Советов оказались ошибочными. Шли месяцы, а Советы не обнаруживали готовности умереть. Местные правительства естественно начинали отвердевать, оформляться, приобретать вкус к власти и расценивать свое существование уже как нечто более длительное и установившееся. Услужливые «ученые» и журналисты сейчас же находили идеологическое обоснование для сепаратистских стремлений

провинциальных помпадуров, апеллируя к особым национальным, хозяйственным или географическим условиям данной местности (а в какой местности не найдется чего-нибудь особенного, отличающего ее от другой?).

В результате в районах, расположенных к востоку от Волги, летом 1918 г. возникло несколько правительств или организаций, хотя бы отчасти имеющих правительственные функции. Одним из этих правительств был Комитет членов Учредительного Собрания. Другим не менее важным правительством было Сибирское Правительство, имевшее свою резиденцию в Омске и простиравшее свою власть до Байкала. Далее, во второй половине июля, после взятия Екатеринбурга чехо-словаками, в этом городе образовалось Областное Правительство Урала, претендовавшее на территорию Пермской губернии и на те части горнозаводского Урала, которые входят в состав Уфимской, Вятской и Оренбургской губерний. Правительство это состояло из кадетов, н.-с., эс-эров и меньшевиков под главенством умного и хитрого кадетского фабриканта Л. А. Кроля. Оренбургская и Уральская области управлялись войсковыми органами оренбургского и уральского казачества и, хотя формально они признавали власть Комитета, тем не менее фактически являлись почти самостоятельными «державами», ведшими закулисные интриги с Омском против Самары.

К правительствам, построенным по территориальному принципу, присоединялись еще правительства, построенные по принципу национальному. Башкиры создали свое башкирское государство с своим башкирским советом министров. Киргизы организовали свою «алаш-орду», которая, подобно казакам, путалась между Омском и Самарой. Наконец, на «территории Учредительного Собрания» пребывало еще так называемое «Национальное Управление тюрко-татарских племен». Происхождение последнего было следующее. В июле 1917 г. в Казани заседали три всероссийских мусульманских с'езда—духовенства, военный и всеобщий,—об'явившие «культурно-национальную автономию мусульман Внутренней России и Сибири». Состоявшийся вскоре после того второй всеобщий мусульманский с'езд принял конституцию этого своеобразного об'единения, после чего 20 ноября 1917 года в Уфе был созван первый мусульманский парламент (Миллят-Меджлиси). Парламент оставил в наследство после себя «Национальное Управление тюрко-татарских племен» в составе председателя и трех ведомств—духовного, просвещения и финансов. Вот это-то национальное управление в описываемое время пребывало в Уфе и тоже претендовало на роль своего рода экстерриториального правительства.

Как видим, правительств было очень много, но Комитет, ставивший своей целью воссоздание единой России, не переставал делать попытки к завязыванию сношений с иными государственными образованиями контр-революционного типа, возникавшими в тот период в различных частях бывшей Российской империи. Так, он посылал курьеров на Дон к генералу Алексееву, в Архангельск к Чайковскому, в Астрахань к Астраханскому казачьему войску.

Впрочем, вопрос о Доне или Архангельске пока что носил для Комитета

чисто-теоретический характер,—наоборот, вопрос об Омске, Екатеринбурге, Уральске имел уже вполне актуальное значение. Интересы борьбы с большевиками, которая составляла главный стержень работы Комитета, настоятельно требовали об'единения всех контр-революционных сил. Естественно вставал вопрос о единой власти на тех территориях, которые летом 1918 г. были оторваны у большевиков. Кто же именно должен был быть этой единой властью?

Комитет полагал, что такой властью может и должен быть только он. Однако другие правительства против этого решительно возражали, отчасти по соображениям сепаратистского, отчасти по соображениям политического свойства. Так, например, сибирскому и обоим казачьим правительствам Комитет казался слишком «левым» и, потому, они никак не хотели допустить превращение его в верховную власть, которой они должны были бы подчиняться. Между различными местными правительствами начиналась взаимная борьба за власть, и победителем из этой борьбы могло выйти, очевидно, только то правительство, которое было сильнее других и обладало большей способностью приспособления к условиям переживаемой эпохи. Главным соперником Комитета выступало Сибирское Правительство и, так как в дальнейшем ему пришлось играть доминирующую роль в развертывавшихся событиях, то я считаю необходимым охарактеризовать его здесь несколько подробнее.

В январе 1918 г. в Томске собралась Сибирская Областная Дума, составленная, как это часто практиковалось в то время, из представителей городов, земств, советов рабочих депутатов, профсоюзов и т. п. учреждений и организаций. Цензовые элементы в Думу допущены не были. Этот областной парламент избрал правительство с П. Я. Дербером во главе. Кроме того, в состав правительства входили Вологодский, Иван Михайлов, Патушинский, Крутовский, Шатилов и др. Общая окраска правительства была умеренно-эс-эровская: членами его были как старые партийные эс-эры, так и сочувствующие эс-эрам или когда-то бывшие эс-эрами, но затем отошедшие от партии и превратившиеся просто в обывателей.

Однако, времена были очень бурные. Волна октябрьской революции, катясь постепенно с запада на восток, в январе достигла Сибири. Выборы правительства Областной Думы происходили накануне захвата власти большевиками. Вслед затем разразился сибирский Октябрь, Дума разбежалась по домам, а избранное ею правительство ушло в подполье. Впрочем, менее скомпрометированные члены правительства жили открыто и занимались различными, не имеющими отношения к политике делами: кооперацией, юриспруденцией, и т. д. Зато другая, более скомпрометированная часть, эвакуировалась на восток и в поисках царства, где она могла бы «володети и княжити», постепенно докатилась до берегов Тихого Океана.

В июне месяце в Западной Сибири произошел чехо-словацкий переворот. Советская власть пала, и на смену ей первоначально пришел так называемый «западно-сибирский комиссариат», состоявший из эс-эров Линдберга, Бориса Маркова и Павла Михайлова (последние двое в январе 1920 года

были зверски убиты семеновцами на Байкале). Но этот комиссариат просуществовал очень недолго и, в свою очередь, был сменен Сибирским Правительством, в состав которого вошли пять членов январского правительства Сибирской Областной Думы, как раз в этот момент находившиеся на территории, оккупированной чехо-словаками. Эти пять были: Вологодский, Иван Михайлов, Патушинский, Шатилов и Крутовский. Председателем правительства был Вологодский, томский адвокат, прекраснодушный эс-эр в прошлом и беспринципный обыватель в настоящем, человек совершенно безвольный и безличный. Действительной душой правительства являлся Иван Михайлов (сын известного народовольца Адриана Михайлова), молоденький херувим по внешности, но настоящий дьявол по своим внутренним качествам. Сибирское Правительство тотчас же стало формировать свои министерства, при чем министры и их товарищи образовали так называемый Административный Совет Правительства, мало-по-малу захвативший в свои руки реальную власть. В Административном Совете главную роль играл председательствовавший в нем Иван Михайлов, находившийся одновременно в тесном контакте с так называемой «военной партией».

Вооруженная сила, на которую опиралось Сибирское Правительство, кроме чехо-словаков, состояла еще из офицерских и казачьих частей, возглавлявшихся генералами Ивановым-Риновым и Гришиным-Алмазовым. Добровольческой армии типа самарской «Народной Армии» не было, но зато с самого возникновения Сибирского Правительства началось формирование армии, основанной на принципе мобилизации. Особенно близких отношений между Сибирским Правительством и чехо-словаками никогда не было,—поэтому, неудивительно, что Сибирское Правительство находилось в гораздо большей зависимости от черносотенной военщины, чем самарский Комитет. Мало-по-малу сибирские генералы стали приобретать все большее влияние на ход государственных дел. Им много помогал в этом Иван Михайлов, систематически работавший над усилением правых элементов в правительстве. В августе месяце процесс кристаллизации реакционных сил в Сибири продвинулся уже настолько далеко, что наиболее чистые и дальновидные из эс-эров начинали не на шутку тревожиться. Параллельно с ростом правых настроений в правительственных кругах наблюдался также рост и резко областнических тенденций. Впрочем, этими тенденциями тогда были заражены очень широкие круги сибирской общественности. Так, над креслом председателя в Сибирской Областной Думе красовалась надпись: «Через автономную Сибирь к возрождению свободной России».

Большие осложнения вызывал вопрос о Сибирской Областной Думе. Исторически и формально Сибирское Правительство было порождением этой Думы и, казалось бы, первым шагом его после своего вторичного рождения должен был быть созыв представительного органа, давшего ему жизнь. Однако Сибирская Областная Дума, избранная еще в эпоху господства «революционной демократии» и не включавшая в свой состав цензовых элементов, казалась «поумневшим» эс-эрам из Сибирского Правительства слишком левым учреждением. И, потому, они старались оттянуть ее возрождение. Только

15 августа, под давлением широкого общественного мнения, Сибирское Правительство вынуждено было созвать Областную Думу и, как водится в подобных случаях, патетически поклясться ей в своей глубокой преданности идеям «демократии». Одновременно, однако, особым декретом было постановлено, что Дума должна быть пополнена цензовыми элементами из кругов биржевых комитетов, союзов промышленников, об'единений торговцев и т. п.

Впрочем, торжественные декларации не могли перекинуть мостика между Думой и правительством. С первого же момента возрождения Думы между ней и правительством начались трения. Областная Дума по традиции заседала в Томске, правительство же находилось в Омске. Это чисто географическое обстоятельство имело весьма серьезные политические последствия: правительство не чувствовало над собой контроля представительного органа, а представительный орган подозревал правительство в стремлении свести его влияние к нулю. Отсюда целый ряд конфликтов, взаимные подозрения и даже вражда. Далее, не без сильного влияния на положение вещей была действительная разница в настроениях Думы и правительства. Дума стояла на платформе буржуазной демократии, правительство же все более катилось по наклонной плоскости к военной диктатуре. Дума отстаивала тесную связь Сибири с остальной Россией, правительство, наоборот, становилось все более областническим. Правда, Вологодский и другие министры не раз заявляли, что они не мыслят себе Сибири иначе, как частью России, но это были лишь громкие слова. На практике Сибирское Правительство делало все возможное для того, чтобы затруднить связь Сибири с Европейской Россией. Поэтому борьба между Думой и правительством со второй половины августа стала основной чертой сибирской политической жизни, резко отличавшей ее от условий, господствовавших на «территории Учредительного Собрания».

Таков был главный соперник Комитета.

Отношения между самарским и сибирским правительствами с самого начала носили не слишком-то дружественный характер. Отчасти тут повинны были различия в их политических настроениях, отчасти же тут играла роль естественная склонность двух правительств ссориться друг с другом на том только основании, что они являются двумя различными правительствами. Конечно, бо́льшую агрессивность проявляла Сибирь. В чем проявлялись столкновения между обоими соперниками, лучше всего могут иллюстрировать следующие любопытные факты.

На границе между территорией Сибирского Правительства и «территорией Учредительного Собрания» находился город Златоуст с уездом. О «государственной» принадлежности Златоуста шли споры. На него претендовала Самара, его тянула к себе Сибирь, а позднее, когда возникло Областное Правительство Урала, оно считало Златоуст своей неот'емлемой собственностью. Сам Златоуст сильно колебался в выборе той или иной «ориентации». И вот в середине августа, не договорившись ни с кем из заинтересованных сторон, Сибирское Правительство просто декретировало, что Златоустовский уезд отныне составляет нераздельную часть подчиненной ему территории. Самара протестовала против самочинных действий Омска, тогда Омск в целях давле-

ния на Комитет установил на границе между самарским и сибирским «царствами» таможенную заставку и стал требовать пошлин с провозимых по железной дороге товаров.

Другой случай еще более характерен. Я уже упоминал про возникновение в Екатеринбурге Областного Правительства Урала. Оно мечтало об обеспечении горнозаводскому району Урала известной автономии с подчинением центральной государственной власти. Но так как центральной государственной власти еще не было, а реально существовали два правительства—самарское и омское, то екатеринбургскому правительству приходилось выбирать подчинение одному из двух. Оно торговалось с обоими, но долго не могло прийти ни с тем, ни с другим ни к какому соглашению. Наконец, как-будто бы наметилась возможность вступить в более тесные отношения с Самарой. Однако это совсем не входило в расчеты Сибирского Правительства,—тогда оно стало попросту аннексировать один за другим уезды, относившиеся к территории Областного Правительства Урала, сведя, в конце концов, территорию последнего лишь к городу Екатеринбургу и окружающему его району.

Впрочем, несмотря на взаимную конкуренцию и борьбу между различными местными правительствами, мысль о создании единой государственной власти на отвоеванные от большевиков территории постепенно приобретала все большую популярность и, наконец, стала получать свое осуществление в действительности. Первым практическим шагом в этом направлении явилось совещание между представителями Комитета и Сибирского Правительства, состоявшееся 15—16 июля в Челябинске. Комитет здесь был представлен Брушвитом, Веденяпиным и полковником Галкиным, а Сибирское Правительство Иваном Михайловым, товарищем министра иностранных дел Головачевым и военным министром Гришиным-Алмазовым. На совещании произошел обмен мнений между сторонами по вопросу о методах организации центральной власти, при чем сибирские представители обнаружили резко выраженные сепаратистские тенденции. Так, Иван Михайлов прямо заявил: «Мы идем под флагом областничества». А Головачев добавил: «Сибирь не потерпит на своей территории никакой иной власти, кроме власти Сибирского Правительства» [1]).

После довольно продолжительной дискуссии о преимуществах «народной армии» или сибирской армии, которой главным образом увлекались Галкин и Гришин-Алмазов, совещание постановило созвать на 6-е августа в том же Челябинске новое, более расширенное совещание, в котором должны были участвовать следующие элементы: 1) все члены Учредительного Собрания, которые к тому моменту окажутся на территории, отвоеванной у большевиков; 2) делегации от центральных комитетов политических партий и «Союза Возрождения»; 3) представители правительств, возникших на территориях, захваченных чехо-словаками. Это новое расширенное совещание должно было уже ближе подойти к вопросам, связанным с созданием единой государственной власти.

---

[1]) См. Самарскую „Вечернюю Зарю" от 10 августа 1918 г.

События на фронтах и борьба между отдельными правительствами помешали своевременному созыву указанного совещания. Вместо 6 августа оно собралось только 23. К этому времени уже с достаточной ясностью наметились два лагеря, которые для краткости можно обозначить как «самарский» и «сибирский». Оба лагеря заранее готовились к бою и принимали необходимые подготовительные меры. Оба лагеря, между прочим, старались импонировать друг другу и средним колеблющимся элементам внешним блеском своего выступления на совещании. Сибирские делегаты с Иваном Михайловым и генералом Ивановым-Риновым во главе прибыли поэтому в Челябинск в особом поезде, над вагонами которого развевалось бело-зеленое знамя автономной Сибири. Они привезли с собой многочисленую свиту, среди которой ярко пестрели многочисленные военные формы всех родов оружия. Из Самары пришел также специальный поезд, в котором приехало около полусотни представителей комитетского лагеря. Здесь военных было очень мало,—только полковник Галкин и несколько человек охраны поезда,—но зато тем богаче был представлен мир политических партий и национальных об'единений. В Самарском поезде имелось десятка два членов Учредительного Собрания с Вольским во главе, были делегации эс-эров, меньшевиков, народных социалистов, были представительства от с'езда земств и городов Поволжья, Урала и Сибири, от «Национального Управления тюрко-татар», от башкир, киргизов, туркестанцев и некоторых других малых национальностей. Кроме того, с самарским поездом приехал представитель «наших верных союзников»—уже упоминавшийся выше французский консул в Самаре Комо. По дороге от Самары до Челябинска поезду устраивались торжественные встречи с приветственными речами представителей мест и ответными речами Вольского и других членов комитета. А на одной из уральских станций, если память мне не изменяет, на станции Вязовой, куда поезд прибыл ближе к вечеру, для самарской делегации был устроен блестящий ужин, прелесть которого еще более возрастала благодаря редкой красоте окружающей природы. Настроение у всех было очень приподнятое.

Но оно стало понемногу блекнуть, когда кончилась «территория Учредительного Собрания», и начались владения Сибирского Правительства. Здесь сразу окончилось наше «триумфальное шествие», и подул совсем иной ветер. Наш поезд проходил мимо безмолвных станций с развевающимся бело-зеленым знаменем. На челябинском вокзале нас никто не встретил, не было даже коменданта станции, и членам самарского правительства пришлось окольными путями узнавать, в каком помещении и когда должно открыться государственное совещание. Конечно, это была демонстрация со стороны Сибирского Правительства (Челябинск лежал уже на его территории), бросавшая луч света на господствовавшее в его среде настроение.

Второе челябинское совещание продолжалось три дня с 23 по 25 августа. В нем участвовали все те элементы, которые были предусмотрены соглашением 15—16 июля, кроме того в качестве почетных гостей были представители «наших доблестных братьев чехо-словаков» и «наших верных союзников», последние в лице двух-трех персонажей весьма сомнительного свой-

ства и происхождения. Председателем совещания был избран эс-эр Н. Д. Авксентьев, державшийся в стороне и от Комитета, и от собственной партии, и старательно подчеркивавший, что он выступает здесь не как партийный человек, а как член «Союза Возрождения».

Совещание не решилось, однако, и на этот раз взяться вплотную за вопросы создания центральной власти, а сочло за лучшее перенести их на новое, третье по счету, совещание, еще более полное и широкое, чем происходящее. Челябинские заседания, поэтому, были посвящены почти исключительно лишь вопросам технического характера—о составе будущего совещания, о месте и сроке его созыва. Казалось бы, места для принципиальных разногласий здесь не было. Тем не менее даже и по этим вопросам совершенно отчетливо наметилось расхождение между «правыми» и «левыми», явившееся слабым предвестником того, которое сыграло такую решающую роль в судьбах последовавшего затем Уфимского Государственного Совещания.

Это расхождение фиксировалось главным образом на двух пунктах: на месте будущего совещания и на его составе. По вопросу о таком, казалось бы, нейтральном предмете, как место, где должно собраться государственное совещание, возникли очень острые политические споры. Комитет настаивал на том, чтобы совещание собралось в Самаре. Официально свое предложение он мотивировал тем, что Самара является «подступом к Москве и Петрограду», и что, поэтому, совещание, созванное в Самаре, легче будет воспринято страной, как «всероссийское». Кроме того, указывалось на технические преимущества Самары в отношении помещений, типографий и т. п. Фактически Комитетом руководили несколько иные соображения. Комитет опасался усиления на совещании правых элементов и хотел парализовать эту опасность, перенеся совещание в самый крупный и наиболее живой город отвоеванной у большевиков территории. В Самаре совещание было бы в «демократическом» окружении, и здесь Комитет в случае надобности мог бы непосредственно апеллировать к «демократии».

Наоборот, Сибирское Правительство категорически настаивало на том, что государственное совещание должно происходить «в городе с наиболее тихой политической обстановкой». Поэтому оно решительно отводило «все места, находящиеся к западу от Уральского хребта» (слова Гришина-Алмазова). Кадет Пепеляев расшифровал это несколько неопределенное выражение, открыто предложив избрать местом будущего совещания Челябинск. К Челябинску склонились также симпатии казаков, с.-д. группы «Единство» и Областного Правительства Урала.

Так как однако Комитет и поддерживавшие его элементы (с.-р., меньшевики, н.-с., малые национальности) решительно возражали против сибирского захолустья, не без основания опасаясь, что черносотенное офицерство по-просту может там переарестовать и перестрелять членов совещания, то Авксентьев и другие члены «Союза Возрождения», стремившиеся играть роль примиряющего центра, в качестве компромисса предложили г. Уфу. Компро-

мисс был принят, при чем его можно было рассматривать, как победу Комитета: ведь Уфа находилась на «территории Учредительного Собрания».

Еще более острое столкновение возникло по вопросу о составе государственного совещания. Молчаливо было признано, что на совещание в Уфе будут допущены все те, кто допущен на совещание в Челябинск. Поэтому приобретал чрезвычайно важное значение вопрос о мандатах присутствовавших в Челябинске делегаций. Некоторые из мандатов были оспорены. Сюда относились мандат Областного Правительства Урала, в реальности существования которого многие сомневались, мандат с'езда земств и городов, как органа, не являющегося ни партией, ни правительством, и, наконец, мандаты башкир, киргизов, тюрко-татар и других «инородческих» об'единений. Для проверки мандатов была избрана специальная комиссия, в которую вошли по одному представителю от делегаций, признанных бесспорными (всего 12 человек); и вот то, что разыгралось на заседании мандатной комиссии, давало уже некоторое предвкушение о столкновениях, предстоящих в Уфе.

Председателем комиссии в интересах «беспристрастия был избран представитель народных социалистов, как—группы, занимающей более центральное положение. От эс-эров туда входил Зензинов, от меньшевиков—я, от кадетов—Пепеляев, впоследствии министр Колчака, вместе с Колчаком расстрелянный в феврале 1920 года в Иркутске, от Сибирского Правительства—генерал Иванов-Ринов, прославившийся в 1916 году уничтожением туркестанского города Джизака за отказ его населения итти на тыловые работы на фронте.

Теоретически в тот период я вполне признавал необходимость коалиции с буржуазными элементами для борьбы с большевиками. Но, признаюсь, когда в мандатной комиссии мне пришлось сесть за один стол с Ивановым-Риновым, у меня кошки заскребли по сердцу. Однако, сказавшим а приходится сказать и б. И было смешно, конечно, если бы, пойдя на Челябинское совещание, я стал бы уклоняться от непосредственной встречи с сибирским генералом.

Комиссия начала свои работы, и тут разыгрался один чрезвычайно острый инцидент. Мандаты Областного Правительства Урала и с'езда земств и городов были очень быстро утверждены, но зато мандаты «инородцев» встретили бешеную атаку со стороны превой части комиссии, в особенности, со стороны Пепеляева и Иванова-Ринова. Пепеляев усиленно доказывал, что «инородцы» всегда были лишены государственного духа, что по существу они являются элементом, враждебным российской державе, и что, поэтому, их допущение на совещание по организации центральной власти нежелательно. Иванов-Ринов энргично поддерживал Пепеляева, ссылаясь на свой опыт в Туркестане и Сибири, и, под конец, стукнув кулаком по столу, выразительно закончил:

— Инородцев надо держать в ежовых рукавицах!

Я решительно напал на Пепеляева и Иванова-Ринова. Я резко критиковал их отношения к малым национальностям. Спор с каждой минутой все больше разгорался, и собрание мало-по-малу принимало вулканический ха-

рактер. Уже послышались личные выпады, уже прозвучали крепкие слова. Председатель, желая ввести дебаты в парламентское русло, поднялся с своего места и, обращаясь к особенно волновавшемуся Пепеляеву, примирительно начал:

— Товарищ Пепеляев, ради бога успокойтесь!

Пепеляев вскочил, как ужаленный, и во все горло заорал:

— Я вам не товарищ! Прошу не забываться!

Выпад Пепеляева подействовал на меня, как удар хлыста. Я вскипел и, бросившись к кадетскому представителю, угрожающе закричал:

— Да, вы нам не товарищ! Прочь отсюда!

Собрание пришло в полное смятение и, казалось, вот-вот будет сорвано. Однако, усилиями председателя и некоторых других, более нейтральных членов комиссии, спокойствие постепенно было восстановлено, и работа возобновилась. В конце концов, и по этому вопросу победу одержала левая сторона: все «инородческие» мандаты были признаны.

Когда таким образом два важнейших вопроса—о месте и составе государственного совещания—были решены, по третьему вопросу—о сроке его созыва—уже легко было достигнуто соглашение. Государственное совещание должно было собраться в Уфе 1-го сентября и не расходиться до тех пор, пока не будет создана единая «всероссийская» власть. Так гласило челябинское постановление.

Обратный наш путь (из Челябинска в Самару) совершался уже не в столь торжественной обстановке, как передний. В Челябинске же окончательно выяснилось, что черная сотня организуется и представляет уж довольно внушительную силу. Окажется ли в состоянии «демократия» совладать с черной сотней? Сумеет ли она обезвредить белых генералов? Окажется ли победительницей на предстоящем уфимском совещании? Сомнение было заброшено в душу сторонников Комитета, и будущее рисовалось им уже в гораздо менее радужных красках, чем раньше. В частности, я сам, именно во время этой обратной поездки, решил елико возможно ускорить проведение закона о восьмичасовом рабочем дне (о нем я уже писал выше), рассчитывая, что эта мера, укрепляя положение Комитета в рабочих массах, тем самым усилит его позицию на уфимском совещании.

Один неприятный инцидент окончательно испортил настроение нашему поезду. В Златоусте в вагон Вольского вошел полковник Галкин и с несколько сконфуженым видом заявил:

— Нам придется здесь несколько задержаться.

— Почему?—раздалось со всех сторон.

— Потому что на линии между Уфой и Самарой не все благополучно... Появились какие-то банды.

И, слегка усмехнувшись, Галкин не то серьезно, не то иронически добавил:

— Если бы это был простой воинский поезд, можно было бы рисковать. Всегда найдется замена. Но если мы потеряем пассажиров этого поезда, заменить их будет нельзя. Поэтому советую подождать.

Некоторые предлагали тем не менее ехать, но большинство склонилось к мысли, что лучше действительно задержаться. Поезд наш простоял в Златоусте около полусуток, потом столько же простоя в Уфе, и лишь с опозданием в 36 часов вышел, наконец, в Самару.

На рассвете среди степи поезд внезапно остановился. Все спали сторожно и, потому, тотчас же вскочили со своих мест. Я вышел из вагона и вместе с полковником Галкиным и несколькими членами Учредительного Собрания направился к паровозу. Солнце еще только подымалось и в воздухе господствовала сыроватая, предрассветная мгла. Около паровоза стоял сторож ближайшей железнодорожной будки и горячо жестикулировал, рассказывая машинисту, что еще только вчера вечером здесь стояли красные части. Они покинули линию железной дороги несколько часов назад и должны были сейчас находиться на расстоянии каких-нибудь десяти-пятнадцати верст отсюда. Действительно, в разных местах, неподалеку от железнодорожного полотна, тлели угли еще не совсем догоревших костров, валялись об'едки пищи и обломки крестьянских повозок. Ясно было, что здесь совсем недавно находился военный лагерь.

Впоследствии я узнал, что «банды», о которых говорил полковник Галкин, были партизанским отрядом Каширина и Медведева, состоявшим главным образом из уральских рабочих. Этот отряд, насчитывавший около трех тысяч человек, прорвал комитетский фронт и пересекал «территорию Учредительного Собрания», направляясь к северу на Каму, где стояли советские войска. К счастью для Комитета, этот отряд не знал, какой поезд приближается к месту его расположения, иначе нам было бы не сносить своих голов. Охрана нашего поезда была совершенно ничтожна и захватить его не представляло никакой трудности.

Судьба, однако, на этот раз решила иначе. «Поезд Учредительного Собрания» благополучно прошел на волосок от гибели, но в Самару мы все явились в очень подавленном настроении.

(Окончание следует).

„С котомкой".

Вяч. Шишков.

(Окончание).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Гнилая челюсть и здоровые клыки.—Революция.—Стрелка времен.—«Когда будем летать, как галки...».—Шулер. Придут сильные.—Горе неудачника.— Но все ж—мужик.—Маята.—«Вперед!».

С солнцем все повеселело. В полях копошился народ. Яровые, лен, овес, гречиха, каждая полоса по-своему украшала землю. На желто-зеленом фоне спелых хлебов темнели рощи и перелески. Раз, два, три, а вот еще хутор. Куда ни взглянь—торчит в одиночку крестьянская изба со службами. Деревни редеют. Избы, как зубы, вырываются с корнем из наболевших десен и внедряются на новые места. Нашему мужику надоело пережевывать жвачку гнилыми челюстями. Он боится, чтоб и его здоровый зуб не загнил. С корнем, вон! Он предпочитает обходиться со своим, хотя единственным, но крепким волчьим клыком, чтоб пища попадала в собственный желудок, и чтоб не вязла между зубами дрянь. А вот и другие зубы вырастают: еще хутор, еще, еще много. Простор и воля—думает мужик. И новая мужичья челюсть крепнет.

Дантист появился еще задолго до революции, но он работал тогда очень осторожно, робко, козьей ножкой. Теперь же в ручищах у зубодера железные клещи: вырывает целыми деревнями. Прошли мы одну деревнюшку—сплошной пустырь, словно провалившийся рот старухи: ямы в челюстях, где сидели избы, два колодца и три несчастных избенки по краям. Вот вам революция: тут все мертво, повержено, опрокинуто, выкорчевано с корнями: валяются гнилые бревна, черепки, доски, мусор, разбитые кирпичи, дохлая собака, расплющенный в лепёшку кот с веревкой на шее, кучи навоза, отбросы, грязная рвань, тряпье. А где-то—вот за той рощей, и на пригорке, и у речки, строится новое—пока во имя собственной утробы, а там видно будет: паровоз истории мчит, куда надо, глаз машиниста зорок, и рука тверда.

Слышно, что и в губерниях центральной России происходит такая же ломка деревни. Не знаю, так ли это? А вот в Петербургской губернии видел лично. Деревня взорвалась, избы летят вверх и широким веером падают на новые места, где им и быть надлежит. Мужик перестал бояться разбойников, колдунов, привидений, леших, всей той нечисти, которая загоняла его в муравейник, в хлев, в деревню, и желает жить на свободе, человеком: против разбойника — топор, а чорт из болота вылезет — в плуг его, подлеца, пахать!

Ближайшие пятьдесят лет изменят лик мужичьей деревни до неузнаваемости. От многих сел останутся лишь церкви, да поповские дома, а иные села превратятся в города.

Так шли и рассуждали мы с Кузьмичем. А навстречу человек, стекольщик, возвращается из соседнего совхоза. Оказывается—крестьянин, костромич. Ну, как тут не погуторить. Присели.

— У нас, в Костромской, все по-старому, на хутора не выезжают. Нам никак нельзя, потому все мужики на летние заработки уходят в Питер да в Москву. Дома одна баба. Какой же тут хутор может быть? Обстоятельства препятствуют. Вот в чем суть. Еще сотню лет не вылезти из деревни. А в бывших поместьях у нас работают коммунары из безземельной беднота. Только у них не выходит ничего, мир не берет, такая свара—страсть! Многие бросили, на фабрики ушли. Впрочем, у нас вот какая реформа в деревне: с узкополосицы на широкую полосу перешли.

— Как так?

— То есть, передел земли. У кого, скажем, в поле было тридцать полос, соединили в пять, у кого десять, соединили в две. Так сподручней.

* * *

Шагаем дальше. Все те же поля и перелески. Небо спокойное, чистое, и воздух неподвижен. Взлобки, увалы, суходолы. Солнце снижается. Тишина. Мысль уходит в прошлое, переводит стрелку времен к началу Руси.

Лязг мечей и топоров, свист стрел, бесконечные костры пожарищ, всё окутано дымом и ужасом. Новгородские ватаги десятилетие за десятилетием продвигаются к берегам Балтики. Осевшее здесь финское племя пружинит. Но славяне, как лавина с горы, ползут вперед, все подминая под свой лапоть. А навстречу седая волна: с севера—шведы, с запада—литва и немцы-меченосцы. И вот две волны—вражья и наша—схлестнулись в шипящий вал. Запылали целые селенья, запахло порохом, болота и хляби начинялись человечиной, как рубленым мясом пироги, от топота копыт гудела земля, и небо день и ночь было черно от дыма. Новгородские пятины слали и слали людей на смену убитым. И вот русский липовый лапоть в конце концов победоносно расселся здесь, возле озер и речек. Немые курганы—эти страницы седой старины—разбросаны то здесь, то там, среди лесов и пашен. Они ждут просвещенного чтеца с искусной лопатой и широким знанием.

— Вот, представь себе,—говорит мой спутник,—что ты навсегда ушел из города к этим полям, лесам, к этим людям, и никогда в город не возвратишься. Как бы ты чувствовал себя?

— Я бы чувствовал себя повернувшимся спиной к солнцу и уходящим от солнца в мрак.

— Ты бы не мог этого сделать?

— Нет.

Спутник молчит, думает, на лице его грусть.

— Жаль,—говорит он.—Конечно, это был бы подвиг. Подвижники так редки теперь. А прежде были. Я знал учителей, учительниц, врачей, которые уходили в народ и там помирали, отдав народу всё. Теперь остались на долю мужика только наемники и люди без всяких нравственных устоев. Город грабит деревню и материально, и духовно. Все наиболее способное, талантливое стремится из деревни в город, порывая с деревней навсегда. Что же будет с нашим мужиком? В чем его спасенье от тьмы, от нищеты?

— В воздухе.

Он вопросительно взглянул на меня, по серьезному улыбаясь.

— Очень просто,—легкомысленно сказал я.—Когда люди научатся летать, как галки, весь уклад жизни перевернется вверх дном. Воздвигнутая экономической необходимостью стена меж деревней и городом окажется слишком низенькой, чтобы с ней считаться. И два враждующих, или, если хочешь, чуждых друг другу стана—примирятся, сольются вместе. Настоящий свет примчит в деревню воздухом. А стремление жить в чистоте, с глазу на глаз с природой перетасует мужиков и горожан, как колоду карт.

— Не хочешь ли ты этим сказать, что город все время об'егоривал деревню, как шулер, и карты у него были крапленые?

— Вот именно. Это самое и хочу сказать. А впоследствии игра будет в ничью. Хотя, вообще-то говоря, игра в ничью мало интересна.

Долго бы философствовали мы в чисто-русском стиле, и, конечно, залетели бы в небеса, но вот пред нами деревня Рогулька. Вспаханные полосы. Камнищи и камни покрывают пашни. Навстречу, дубом в телеге, едет старик.

— Дедушка,—говорит агроном.—Почему же вы сотни лет сидите на земле и не можете очистить ее от камней?

— А поди-ко очисти сам,—отвечает дед.—Эвот какие валуны. Сила не берет. Вот вы помоложе, возьмите, да и постарайтесь, ежели желательно.

— А как же хуторяне чистят? Там все прибрано, камни при дороге, в кучах.

— Сказано, сила не берет,—уезжая, бросает старик.

Агроном вдогонку кричит:

— Если вы бессильны, то на ваше место придут сильные люди, выгонят вас вон и очистят землю! Так и скажи мужикам.

Дед оглянулся и послал нас в самое свиначье место.

Спрашиваем в деревне тетку, как пройти в Озерки. Она об'ясняет и осведомляется, не торгуем ли мы сахарином. Встречаем попутчика в веревочных лаптях. Сухой, кривоплечий, бороденка пустяковая, и покорно-испуганный взгляд—типичный неудачник. Так и есть. Надо пахать, а у него околела единственная лошадь. Идет по деревням, хочет приобрести хоть какую-нибудь клячу. Подходим к группе крестьян—ладонь на гумне чистят—готовятся к молотьбе.

— Не знаете ли, где коня купить?

— В нашей деревне нет. Правда, что были у Герасима, да у Чеснокова Оксена, продали недавно.

— За сколько?

— Да, кажись, за семьдесят пудов ржи Герасим-то отдал. А тебе на какую цену?

— Хлеба у меня нету,—говорит неудачник, и слезы на глазах.—А я отдал бы тулуп свой новый, да самовар, да у бабы шаль хорошая, ну, полсапожки отберу, плачет баба, а придется. Овсеца мог бы пудов десяток осенью прибавить, ежели хороший конь. Прямо разорюсь, ей-Богу разорюсь... Ах, Сивка, Сивка, как зарезала меня... Господи, Боже мой! И не подняться теперь будет. Братцы, что же это такое, жизнь-то какая чижолая...—И он засморкался в полу рваного армяка.

— Ты перебился бы пока что. У тебя поле-то вспахано?

— То-то нет.

— Может, соседи дадут попахать коня-то. Разве возможно время упустить?..

— Да нешто у нас дадут. Народ самый несогласный. Другие радуются, что несчастье у меня... Эх.

— Нету, милый, нету... А шагай-ка ты на хутор, к латышу, Карла называется; кажись, у него есть продажный конь. Так надо полагать, что есть.

Прощаемся и идем. Неудачник с нами. Он идет емко, нужда хлещет его в три бича, он и так путается целую неделю, с'ел весь запас и питается теперь подаянием.

* * *

Вот грохочет речка. Это через открытые щиты плотины бьет вода. Сквозь темнозеленый бордюр кустов виднеется противоположный кровавокрасный берег. Мельница, а через дорогу—дом мельника—латыша. Почти все мельники здесь—латыши или финны. «Они специальнее нас», не без зависти говорят про них крестьяне. Мельник всегда у хлеба, живет зажиточно: сыт и, если б хотел, был бы ежедневно пьян. Но латыши—люди скромных правил, напиваются лишь по воскресеньям, в остальные же дни предпочитают готовить самогонку, так сказать, для экспорта.

Дом чистый, тюлевые занавески, рыжая курносая женщина выбивает ковер. В луже развалилась свинья с поросятами. У мельницы очередь подвод. Меж возами мелькает рыжая борода мельника.

Вода перед плотиной черная, ниже—в белой пене, на свободе,—вся по-

зеленела—от злости, иль от радости—не знаю. В осоке полощутся утки. Селезень привстал на воде, как на паркете, захлопал крыльями, потянулся весь и закрякал. Дорога по крутой горе сразу вверх. Внизу и в полуоткосах—окопы. Остатки колючей проволоки болтаются на кольях. Земля на этом месте наверное пила недавнюю русскую кровь. На крови вырастет красный цветок. Его сорвет девушка, и не будет знать, чем питались его корни. Девушка сделается матерью, родит сына, Илью-богатыря. И только сын поймет и по-настоящему рассудит дела отцов. Проклянет, *или благословит?* Конечно же, благословит. Потому что он Илья, мужик и богатырь, хозяин.

Идем, идем, присаживаемся, отдыхаем, опять идем. В сущности, не идем, а ползем червями. Но это не раздражает. Если б я умел летать, я все-таки предпочел бы итти до изнеможенья, чтоб лучше высмотреть, ощупать руками жизнь, чем вспорхнуть и в три взмаха крыльев быть на месте. Говорю к тому, что бродить по России, и обязательно пешком, в наше время необычайно интересно и поучительно. Я первый раз иду по свободной земле, по Российской Советской Республике, первый раз встречаю свободного мужика, русского республиканца. Но республиканца я не вижу в нем, стараюсь искать, стараюсь внушить себе, что это всамделишний республиканец, но все же передо мной — мужик. Понюхаешь его справа — пахнет стариной, нюхнешь слева—наносит чем-то непонятным. В общем—современный крестьянин для меня большой знак вопроса. Мысли его все в узелках, в обрывках, как спутанные нитки, надежды его померкли, он движется своей дорогой, как пущенный с горы пень по откосу, вниз, к земле. Ему надо всё сразу, вот сейчас, как в сказке, и руки протянул: давай! История же наградит хорошей судьбой, может быть, только его потомство. *Может быть*, потому, что все надо заслужить, преодолеть. Когда он дождется истины, что дважды два—четыре, да руками эту истину ощупает, когда жирком благополучия покроется его утроба, он скажет:

— «Вот, братцы, оказия-то... А ведь я республиканец по всем статьям! Не сон ли? Мадам—жена, Лукерья, ну-ка, ущипни».

* * *

Идем сосновым бором. Пахнет смолой. Под ногами песок, и канатами протянулись корни. Навстречу попадаются пешеходы с узелками: это запоздавшие тащут на пункт масло. Догоняет молодой крестьянин, Иван Зуев, знакомый агронома. Возвращается с пункта.

— Эх ты, Боже мой, замучили нас маслом-то совсем,—говорит он и спрашивает:—Ну, что, Кузьмич, как слыхать про власть? Укрепилась, что ли?

— Конечно, укрепилась.

Иван Зуев молча идет, упорно смотрит в землю. Потом крякает, бросает под нос ругань и говорит:

— Что ж, значит надо начинать работать по-настоящему, в сурьез? Как следует?

— Давно пора.

Он молчит, вздыхает, потом с горестью:

— Видно, придется...—Еще раз вздохнул, и с жаром:—Ну, что ж, работать, так работать. Ежели б мужик уверился, что больше ни переворотов, ни войны не будет, он сильно бы на работу бросился. Уж очень наскучила вся эта маята.

Солнце совсем низко. Вновь открылись поля. На камне пастух, дудит в берестяный рог. Коровы и овцы сгрудились, ожидают взмаха кнута и окрика. Пахнет молоком.

В поле зрения сразу три деревни. Средняя—это Озерки.

Озерки—зрелище печальное. Разрушение, словно после боя. Здесь, действительно, были продолжительные бои, но главная причина опустошения—это уход хозяев на хутора. Вот одноэтажный кирпичный домик. Нам навстречу черный пес. Двусмысленно крутит хвостом, но уши поджаты и предательски-лукавые глаза. Мы шли гуськом. Троих передних пропустил, слегка оскалив зубы, а на меня бросился с лаем и рванул за сапог. Я лихо огрел его котомкой. Из котомки потекло молоко, разбил бутылку. Вот чортов пес!

Обратились к молодухе:

— Эй, красавица! Как пройти в училище?

Она сначала осведомилась, чем мы торгуем, нет ли сахарину, или пудры с румянами, или мыла, может быть, ленточки, потом разочарованно:—Ах, вот вы кто,—и пояснила, куда итти.

— Кланяйтесь Марье Михайловне, учительнице-то. Мол, Даша кланяется. Ох, и хорошая женщина. И ребятишки, и мы все без ума ее любим... Вишь ты, бросать нашу школу-то собирается. Отговорите вы ее, ради Бога.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Две дамы.—У кого что болит...—Туманы.—Собрание.—Отец Степан и братья Гусаковы.—Притча о талантах. «Не человеки мы».—«Обаранившийся лев».—У отца Степана.

Школа стоит на пригорке, возле самой деревни. Это одноэтажный поместительный деревянный дом с мезонином. Сзади—деревня, налево—нивы, направо—лесок. Перед домом, по зеленой луговине—сад: тощие маленькие яблони, смородина, цветы. Пожилая женщина, не крестьянка, окапывает деревья.

— Вам, господа, кого?

А с террасы голос:

— А! Александр Кузьмич! Вот не ожидала.

На террасе высокая молодая дама. Красивое лицо ее по-деревенски смугло и румяно. Это Марья Михайловна.

Кузьмич еще в дороге рассказал ее биографию. Она была сельской учительницей, кажется, в Тамбовской губернии. В нее влюбился помещик, чело-

век высокого положения, очень богатый, начинавший делать карьеру при дворе. Бедная девушка становится богатой барыней. В дни революции муж гибнет, имение с великолепными палатами, парком, прудами, оранжереями переходит в собственность Республики, и знатная барыня, баронесса такая-то, вновь становится скромной Марьей Михайловной, безвестной учительницей школы первой ступени, с тою только разницей, что теперь у нее, кроме вдовства, пара ребят, девочка и мальчик.

Идем в ее половину. Поразительная чистота и милый, простой уют. На стене детской рукой начерченные карты звездного неба. Это ее сын, десятилетний Стива, увлекается теперь астрономией. Он может нарисовать с закрытыми глазами все созвездия, но не умеет отыскать их в небе, они такие там не похожие; он часами рассматривает с вышки в бинокль ночное небо и уверяет всех, что открыл новую туманность.

А вот и он сам, астроном и мечтатель, быстрый, черноглазый Стива. Мы с ним крепко познакомились, гуляли вместе, говорили по душам. Ему ничего не жаль в прошлом, маме—жаль, мама частенько плачет, он же верит в будущее, он сделается ученым, будет летать по воздуху, и, может быть, заберется вон на ту звезду.

— Я очень хорошо изучил воздухоплаванье,—с гордостью говорит он.— Я вам покажу чертежи. Почти сделал модель, да сторожиха по ошибке разожгла ею печь. Такая досада!

Его шестилетняя сестренка Ниночка тихая и ласковая, как котенок.

Сторожиха вносит самовар. Это бывшая прислуга бывшей баронессы, она не пожелала покинуть Марью Михайловну. И вот обе делят участь.

Мебели мало. Кузьмич усаживается на каком-то ящичке и не знает, куда девать ноги.

— Чей это дом?

— А той старушки, которая копается в саду. Она тоже учительствует здесь, и мы живем коммуной.

Легкая на помине—входит Софья Петровна. Знакомимся. Седая, среднего роста старуха.

Завязывается общий разговор. Лицо Софьи Петровны все время подергивается, словно она гримасничает,—больно и неприятно смотреть.

У них нет сахара. Кузьмич достает из торбы перемешанный с хлебными крошками сахар. Глаза ребятенок загорелись. Ниночка делает губки бантиком и прижимается к маме.

— Ужасно трудно жить,—говорит та.— Сами-то туда-сюда, а вот жаль детей.

Софья Петровна, удерживая гримасу, смиренно говорит:

— Надо терпеть.

— Особенно тоскливо зимой,—жалуется Марья Михайловна.—Как закрутит на целую неделю метель. По ночам волки воют. Да и днем-то неохота выходить. А в школе холод, тьма. Если б хоть лампочка была какая, а то вот с этим ночником сидим. Читать невозможно, так и бьемся впотьмах. Тоска.

Как вспомнишь про Питер, про прежнюю жизнь, ужасное отчаянье охватит. Все, все отняла у меня революция, и если б не дети...

— Вы можете огромную пользу оказать деревне,—перебивает агроном.—Если уйдете в дело с головой, в этом найдете удовлетворенье и смысл жизни.

— Не могу.

— Почему?

— Я не люблю ни крестьян, ни их детей. Когда-то любила, теперь не могу. Хочу принудить себя к этому, но душа вся целиком отворачивается от них.

— А между тем вас крестьяне любят,—замечаю я.

Марья Михайловна улыбается, и улыбка ее горька.

— Так ведь я стараюсь, я все делаю, что в моих силах, но делаю без любви. Я отношусь к своим врагам честно, но любить врагов мог только Христос.

Она откидывает темные волосы и горестно прижимает к груди Ниночку.

— Мы отщепенцы, мы все на подозрении,—брюжжит старуха, и седая голова ее трясется.—Подозревайте, но не давайте подыхать с голоду! Вот Фадеев, учитель—ходит по миру. Неделю сбирает, да неделю учит. А Петров, многосемейный учитель, тот вынужден был самогонкой торговать. На что это похоже!

— А когда мы, приезжие учителя, заговорили на с'езде о забастовке, потому что ни пайка, ни жалованья,—говорит Марья Михайловна, — тогда местные учителя испугались—вдруг в рабоче-крестьянской Республике и забастовка!—На нас посыпались доносы, что мы белогвардейцы. Ложь!—вскрикивает она.—Никогда мы белогвардейцами не были и не будем! Мы ведем дело получше их. А им хорошо не бастовать. Они местные люди, зажиточные крестьяне, своя земля, хозяйство. Бедняк-мужик, конечно, не вывел бы своего сына в учителя.

— Марья Михайловна,—сказал агроном,—я завтра хочу собрать здесь местных крестьян и организовать сельско-хозяйственное товарищество. Кто здесь из крестьян наиболее передовой, крепкий, энергичный?

— Да без Петра Гусакова не обойтись,—враз ответили обе учительницы.

— Я сейчас схожу за ним, он рядом,—добавила Марья Михайловна и поднялась.—Это бывший торговец, его тоже разгромили, едва не расстреляли, но теперь он с властями хорош. Человек-деляга.

Через полчаса явился Гусаков. Среднего роста, в пиджаке и высоких сапогах, коротко стриженная бородка и большие рыжеватые усы. Картуз надет глубоко, из-под блестящего козырька глядят умные, пронырливые глаза. Он похож на прасола уездного городишки. Говорит уверенно и держит себя с достоинством.

Да, это дело хорошее, общественное, он понимает и сочувствует, он подберет семь человек учредителей, как полагается по уставу, и прежде всего, конечно, местного священника, отца Степана, он сейчас же их всех опо-

вестит, чтоб завтра утром были здесь, и сегодня же направится в волисполком получить на открытие собрания мандат.

— А отца Степана обязательно тащите,—сказал агроном.—Мне очень нахваливал его председатель волисполкома Тараканов: это, говорит, наш поп, самый замечательный, его утвердим в правление товарищества беспрекословно. Наш поп, красный. Вот попа Кузьму погодим, его лучше, говорит, и не ворошите, к старине, кутья, тянет.

— Почему ваша деревня называется «Озерки»?—спросил я Марью Михайловну.

— А вот пойдемте.

Мы пошли за нею через классные комнаты, набитые партами, пустыми шкафами и поднялись на вышку.

Перед нами, в полуверсте от школы, тихо лежало огромное озеро. Снизу не видать его. Оно оковало себя остропиким кольцом лесов и не любит человека. Еще недавно утонули двое, застигнутые непогодью. И каждый год оно глотает людей. В небе бледные звезды и месяц. Серебристо-голубая дорожка от берега к берегу перехвачена посредине черной таинственной тенью острова. На острове в старину стоял монастырь. Его история присутствующим неизвестна. От обители не осталось никаких следов, только две или три иконы хранятся в церкви отца Степана. Говорят, будто бы в пасхальную ночь благочестивые старухи слышат с озера колокольный звон.

Тишина. Крякают в камышах дикие утки. На острове горит костер, и по голубоватоблёклому фону лунной ранней ночи сизым кивером загибается к нам дым. На закрайках отдельными клочьями рождаются туманы. Луна плещет сверху голубым, туманы растекаются, и вот встает большой туман. И озеро призрачно, и остров, как призрак; только бельмастый глаз костра всё еще бросает свои вихри навстречу туманной мгле. Но и он ослабевает, прищурился, мигнул, потух. Кругом бело.

* * *

Спали мы на сеновале, в душистом сене. Ночью бегала мышь по мне. Кузьмич проснулся рано. Вот он второй раз взбирается по сколоченной из палок лесенке и трясет меня за плечо:

— Пора! Крестьяне подходят. Скоро откроем собрание.

На терраce, действительно, с десяток людей. Стол, бумага, чернильница, несколько книжек с уставом.

Петр Гусаков, по праздничному одетый, возбужденно разговаривает с каким-то стариком. На полу, в сторонке, дымит трубкой брат Гусакова. Он одет очень бедно, в лаптях. Был богатым торговцем, делал большие дела, а во время гражданской войны ушел вместе с белыми, нагрузив товарами и имуществом семь возов. И всего этого, конечно, лишился, вернулся гол, как сокол, приходится начинать трудовую жизнь.

— Вон батя идет.

Ловко перемахнув через изгородь, подходит к нам в белой холщевой

рясе отец Степан. Веселое молодое лицо с черной бородкой, соломенная шляпа тарелочкой сдвинута на затылок. Быстро здоровается со всеми за руку и садится на перила.

Агроном открывает беседу. Половина стояли за открытие товарищества, половина—против.

— Как же так, граждане,—говорит Петр Гусаков, пошевеливая правой рукой, и бросая взгляды на Марью Михайловну.—Необходимо организовать. Что же мы за никудышные такие.

— Ничего не выйдет!—с каким-то отчаянием выкрикнул его брат.— Какой у нас народ.

— Выйдет!—настаивал Петр Гусаков.—Как же кооператив работал у нас очень хорошо. Я ж сам заведывал.

— Дак-то раньше!—кричит на него старик.—Совсем другая цена была раньше человеку-то. А теперича вся жизнь—плевок.

— Да ведь плевать-то можно,—говорит молодой крестьянин, сплевывая на пол.—Да на что плевать-то? На себя же и приходится. Плевать всякий дурак умеет. А ты вот дело сделай.

— Правительство даст вашему товариществу в кредит сельско-хозяйственные орудия,—закидывает приманку агроном, посматривая на Марью Михайловну.—Между прочим, цель товарищества—улучшать породу скота. Я уже сговорился с заведующим совхозами. Вы приводите в совхоз какого угодно бросового бычишку, а взамен получаете молодого племенного быка.

— Племенного? Вот это дело,—говорит кто-то. Еще человек пять подошли. Один в фартуке, весь покрыт мукой и пылью, только что с пашни, сеял.

— В кредит ежели жнейки—тоже хорошо.

— Ничего не выйдет,—упрямится брат Гусакова.

— А самая главная цель товарищества,—говорит агроном, улучшать свое хозяйство, быть примером для других. Наша Россия чорт знает как отстала от заграницы.—И подробно рассказывает, как ведет свое хозяйство западный крестьянин, и как ведется оно у нас. Параллели ярки и убедительны. Слушатели—одни вздыхают и печально потряхивают головами, другие недоверчиво ухмыляются, или кричат:

— То немцы! У них в башке мозг густой. Им все дадено. А нам что?

— Мы теперь должны держать экзамен перед Европой,—возвышает голос агроном.—Должны напрячь все силы, показать, что наш народ может и умеет работать. Если мы провалимся, придет более сильная нация и сотрет нас с лица земли. Нельзя занимать землю тысячу лет, и ничего на ней не создать. Ведь теперь двадцатый век, люди летают по воздуху, а мы все еще сидим дураками и по старинке ковыряем землю. И помните, товарищи, что вас ждет жестокий суд истории. Вас осудят и дети ваши, и все человечество, как неспособных к труду, нерадивых лодырей! От вас потребуют строгий отчет. Вас тянут на хорошее, а вы упираетесь, вам...

— Детки!—вдруг крикнул отец Степан и порывисто соскочил с перил.— Вспомните притчу о талантах. Один человек призвал слуг своих, отдал им

свое именье: одному дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по силе его, и уехал. Получивший пять талантов пустил их в дело, и приобрел другие пять талантов; также и получивший два таланта приобрел другие два. А кому дал один талант, тот закопал его в землю. По долгом времени вернулся хозяин и требует у них отчета, точь в точь, как сказал гражданин агроном. И подошли получившие пять и два таланта и сказали: «Хозяин, вот мы на твое серебро еще приобрели столько же». Хозяин сказал им: «хорошо, добрые и верные люди. Над малым вы были верны, над многим поставлю вас». А взявший один талант сказал: «знал я, хозяин, что ты человек суровый, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, закопал талант в землю: вот тебе твое». Хозяин же сказал ему в ответ: «Ленивый и лукавый ты человек! Ты должен был пустить серебро мое в торг, и я получил бы мое серебро с прибылью. Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо радивому везде дано будет и преизбудет, от ленивого же отымется и то, что думает иметь». Поняли?—Черные глаза отца Степана горели, он отер потный лоб рукавом рясы.—Что значит хозяин? Это жизнь, или, если хотите, Бог. Вот хозяин роздал всем таланты: датскому мужику пять, немцу два, а нам, русским мужикам, один достался. Мы, что ж, в землю его? Ага? Нет, врешь! А суд-то хозяина жизни, суд потомства, суд истории, как сказал товарищ агроном? Давайте-ка и мы не зарывать свой талант, детки, а примемся за работу дружно, враз, по новому, по науке. Тогда нам еще дано будет и приумножится, а если спать будем, да глупые речи говорить, и последнее отнимется. *Англичанин на нас попрет, братцы, немец. А у нас хлеба нет*, армию нечем кормить, ничего не умеем. Шапками закидаем? Ха-ха! Стара песня. Молебнами? Нет, брат, врешь, Бога не обманешь. Бог, брат, труды любит. Ему, брат, настоящие труды подай, а свечки ставить—это для старух.

Отец Степан говорил резко и отчетливо, рубил воздух ладонями и тоже нет-нет, да и взглянет на Марью Михайловну. Она стояла в открытых, увитых диким хмелем дверях, как картина в раме.

Когда батюшка кончил, сел на свое место и закурил вертунок, народ молчал.

— Вам, батюшка, хорошо говорить,—первым раздался голос брата Гусакова.—Талант, талант. А ежели и таланту-то никакого нет?.. Нам взяться-то не с чего, совсем ослабли мы от войны, да от неурядицы. И на людей-то непохожи.

— Вот-вот,—подхватил старик.—Мы, как бараны, смирные. Я уж не про товарищество наше говорю, а так, про мужика. Сила в грудях заслабла.

— Веры, что ли, в себя нет, отец?—спросил священник, выпуская из вздрагивающих ноздрей клубы дыма.

— Да, да. То есть прямо, не человеки мы.

Тогда поднялся Кузьмич.

— А надо в себя верить,—тяжело передохнув, сказал он.—Надо всегда помнить, что ты человек, ты высшее существо, ты богоподобен. А если не будешь верить в свои силы, действительно обратишься в барана. Вот расскажу вам одну индийскую сказочку. Хотите, нет?

— Хотим, хотим! Как сказку не послушать.

Агроном зашагал взад-вперед и начал:

— Однажды пастухи убили львицу, а львенка взяли живьем и пустили в стадо овец. Львенок рос, и все овечьи повадки ему передались: овцы в сторону бросаются, и он с ними; передовой баран вперед идет, и он идет за ним с овцами. И так он вырос в большого льва, а между тем, был, как овца, труслив и жалок. Однажды на стадо напал старый лев. Молодой лев бежал вместе с овцами, поджав уши, весь об'ятый страхом. Старик настиг его, схватил за гриву и сказал: «Первый раз вижу, чтоб сильный, молодой лев убегал, как овца, от другого льва. Зачем ты бежишь?»—«Я боюсь, я овца». Тогда старый лев подтащил молодого к озерине и сказал: «Глядись в воду». Тот посмотрел.—«Теперь гляди на меня. Видишь, ты лев, а не овца!» Всмотрелся в него молодой лев, зарычал грозно на всю пустыню.—«Да, я лев!!»—ударил свирепо хвостом в бока, да как бросится на старого льва, в момент опрокинул его на спину. Вот какая сказка. Поняли смысл? Так и вы, привыкли считать себя баранами, да овцами, а на самом деле вы настоящие сильные львы и тигры!

— Ха-ха, вот так сказка!—зааплодировал отец Степан.—Обязательно в воскресенье в проповеди эту сказку расскажу.

— Вот так сказка,—засияли улыбками и крестьяне, и бодро зашевелились.

— Эта сказка дорогого стоит,—насмелился подняться и брат Гусакова.— Прямо цены нет сказке.—Он ударил лаптями в пол.—Ребята, соглашайся все! Иди к столу, подписывайся! Дед Захар, иди, чего мнёшься!

— Я что ж, я подпишу, крестик поставлю по безграмотству.

Народ двинулся к столу.

— Позвольте, позвольте, граждане,—остановил агроном.—Значит, все согласны организовать товарищество?

— Все, все.

— Тогда начнем с выборов, потом оформим, и я возьму документы для регистрации в город.

И началась обычная процедура. Кончили поздно, к обеду. Хотя день был ведряный, надо бы работать в поле, но никто не жалел. Председатель товарищества тотчас же отправился в волисполком представить на утверждение список выбранных должностных лиц. Оставшиеся, совместно с агрономом и батюшкой, долго обсуждали план предстоящей деятельности, постановили открыть прокатный пункт, опытное поле, выписать сельско-хозяйственных книг, газет, составили список, какие орудия и какие товары должны быть на складе—надо сахарку, селедок, особливо же махорочки — настоящую махорку с руками оторвут, ну, там кожи для подметок, еще чего?—уксусу, да не худо бы горчички, а бабам да ребятам леденцов, пряников, а стряпают ли пряники-то? чорт с ним, с пряником, лучше—ситцу нет ли? И потянулись к столу руки: миллион вступительный, два миллиона членский. Казначей, весь

облившийся потом, считал деньги и скрипел пером, рыжая борода его старательно двигалась за каждой буквой, как на поводу.

Батюшка пригласил нас на вечер к себе.

* * *

Тропа идет перелеском и луговиной, прямо к саду на горе. Сквозь листву яблонь виднеется приземистый церковный дом. Отец Степан торопится садом навстречу нам, кричит:

— Сюда, сюда, путешественники!—и ретиво разбирает звено изгороди, встряхивая черными, подрубленными волосами.—Пожалуйте, так ближе.

Идем садом.

— Вот обратите внимание,—останавливается он возле трех берез.— Белые грибы. Сам сею.

Из травы торчат десятка два белых, разных размеров.

— Вы нарочно натыкали,—смеется Марья Михайловна.

— Попробуйте, сорвите.

Я нагибаюсь, пробую, гриб сидит прочно.

Сад невелик, но густ и зелен. Меж яблонями и кустами ягод стоят десятка два ульев, окрашенных в голубое. Батюшка становится на колени, приподнимает козырек улья, и показывает нам, через вставленное стекло, жизнь пчел:

— Вот полюбуйтесь: большие—это трутни, а маленькие—работницы. Видите, они выгоняют трутней вон. Сначала отгоняют их от корма, и когда те с голодухи ослабнут—убивают их, а то так-то не справиться. Вот она коммуна-то где.

Усаживаемся на веранде за большим, сколоченным из досок столом.

— Двадцать человек питались за этим столиком,—говорит хозяин.— Сначала белые, а потом красные. Делов тут было—аяяй! Ежели все рассказать—целая книга будет.

И он начинает свой длинный, интересный и поучительный рассказ.

— Когда я приехал сюда священствовать, еще до революции, сразу же из поповской земли отдал пятнадцать десятин сторожу и псаломщику, у них земли было мало, а себе оставил только пять десятин, с меня довольно, ежели правильно хозяйство вести. Прихожане сначала протестовали: вся земля, мол, твоя, владей. Я ответил, что или будет по моему, или я уеду. Мне очень псаломщик нравился: смелый такой, работящий. Да мы бы с ним вдвоем чорта своротили, мы бы из земли чудес наделали. Каждую службу панихиду по нем служу, не могу забыть.

— Умер?—спросила Марья Михайловна.

— Белые, подлецы, убили. Передовой ихний отряд. Вон, возле мельницы, отсюда видно. Почти на моих глазах.—Батюшка задумался и сдвинул брови.—

Потом красные появились в окрестности. Мужики стали говорить мне, что красные меня убьют за псаломщика, они думают, что это я предал его. А его оговорил латыш местный: еще раньше чего-то повздорили они,—очень хороший случай отомстить. Вот под таким настроением я и ждал красных. Что, думаю, делать? Бежать с белыми, как многие делали, или остаться и принять смерть? Решил—останусь, и начал всех удерживать, а то мужики было на утёк пошли. Например, прибегает ко мне Петр Гусаков: «Батюшка, благослови с белыми бежать». Я как топну, да зыкну на него: «Домой! На месте сиди! Ни шагу!». Послушался, цел-невредим остался.

Батюшка затем рассказывает, как пришли красные, передовая разведка, самые головорезы, N-й батальон. Действительно злоумышляли разграбить его и убить, но как-то случай спас, и они в конце концов так сдружились, что жили лучше родных братьев. Красноармейцы стали говорить: «Поп или большая сволочь, или очень хороший человек», и вскоре остановились на последнем. Тогда всё круто изменилось. Солдаты, всё молодежь, крестьяне и рабочие, сами таскали воду, топили баню, стряпали, чуть ли не доили коров.

— Вот что я вам скажу: лучше этого народа и нет. И командный состав, и солдаты. А белые—шушера.

Батюшка рассказывал увлекательно, в лицах, менял голос, мимику, принимал позы, выбегал в сад или за ограду, чтоб показать, где стояли пулеметы, где белые чинили расправу.

Я не хочу загромождать эти беглые очерки рассказом священника. Сообщенные им факты и характеристики так интересны, что могут лечь в основу отдельной беллетристической работы.

Когда пили после обеда ячменный кофе, он сказал очень смущенно:

— А все-таки грех на душе у меня. Дрянно вышло, ох, дрянно... Но я совершенно не ожидал. Пропали в кухне мои карманные часишки, на полке лежали. Красноармейцы сметили, что я ищу, пристали, скажи да скажи, что пропало? Ерунда, говорю. Однако, принудили, сказал. Через полчаса приносят: Твои? Мои, мол. Слышу, в саду караул кто-то кричит: «Караул, не буду, не буду!». Оказывается, вора старший розгами порет. Тот ко мне, в ноги: «Батюшка, прости». А в это время командир верхом приехал. Я, конечно, тотчас же простил, а командир мне: «Вы, батюшка, прощаете, это ваше дело, а наша дисциплина не может простить. Это питерский хулиган с Горячего поля, он седьмой раз попадается в безобразиях разных: двух женщин изнасиловал, воровал, казенные деньги растрачивал. Его условно присудили к расстрелу. Он неисправимый. Только красную звезду марает. Ведите его! Если тебя, говорит, белая пуля не настигла, так красная найдет». Его увели, я обомлел весь, трясусь, слышу: бац-бац. Должно быть, его... Я и не расспрашивал потом. Вот какая дисциплина.

Было темновато, мы направились во-свояси. Отец Степан провожал нас.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

«Побойся Бога!» — Изобретатель. — Погост. — Хмель. — Русская старуха.— Больница.—Обвинительно-оправдательная речь Степана Степановича и его заключительное слово. — Отрадное явление. — Мы.

Что же рассказать еще? На обратном пути интересного было мало. В полях по-прежнему копошились люди, и по-прежнему, с кем ни заговори, все жаловались на большой налог. Сбить крестьян, доказать им всю необходимость налога—невозможно. Их возраженья сводились к одному: «Подохнем с голоду, вот увидишь, а не увидишь, так услышишь».

Здесь пашут женщины, мужчинам не доверяют. А сеют мужчины—не доверяют женщинам.

Зашли на хутор к бестолковому человеку. Перебрался сюда восемь лет тому назад, а избенка все та же собачья конура, хотя лесу кругом сколько угодно, живет бедно, молодая жена, сухая, как доска, в рванье, сам—в лаптях. Он зимами трется в Питере—хлебопёк. Местность заболоченная—лень прокопать канавы.

— Да чем их копать? У меня и лопаты-то нету.

Направил нас не по той дороге, и мы сделали лишних пять верст.

Из 56-ти дворов деревни Марьиной, которая попалась нам на пути, нынче осенью сразу выезжают на хутора и отруба тридцать пять хозяев. Между прочим, нам рассказали такой курьез. Восемь человек наиболее энергичных хозяев этой деревни решили соединиться вместе и работать коммуной. С этой целью они выбрали себе подходящий участок. А богатей Петр Каблуков, пожелавший иметь самостоятельный хутор, дал взятку заведующему волостным земотделом, и тот назначил ему самый лучший участок, входящий клином в землю коммунаров.

— Разве это возможно?!—возмутились те.—Ведь ты своим хутором нашу землю пополам рассек. Чрез твои поля, что ли, нам ездить-то?—и дали земотделу взятку посолиднее, при чем поили его целую неделю самогоном. Земотдел, очухавшись от попойки, первое свое распоряжение отменил, и назначил Каблукову землю где-то в стороне.

— Побойся Бога!—взмолился тот.—Я ли тебя не ублажал!

И стал поить земотдела, пообещав ему телку годовалую:

— Только, пожалуйста, на прежнем месте оставь.

Тогда восьмеро порешили:

— Вот что, ребята.—Мы все-таки свое возьмем. Сложимся по овце, да к председателю, а нет,—так и в город. Вари, ребята, самогон! Земотдела все-таки ублажать надо.

Оригинальная тяжба эта еще в полном разгаре. Интересно, чем она кончится: околеет ли земотдел от пьянства, попадет ли он под суд, или все завершится полюбовно.

* * *

Шли настоящим дремучим лесом. Александр Третий приезжал когда-то сюда охотиться на лосей. Поздний вечер захватил нас возле бывшего приюта для калек, обращенного теперь в школу.

Про эту школу крестьяне говорили:

— Ране то школа была хоть куда, да бабы чего-то не поладили, то-есть женщины. Лидия Алексеевна и теперича живет, учительствует, а другая, жена учителя—инженер был учитель-то,—выехала с мужем. Из-за тесноты помещения скандалы были. Шум, шум, а тут Лидия Алексеевна из окошка помои вылила на инженера, будто невзначай. Бултыхнула целую лохань, да «извиняюсь» кричит. Тот от обиды в драку было полез, а эстонец, муж Лидии Алексевны—вот увидите, вроде бардадым—вступился, с топором на инженера-то. Поорали, поорали друг на дружку, так никакой сурьезной драки и не образовалось. Все-таки инженер уехал в другое училище. Теперича маленькая школка-то через это.

Грязный двух'этажный дом. Девочка-подросток, дочь учительницы, ведет нас вверх. Большая, но изумительная по своей грязи комната. Треть комнаты: пол, столы, подоконники завалены разным металлическим хламом. Чего-чего тут нет. Не покойник ли Плюшкин все это собирал? Подымается с табуретки нам навстречу сухой, чернобородый человек, очень хмурый на вид, но с улыбчивым тенористым голосом. Это хозяин, Ян Густавович, муж учительницы, бывший слесарь Трубочного завода в Петербурге, теперь он учительствует здесь. Начинается разговор. Крестьянство у него идет плохо, городской человек. Правда, есть свиньи, коровы, а хлеб приобретает мастерством, чинит кастрюли, латки, делает печи.

Входит босая женщина с корзиной картошки и огурцов, юбка подоткнута, рукава засучены, на голове белая мягкая шапочка. Если б не шапочка, можно бы женщину принять за подлинную мужичку, так она сумела опроститься и погрубеть. Но это сама хозяйка, учительница, с высшим образованием... Муж ничего путем не может рассказать, дакает, тянет, мямлит, и когда окончательно сбивается, она нить разговора берет в свои руки. Тогда события, о которых она повествует, сразу оживают, становятся ярки и интересны. Что же их свело вместе, этих двух разных людей и выбросило из Петербурга в глушь? Борьба за существование, революционная буря? Может быть. Я знаю, как одна баронесса, когда у нее отобрали имение, сошлась, чтоб не погибнуть голодной смертью, с хуторянином латышем, и была впоследствии из ревности им застрелена.

Лидия Алексеевна рассказывает, как безобразничали здесь белые: они поместили в школе свой штаб, выбросили на улицу все парты и кровати учеников, выгнали учителя со всем скарбом, при чем наиболее ценное разграбили. Одного учителя, заподозренного в сочувствии красным, увели с собой и, кажется, удавили. Во главе отряда свирепствовал сын местного помещика.

— Я очень был озабочен обувью,—вдруг заговорил Ян Густавович,—такие тяжелые времена были, ни подметок, ни кожи не добыть. Я и придумал вот что.

Он вытаскивает четыре пары женских и мужских ботинок, сооружен-

ных—как вы думаете, из чего?—из железа. Вот до какого средневековья могут доходить отчаявшиеся, хотя и не пьющие изобретатели. Даже изящно: все на медных заклепочках, с перекидными застежками, подметка и каблук деревянные, чтоб подметка гнулась, устроены шалниры.

— Но ведь зимой-то холодно?—любопытствую я.

— Да, холодно.

— А летом-то, поди, и босиком можно?

— Летом босиком. А вот осенью хорошо. Грязь.

— Ржавеют,—протестует дочь.

Он еще что-то такое изобретал, кажется, жернов из дерева, желает устроить ветряную мельницу, словом, его голова полна проектов.

Перед ужином и сном на сеновале мы гуляем. Густой сосняк. А вот поля, они обрабатываются небольшой коммуной, приютившейся в нижнем этаже школы. На пригорке, среди нив, стоит чистенькая, новая, аккуратно сделанная избушка. История ее такова. В конце прошлой зимы пришел молодой парень, бывший красноармеец, оправившийся от ран. Он без роду, без племени, не здешний. Выпросил себе клочек земли. Потом стал ходить по деревням, привел с собой здоровую девку и вдвоем принялись строить избу. А теперь у них полное хозяйство и хороший урожай. А начал с ничего.

* * *

Следующий наш этап—погост Хмель. Там волисполком, в огромном, новом, с выбитыми рамами доме. Агроном торопится туда, чтоб организовать сельско-хозяйственное товарищество. По пути оповещает деревенских жителей и хуторян.

Десять часов утра и волисполком уже на работе. Подходят крестьяне, щелкают пишущие машинки, скрипят перья, подмахиваются, припечатываются бумажки—без бумажки в наше время никуда. Кузьмич уже открыл собрание.

Я вышел на балкон. Опять озеро, такое же многоверстное, узкое, длинное. По ту сторону, за бордюром леса, виднеется идущее плоскогорьем железнодорожное полотно. Здесь тоже были большие бои. Бронепоезд гремел здесь на весь лес.

На берегу озера каменная церковь, кладбище, несколько церковных и частных домов, и замечательная старинная, XVII века, деревянная церковь, серый обомшалый купол которой выглядывает из-за кладбищенского парка.

Иду на кладбище. Здесь все мирно, элегично. Сквозь густую листву деревьев еле-еле пробиваются солнечные лучи. Елки, сосны и березы густо сгрудились возле старой церкви, вплотную приникли к ней, ревниво раскинули над куполами густые ветви, будто стараясь уберечь старуху от житейских бурь. Могилы в цветах и травах. Вдоль ограды и между могил кусты сирени. Вверху шумят грачи, внизу, под каким-то памятником, и в церковном окне жужливые улыи ос. Пахнет хвоей, глиной и веками. Могилы. Все сбежались сюда—званые и незваные, простые и из дворянских гнезд, вельможные. Вот.

справа от церкви, на обрыве, поросшие бурьяном и крапивой чугунные плиты и гранит. Секунд-майор, генерал-полковник: Екатеринин век. Вот действительный и тайный советник, и протоиерей, фрейлина их величеств. Все заросло быльем, и любящая родная рука далече.

Слева от церкви—мертвая нива людей безвестных: белые, голубые, посеревшие кресты, свежие, полусгнившие и—прах. Вот еще не успевший завянуть венок, вот обложенная дерном могила, а на эту свежую глину, может быть, еще вчера капали слезы. Нет крапивы и бурьяна, чисто, связано с жизнью, и от жизни в покой не заросла тропа.

На кресте вкривь и вкось карандашная надпись: «Здравствуй, дорогой братец Павлушенька, вот я приехала к тебе в гости из Петрограда, а ты молчишь, я уеду, а ты во сырой земле лежать будешь. Прощай, братец, сестра твоя Парасковья Козырева». А под этой другая, каракулями: «Царство тебе небесное Павлушенька, сыночек. Горькая твоя мать Василиса Козырева». Это могила красноармейца.

Надо вообразить себе всю трагедию недавнего визита. Наверное, какая-нибудь семья фабричных тружеников. В девятнадцатом году убили единственного сына—всю их надежду и защиту, в двадцатом узнали, где убит, и в двадцать втором, может быть, продав последний самовар, поехали искать, и вот, после долгих поисков, стали у могилы.

Могилы, кресты, могилы, чугун, гранит—всё легло у подола седой обомшалой старухи-церкви. Идут века, могилы множатся, озеро иссякает и редеет лес, а седая старуха все стоит, как наскочивший на подводный риф корабль.

Придут из времен новые века, явится новый человек, и грачи будут петь по-соловьиному. Тогда может быть гениальная пламенная мысль взорвет в духе и материи, все капища и все престолы наших дней, чтоб поставить иные алтари.

* * *

Спускаюсь к озеру. Возле берега допотопный челн. Это даже не посудинка Вольного Новгорода, это прямо-таки музейная вещь, сооружение первобытного дикаря. Мелочь, а очень показательна. Представьте себе две узкие выдолбленные колоды, в каких раньше хоронили покойников, а теперь кормят поросят. Обе эти колоды соединены вместе, носы заострены, связаны вицами, получилась карикатура на ладью. Тут же вытесанное не иначе, как каменным топором неуклюжее весло—тошно смотреть. И на таком дьяволовом суденышке какой-нибудь дед Пахом прёт в непогодь за озеро. Порядочные люди собираются лететь на Марс, а наш Микулушка... Эх!

* * *

Подымаюсь. На яру, перед волисполкомом, опять могила под большим крестом. Здесь лежат растрелянные белыми четыре латыша-коммуниста, двое пожилых и два мальчика.

* * *

Завершая круг путешествия, мы вновь подходим к больнице. Следует зайти. Больница занимает два дома со службами в бывшем господском имении. Перед домом, где живет медицинский персонал и помещается амбулатория, огромная круглая клумба, бывший цветник, теперь на ней колосится пшеница. Выходит навстречу доктор, в кожаной куртке. В его моложавом лице и фигуре что-то шведское, хотя он истый русак. Он прощается с бородатым крестьянином, с которым только что говорил по душам. К нему частенько обращаются: душу и тело лечит, то книжкой, то ланцетом, то добрым словом.

— Маша!—кричит он,—гости пришли.

В столовой кипит самовар. За столом молодая хозяйка и чернобородый, полулысый с мужиковатым лицом человек. Это Степан Степаныч, местный крестьянин-интеллигент. Он ветеринар, обрабатывает свой собственный надел и несет службу.

За чаем завязывается оживленный разговор. Больше всех говорит Степан Степанович. Он говорит отчетливо, быстро, стучит по столу пальцем, весь ходит ходуном.

— Хотите знать мнение мужика о революции? Извольте. Говорит вам потомственный мужик.—Революция произвела в деревне действие дрожжей. Все зашевелилось, забродило, сдвинулось со своих мест. Мужик развился, кругозор стал шире, перед ним всплыли вопросы, которые и в голову ему не приходили, и на которые он ищет ответа. Раньше с мужиком интеллигенту почти не о чем было говорить. Теперь можно говорить с ним о многом. Образовался общий язык, нашлись общие темы, интересы наши соприкоснулись. Недавно был я в Питере, в одном учреждении. Зашел в кабинет заведующего: он инженер, окончивший две высших школы. А против него господин какой-то, ведут деловые разговоры. Я сел к сторонке, прислушиваюсь и про себя решаю, что тот—тоже инженер. Потом присмотрелся к другому-то.—Ба! да ведь это мужичок наш, Тихонов. Он и есть. Больше четырех лет не видались. Был он серым мужиком, во время революции сделался коммунистом, возглавлял карательный отряд, расстреливал, усмирял, потом женился на учительнице, стал заведывать каким-то складом, а теперь работает в торговой организации. И совершеннейший, понимаете-ли интеллигент по виду и по разговору. «Учусь, учусь, говорит. Надо учиться, время обязывает к этому. Да и жена досталась, говорит, прямо клад». Вот вам. И этот пример не единственный.

— Крестьяне изрядно таки поругивают советскую власть. Чем это об'яснить?—спросил я.

— Правильно,—сказал Степан Степанович.—Это вот почему. Среди местных исполкомов, как в городах, так и в селах, вместе с хорошими идейными людьми работает много шушеры, взяточников, пьяниц. Это раздражает мужика. Мужик говорит: «лезут в волки, а хвост телячий», и поясняет: «мысли-то у них боевые, а исполнители плохие». И мужик прав. Но это, конечно, вопрос времени: постепенно у власти встанут люди, преданные не своему брюху, а своему народу.

— А потом—налог,—сказал я.

— Вот-вот. И это главное. Дело, в сущности, вот в чем...—И Степан Степаныч задумался.—Трудно так вот сразу об'яснить. Очень это все сложно. Надо подойти издалека. Во-первых, ни мужик, ни отчасти рабочий не имели понятия, что такое революция. В девятнадцатом году с фабрик хлынул рабочий-мужик в деревню, свои животы спасать. Один из таких типов, старый знакомый, приходит ко мне. Разговорились. «Мы, говорит, совсем думали по другому. Думали, что царя сковырнем, свою власть образуем, фабрики под себя возьмем, а все прочее останется: кондитерские, трактиры, магазины. И все будет наше, и все дармà. Пришел в кондитерскую, наелся булок да пирожных, пошел в магазин, шубу взял, штаны, тросточку, а баба, значит, шляпку, туфли, самовар никкелированный... А работать восемь часов, спрохвалà, с накуром, лясами, потому—сами себе хозяева. Вот как полагали. А на самом-то деле, говорит, так все обернулось удивительно, что ахнешь».

— А мужик как думал?—спросил я.

— Да, примерно, тоже так, поерундовски,—сказал Степан Степаныч.—Для него революция и грабеж господских имений—синонимы. Все растащил инвентарь, скот, имущество. Племенной скот, рассадник улучшенной породы перерезал, сожрал, пропил. Чего не мог вывезти—сжег, разбил. Погибли старинные дома, библиотеки, картины. Принялся рубить лес самым варварским способом, строить избы; один крестьянин пять изб себе срубил, совершенно ему ненужных. Словом, вольная воля—живи, начальства нету, а ежели и покажется где—нож в горло! Однако, все стало входить в берега, появились карательные отряды, стали понемножку отбирать награбленное, лес отошел новому хозяину—казне, стали отбирать лес, избы, накладывая взыскания за незаконную порубку. «Что, опять закон? Чорт его дери, этот закон! Ведь революция!» И мужик зачесал в затылке. А потом заградительные отряды, все взято на учет, запрещен ввоз и вывоз. Местные заградиловки иногда выкидывали удивительные фокусы. В Костромской губернии, например, недалеко от соляноварниц, мужики дохли от отсутствия соли. Некоторые поехали на соляные промыслы, чтоб как-нибудь, крадучись, хоть соленой водички привезти. Их встречали отряды и—моли не моли—опрокидывали чаны с рассолом прямо на земь: запрещено! А потом разверстка, продналог, расслоение деревни на бедноту и зажиточных. И все время бои—гражданская война, белые, красные, зеленые. Настала неразбериха. Бегают по деревне, спрашивают друг друга: «Васька, ты кто такой, красный?»—«Красный. А ты?»—«Я, должно, белый, пёс его ведает». Третий кричит: «А кто же я-то, братцы, зеленый, что ли?» Красный Степка воюет против своего родного брата белого Ваньки. Потом оба попадают в плен, опять воюют, но уж Степка белый, а Ванька красный. А наборы все продолжались, война шла, отбирали лошадей, скот, крестьян выгоняли рыть окопы, отбывать гужевую повинность, проводить какими-нибудь гиблыми местами в тыл врагу отряды, белых ли, красных ли, все равно. Все время в кутерьме, в лихорадочной работе, в опасности, у смерти в зубах. Своя же работа стояла, а ежели и снимет что с полосы—зарывай в землю, отберут. А потом—вытаскивай иконы, долой

попов, не надо ребят молитвам обучать, и еще—отделение церкви от государства, какое такое отделение? И сейчас же вслух: отделять от государства—значит все церкви взрывать на воздух. Тут уж вся баба ощетинилась, как еж: «Вот до чего дошло! Что ж вы, мужики, смотрите-то? Бей их, анафемов!». А разжигающая страсти агитация, разные поганенькие шептуны работали вовсю. Одно к одному, одно к одному: на сердце и в мозгу у мужика густая копоть. Оглянется назад—разорение и кровь, посмотрит вперед—конца не видно. И год, и другой, и третий, и четвертый. И в конце концов, мужик догадался, понял, ущупал своими боками, что хотя он, мужик, многочислен, огромен, силен, но есть сила покрепче его, и эта сила—город. Так он жил, злобствуя на город, до последнего времени, и, пожалуй, только в этом году стал понимать всю махинацию творящегося, стал помаленьку разбираться в том, что давно прошло. Я, конечно, говорю про мужика среднего уровня, про мужика, так сказать, обывателя. Теперь он видит, что власть укрепилась, перестал оглядываться по сторонам и знает, что исправить дело, улучшить свое благосостояние он может лишь собственным своим неусыпным трудом. И мужик к этому приступает всерьез: массами идет на хутора и отруба—думает, что ему так будет лучше—переходит на травосеяние, на многополье, стремится улучшить породу скота, словом, ломает и перестраивает сверху донизу свое хозяйство. Это опять-таки под благотворным влиянием революции: мужик раньше боялся всяких новшеств, как огня. И вот, в такое-то время, когда мужик вправе рассчитывать на всяческие послабления и поддержку от правительства: ведь без передыху ему кричат в уши, что правительство теперь наше, рабоче-крестьянское—в это время на мужика налагают подчас непосильные налоги.

— Да!—вставил доктор,—например, из соседней деревни, где считается двадцать один двор, угнали за недоимки пятнадцать дойных коров. Крестьяне чуть не плачут.

— Ну, ясное дело!—вскричал ветеринар.—Вот мы постепенно и подобрались к заданному вами вопросу.—Степан Степанович ведь как-то вздохматился, был красен от возбуждения, смотрел на меня сквозь очки пристально и сурово.—Мужика очень трудно убедить, что раз заграница отказала нам в золоте, а хозяйство в стране все-таки подымать надо, иначе—гибель России,—то единственный верный рессурс, единственная прочная экономическая база это—хлеб. Говорю им, что ни одно государство без налоговой системы не существует, а если у нас сейчас усиленный налог, то правительство решается на такую меру, скрепя сердце, по великой нужде, что правительство просто берет в долг у мужика, нужда пройдет, дела наладятся, и деревня получит свое сторицей.

— Однако, пойдемте,—сказал доктор.— Нас, кажется, зовут. Что, приготовили?

— Готово, пожалуйте,—ответил служитель.

Шли в больницу великолепным парком. Густая липовая аллея. Под многовековым деревом огромный, вросший в землю камень, в нем выдолблено место

для сиденья, а сбоку две цилиндрических выемки для бутылки и стакана. Отличный памятник навсегда, закрывшейся странице прошлого.

* * *

Очень чистая комната в больнице. Человек двадцать больных, мужчин и женщин—крестьян, в опрятных больничных халатах. Слушают мое чтение очень внимательно, просят еще что-нибудь прочесть. Жена доктора продекламировала два Некрасовских стихотворения, доктор сыграл на скрипке.

— Я частенько устраиваю такие развлеченья для больных,—сказал он.—Иногда приглашаю их к себе, и Маша играет на рояли. Надо же как-нибудь скрашивать жизнь.

— Жаль, выписался недавно один больной,—говорит доктор, когда мы направились к выходу.—Пожилой крестьянин, жил с двумя сыновьями и с женой. Пьянствовал и парней приучил пить. Жену ругал, бил, истязал, и сыновья помогали. Звериная такая натура, понимаете ли. Так продолжалось больше года. Жена от побоев в старуху превратилась, оглохла. Но вот пришел сын-красноармеец и сразу вступился за мать. «Вот что, отец, ты лучше оставь! Теперь не прежние права. А то плохо будет. Упреждаю!» Целый месяц красноармеец с батькой воевал, и кончилось тем, что однажды в ссоре сгреб ружье, да и царапнул в старика. Я думал, что умрет, нет, ожил. Руку только пришлось отнять. Пока лежал, говорил: «Поправлюсь, и его убью, и старуху убью». Однако, все обошлось хорошо. Фактик этот возымел, понимаете ли, свое действие. Наш мужик вообще любит побить свою жену. А теперь мужики вдруг почуяли, что пришла какая-то новая сила, их дети, красноармейцы, и эта сила вступается за слабого, да не шутя, а—прямо за ружье. Впечатленьице вышло замечательное, и многие мужички призадумались.

Степан Степанович пошел нас провожать. Миновали мельницу, выбрались на пригорок, и вновь знакомые поля и перелески. Садилось солнце, все было обвеяно благостным закатным огнем, и рыжая лошаденка среди сжатых нив, как золотая.

— Да, сдвиг в деревне все-таки большой, и психологический и материальный,—как бы подводя итоги, философствует Степан Степанович.—Хотя многим кажется, что в духовном смысле революция мужика ничуть не подняла: и пьянство, и воровство—все по старому. А взаимной вражды даже как будто больше стало: зависть, недоверие, ненависть, доносы, месть. Смелый опыт власти в этом направлении, возможно, что и был правильным,—ведь грандиозные намерения только и можно осуществлять соборно, когда всяк верит в торжество идеи, и всяк работает с энтузиазмом,—а мы что делали? Вот то-то и есть. Но факт все-таки остался фактом: старые моральные воззрения мужика,—да, я думаю, и всех классов населения,—покачнулись, остались за флагом, а до новых мы еще не доросли. И легковерный ум склонен даже театрально всплеснуть руками и воскликнуть: «Мы подошли к пропасти, мы гибнем». Чорта с два! А я от себя скажу: не к пропасти подошли мы, а к горе. Работай, полезай вверх! Как никогда, а может быть, как нигде в мире, русский народ получил полную возможность быть передовым народом.

Дело теперь за нами самими. Последние пять лет, правда, тягостны, но все таки мы подошли к горе.

Дорога действительно вползала круто в гору. Мы распрощались с словоохотливым ветеринаром и, хотя усталые, запыленные, с разбитыми ногами, бодро двинулись вперед.

* * *

В заключение должен с особой радостью отметить светлое явление. Это созданная в революционное время ... ская школа первой и второй ступени. Школы, учительский персонал и общежития учеников разместились в четырех домах. Начну с цифр. В прошлом году училось 250 крестьянских детей обоего пола, окончило 2-ю ступень 25 человек, из них 18 определилось в высшие учебные заведения Петербурга. Текущий учебный год готовит к выпуску 35 человек. Приезжие дети размещаются частью в общежитии, частью в окрестных деревнях. Некоторые приехали за 50 верст. Тяга к образованию большая, особенно среди зажиточных крестьян. Их главным образом привлекает высокий тип школы, где «*учат по настоящему*». Это обстоятельство—«учат по настоящему»—мне хочется особо подчеркнуть. Учителей 22 человека, с высшим и средним образованием, некоторые окончили учительские семинарии. Все они влегли в работу дружно, работают помногу. Заведующий, из местных образованных крестьян, очень опытный педагог, сведущ, хлопотлив и делен. Агроном преподает литературу и ботанику, два горных инженера—математику, две женщины—музыку, немецкий и французский языки. Я хорошо знаком с постановкой дела в этой школе: дважды посещал ее. Интересно отметить любовь крестьянских детей к музыке. В прошлом году училось игре на рояли 30 человек, большинство, конечно, девушек. Некоторые имеют незаурядные способности, легко усваивают технику, бегло разбирают ноты и могут прилично сыграть несложные вещи Шумана, Шопена. Один огромный девятнадцатилетний верзила обладает так называемым абсолютным слухом, он мгновенно схватывает вещи на память, но лапищи его, привыкшие корчевать пни, путаются на тесном пространстве клавишей, и от усилия поставить пальцы, куда нужно, но он весь обливается потом. А то прибежит карапуз-мальчонка, сбросит овчинный рваный полушубок, размотает шарф и начинает грязными, давно не видавшими мыла руками, с азартом отбрякивать экзерсисы.

Кстати замечу, что в тех же местах живет старуха барыня, бывшая знатная помещица, и великолепная музыкантша. Около 70 крестьянских детей обучается у нее музыке за хлеб и картошку.

Учащиеся высших классов ... ской школы издавали под руководством учителя свой журнал. Обнаружился талантливый юноша, Александр Алексеев, он написал недурную двухактную вещицу, имевшую на местной сцене огромный успех. Спектакли и литературно-музыкальные вечера устраиваются довольно часто, участвуют учителя и учительницы. Между прочим нынче ставилась «Сестра Беатриса» и—как ни удивительно—пьеса чрезвы-

чайно понравилась, и возбудила среди крестьян оживленные разговоры и прения.

В этот свой приезд я попал на заседание хозяйственного совета. Было человек 12 учителей, несколько состоятельных крестьян и шеф школы, заведующий совхозами, деятельный человек из обрусевших латышей. Сметные вопросы решались быстро и толково. Школа будет обеспечена на зиму дровами. Заготовка и подвозка местными крестьянами. Часть расходов берет на себя казна.

— А вот ремонт,—докладывает председатель и читает сметные цифры с умопомрачительным количеством нулей.

— Ерунда,—возражает шеф, почесывая широкий подбородок.—Хозяйственники,—обращается он к крестьянам.—Прикиньте-ка на глаз, сколько надо рабочих рук для починки крыши и перестилки полов? Двадцать? На неделю? Хорошо. Секретарь, пиши. Еще какие работы. Побелка? Можно отложить. Вычеркните. Водопровод? Отлично. Завтра же пришлю двух монтеров и рабочих с материалами. Вот вам и нули. Город все равно не ассигнует. Надо своими средствами. Еще какие на очереди работы?

В прежние тяжелые годы от правительства выдавались усиленные пайки всему учительскому персоналу. Теперь на пайке, и довольно скудном, оставлено лишь несколько учителей школы второй ступени. Да и то из ничтожного учительского жалованья удерживается почти рыночная стоимость этого пайка. Недавно несколько учителей . . . ской школы ушли в город из боязни обречь себя на нищенское существование. Я слышал, что и из других, известных мне здесь, школ учителя разбегаются по тем же причинам. Вообще эти незаметные, но самые необходимые нам труженики — несчастнейшие пасынки Республики. Зато вот вам и неоспоримый факт: специальные учебные заведения, где фабрикуются педагоги, пустуют. Да и на самом деле, кому же охота много лет учиться только для того, чтоб голодать... Конечно, и Волховстрой, и Стросвирь, создающие искусственные водопады и утилизирующие их силу—вещь первостепенной важности, и Республика поступает правильно, не жалея на них денег. Так неужели же мы остановимся перед созданием других величественных турбин, чтоб принять всю мощь естественного водопада живых интеллектуальных сил пробуждающейся деревни? Конечно, нет. Довольно нам быть посмешищем кичливой Европы, довольно быть без штанов, но в шляпе! Мы бодры, мы молоды, перед нами широкий путь!

Октябрь 1922 г.

Рурские события и угроза будущей войны.

М. Павлович.

1. Вопрос о германском угле и Рурском бассейне до Версальского мира.

Уже накануне мировой войны *Франция была величайшей державой по богатству железной рудой*. Ее железный подпочвенный резерв определялся в 12 миллиардов тонн (без присоединенной после мировой войны Эльзас-Лотарингии), тогда как железный резерв Германии (без Эльзас-Лотарингии) определялся приблизительно в один миллиард, а Англии в ½ миллиарда. Таким образом, пропорция по богатству железом для трех сильнейших империалистических стран Европы, была накануне войны следующей: для Англии—½, для Германии—1, для Франции—15 (Francis Laur, La France reine du fer, Paris 1916.—Франсис Лор, Франция—царица железа). Превосходство Франции по богатству железом было громадное.

По другим вычислениям, Франция (без колоний Алжира и Судана) обладала 7 миллиардами тонн годной для эксплоатации железной руды, что составляло *одну треть* всех известных мировых запасов железа, количество которых определялось в 22 миллиарда (см. F. Engerand, L'Allemagne et le fer, Paris 1916.—Ф. Энжеран, Германия и железо).

Накануне мировой войны Франция и без Эльзас-Лотарингии была гегемоном в Европе по богатству железом.

Владея таким колоссальным запасом железа, Франция успешно развивала свою металлургическую промышленность и военную индустрию, которая занимала второе место в Европе после германской, так что, уступая последней в производстве тяжелых орудий, Франция занимала первое место по качеству легкой артиллерии. Производство железа во Франции учетверилось за 15 лет с 1896 по 1911 г. в *четыре раза*, с 4-х миллионов тонн до 16-ти. Кроме того, быстро развивалась во Франции и стальная индустрия. За десятилетие, с 1903 г. по 1913 г., производство необработанной стали поднялось во Франции с 1.893.000 тонн до 4.635.000 тонн, т.-е. увеличилось на 152%. Только одна Бельгия по развитию своей сталелитейной промышленности опередила за этот период Францию. Бельгийская сталелитейная промышленность возросла на 154%. Все *остальные страны мира отстали от Франции*

в этом отношении. Производство стали в Германии за этот период возросло на 118%, в Соединенных Штатах на 115%, в России на 100%, в Австро-Венгрии на 97%, в Англии на 52% (см. Tribot-Laspièrre, L'Industrie de l'acier en France, Paris 1916.—Трибот Лапиер, Стальная индустрия во Франции. См. также Paul Doumer, L'Industrie de fer.—Поль Думер, *Железная индустрия).*

Но если Франция была гегемоном в Европе по богатству железом, она была, наоборот, *беднейшей страной по богатству углем*. Между тем для производства одной тонны железа необходимо израсходовать две тонны угля. Таким образом, Франции приходилось ежегодно импортировать громадное количество угля из Англии и Германии. Добыча угля во Франции равнялась в 1913 г. 17.000.000 тонн, импорт равнялся 19.000.000 тонн, таким образом металлургическая промышленность Франции поглотила в этом году 36.000.000 тонн угля. Но это количество не было достаточно для превращения Франции в величайшую металлургическую страну мира, в действительного, а не потенциального только гегемона железа в мире,—цель, которую ставили перед собой французские империалисты. «Бедность углем,—писал Энжеран,—давит тяжело на все отрасли нашей промышленности, в особенности на развитие металлургии. Что будем мы делать, если Англия не в состоянии будет доставлять нам угля».

По вычислениям де-Лонея, генерального инспектора французских копей, для превращения Франции в действительную царицу железа, для максимального развития ее металлургической промышленности, для использования ее колоссальнейших в Европе железных резервов, необходимо было бы иметь ежегодно 100 миллионов тонн угля, т.-е. почти в три раза больше, чем Франция потребила в 1913 г. «Франция должна стать величайшей *угольной* державой»—вот программа, которую выдвинули французские империалисты (см. Лор, Франция—царица железа, стр. 40).

Но где же можно было достать это недостающее количество угля, т.-е. *около* 70 миллионов тонн, для приобретения которых за границей пришлось бы ежегодно экспортировать около 2 миллиардов фр. золотом, что совсем не входило в планы французских империалистов, ибо многие из них (например, цитированный выше Лор) находили, что и экспорт ежегодно 300—400 милл. франк. золотом на покупку угля, потреблявшегося во Франции, накануне мировой войны, совершенно не желателен.

Французские империалисты нашли, как казалось им, радикальное средство для разрешения этой трудной проблемы—иметь сколько угодно угля, не платя за него золотом или в соответствующем эквиваленте товарами.

Если Франция была первой страной в Европе по богатству железом,—соседняя с ней страна, ее «наследственный враг», Германия, была царицей угля на европейском континенте: *угольные резервы Германии определялись в 423 миллиарда тонн, т.-е. составляли половину угольного богатства всего европейского континента*. Угольные богатства Англии определялись в 189 миллиардов тонн, царской России—60, Франции всего 17 миллионов. Та-

ким образом, как угольная держава, Франция была *в двадцать пять раз* слабее Германии.

Добыча угля в Германии росла с поразительной быстротой. 15 миллионов тонн в 1862 г., 79 миллионов тонн в 1895 г., 109 миллионов тонн в 1900 г., 278 миллионов тонн в 1913 г.

Добыча Англии в 1913 г.—286 миллионов тонн, но было уже очевидно, что Германия, рост добычи угля которой значительно превосходил рост английской угольной промышленности, скоро опередит Англию и оставит последнюю далеко за собой.

Как бы то ни было, добыча угля в Германии в *семь раз* превосходила добычу угля во Франции.

Значительную часть угля, экспортируемого из Германии, покупала у последней Франция. 3 миллиона тонн в 1909 г., 4 миллиона в 1910 г., 5 миллионов тонн в 1911 г. и около 6 миллионов тонн в 1912 г.

Главным образом Франция для своей развивающейся стальной индустрии нуждалась в *рурском коксе*, и в 1911 г. Франция закупила половину кокса, экспортированного из Германии, именно 2.056.000 тонн из 5.322.000 тонн. Спрос на *рурский кокс* был так велик, что угольные копи этого бассейна ежедневно отправляли 35.000 вагонов, нагруженных коксом, не будучи в состоянии удовлетворить свою клиентуру; что касается угольных копей Саарского бассейна, владельцы последних в январе 1914 г. отказались принимать какие бы то ни было заказы, до того многочислены были последние (см. Louis Bruneau, L'Allemagne en France.—Германия во Франции, Paris 1914).

Но, будучи богата углем, при чем весьма ценного качества, как, например, уголь Рурского бассейна, Германия была сравнительно бедна железом. В границах, от пограничных столбов царской России до Рейна, не считая Эльзас-Лотарингии, Германия имела не более 1 миллиарда тонн железа. Но, даже несмотря на эксплоатацию богатейших железных рудников аннексированной в 1871 г. Эльзас-Лотарингии, Германия все же вынуждена была импортировать железную руду, недостававшую для ее лихорадочно развивавшейся металлургической промышленности. Так, в 1909 г. Германия импортировала из Франции 1.774.000 тонн железной руды, а в 1912 г.—уже 2.800.000 тонн. В общем Германия импортировала в 1913 г. 14 миллионов тонн железной руды, что составляет почти точно годовую добычу французского Брийеского железного бассейна, к захвату которого стремилась империалистическая Германия.

Итак, в вопросе о железе и угле мы видим в довоенной *Франции изобилие подпочвенного железа и бедность углем; в Германии изобилие угля и недостаток железа.*

Геологическая игра природы устроила таким образом, что почти весь уголь на европейском континенте сосредоточен был на территории довоенной Германии,—наоборот, почти вся железная руда—на территории Франции, при чем главная часть этих минералов находится в очень узком секторе между Мозелем и Рейном, т.-е. почти на границах обеих враждующих империалистических держав.

Таким образом, французским и немецким империалистам для осуществления своих грандиозных планов необходимо было—Франции, чтобы стать величайшей угольной державой—захватить в придачу к Эльзас-Лотарингии: Саарский и Рурский угольные бассейны, Германии—отнять у Франции гигантский железный бассейн Бриейя.

И, конечно, и французские и немецкие империалисты сумели создать целую теорию для оправдания своих захватных планов. Так, Улевиг, один из редакторов «Тан», писал следующее:

«Тщетно вы будете стремиться отделить железо от угля, последние будут притягиваться друг к другу. Несмотря на все ваши пограничные столбы и таможенные заставы, эти элементы природы соединятся когда-нибудь друг с другом, и это влечение железа к углю и обратно снова бросит народы друг против друга и явится причиной рек крови... На севере, в пункте сочленения Франции с аннексированной Эльзас-Лотарингией, с Бельгией и Люксембургом, находится великий железный Брией, самый богатый по своим залежам, самый могущественный в Европе, который тянется до окрестностей Нанси; *в 50 километрах от этих 4 миллиардов тонн железа природа расположила 10 миллиардов тонн угля:* это—великий угольный бассейн Саары, который распространяется на баварский Палатинат, рейнскую Пруссию и аннексированную Лотарингию. Хотя и не равняясь в количественном и качественном отношениях удивительным угольным копям Вестфалии, угольный бассейн Саарбрука все же утилизуется для многочисленных металлургических предприятий: *ежегодное добывание угля в этом бассейне превышает 17 миллиардов тонн, т.-е. как раз то количество, которое Франция вынуждена покупать за границей, чтобы пополнить свое недостаточное производство».*

Итак, до и во время мировой войны французские империалисты не заикались даже о Рурском бассейне, и заявляли лишь претензии на Саарский угольный бассейн, хотя и подчеркивали, что Саарский уголь значительно уступает по своему качеству Рурскому. Говорить открыто о своих поползновениях захвата Рурского бассейна было слишком опасно, ибо такие претензии вызвали бы тревогу в Америке, и особенно в Англии и могли бы охладить английский пыл в борьбе с Германией, и оттолкнуть Великобританию от Франции. Теперь французские империалисты открыто заявляют о своем намерении оккупировать надолго Рурский бассейн. «Мы ищем угля и ничего больше», заявил Пуанкаре, об'ясняя необходимость оккупации Рура.

С присоединением Эльзас-Лотарингии Франция приобрела 66 доменных печей и 52 крупных металлургических предприятия, оборудованных по последнему слову немецкой и американской техники, тогда как во французской Лотарингии находилось всего 26 металлургических заводов, т.-е. менее половины этого числа, а во всей Франции имелось только 68 крупных металлургических заводов. Таким образом, захватом немецких металлургических заводов Франция вдвое усилила мощь своей металлургии, в особенности сталелитейную промышленность, и именно эта сталелитейная промышленность нуждается в рурском угле.

2. Вопрос об угле и железе после мировой войны. Версальский договор. Рурский бассейн и Эссен.

В результате разгрома Германии, Антанта навязала побежденному врагу пресловутый «Карфагенский мир», по плану Клемансо. Цель Клемансо заключалась в полном экономическом подавлении Германии и низведения последней на степень второстепенного государства, которое никогда не смогло бы возродиться и стать снова могучей экономической и военной державой, грозным конкурентом Франции в борьбе за промышленную и политическую гегемонию на континенте. Для достижения этой цели нужно было отнять у Германии то, что составляло основу ее мощи, именно, ее угольную и железную промышленность,—одним словом, разрушить те две колонны, на которых, употребляя сделанное уже мною в другом месте сравнение, как языческий храм Дагона, покоится всякое мощное капиталистическое здание в современном строе. Эта задача французского империализма была достигнута Версальским договором, отнявшим у Германии 83% ее железной руды и одну треть ее угля.

Германия лишилась свыше ¾ годовой добычи железной руды, так как только одна аннексированная Эльзас-Лотарингия в 1913 году давала германской промышленности 28,5 миллионов тонн руды из общей суммы производства в 39,9 милл. тонн. Аннексия Эльзас-Лотарингии, Саарского бассейна и самых промышленных районов Верхней Силезии, переданной на основании, а вернее, вопреки плебисциту, Польше—отняла у Германии свыше 25% годового производства угля. Но этого мало. Из остающихся в распоряжении Германии копей она обязалась в продолжение ближайших 10 лет поставлять Франции, Бельгии, Италии и Люксембургу в общей сложности около 25 милл. тонн угля, и, сверх того, отдавать Франции всю разницу между довоенным производством ее разрушенных копей (Север и Па-де-Калэ) и их теперешним производством, с таким расчетом, чтобы эти последние поставки не превышали 20 миллионов тонн в продолжение пяти лет и 8 милл. тонн в продолжение каждого из следующих пяти лет.

Вот как известный английский буржуазный писатель Кейнс, автор нашумевшей книги «Экономические последствия Версальского мирного договора», переведенной на все европейские языки, в том числе и на русский, оценивает смысл и значение Версальского договора.

В постановлениях, касающихся угля и железа, то действие, которое они должны оказать на внутреннюю хозяйственную жизнь Германии, имеет бóльшее значение, чем та денежная ценность, которую представляют эти материалы. Германская империя была создана не кровью и железом, но скорее углем и железом. Только умелая эксплоатация богатых угольных копей Рура, Верхней Силезии и Саара делала возможным развитие стальной, химической и электрической индустрий, благодаря которым Германия стала первой промышленной страной континентальной Европы. Треть ее сосредоточена в городах с количеством более 20.000 жителей; подобная промышленная концентрация возможна только на основе угля и железа. Поэтому, нанося удар германским запасам угля, французские политики верно *выбрали свою цель. Только крайняя неумеренность требований договора и полная*

невозможность технического их выполнения могут спасти положение Германии в течение ряда лет.

I. Мирный договор поражает угольную промышленность Германии четырьмя способами:

В виде компенсации за разрушение угольных копей северной Франции и в возмещение части всех убытков, причиненных войной, Германия уступает в полное и безусловное владение Франции с исключительным правом эксплоатации, чистыми и свободными от всяких долгов и обязательств, какого бы ни было рода, угольные копи Саарского бассейна. Между тем как управление этой областью на пятнадцать лет передается Лиге наций, угольные копи уступаются Франции безусловно. Спустя пятнадцать лет население будет призвано избрать посредством плебисцита, к какому государству оно желает принадлежать в будущем; и в случае, если оно изберет соединение с Германией, на нее налагается обязательство выкупить обратно угольные копи и заплатить за них золотом.

II. Верхняя Силезия, округ, лишенный больших городов, в котором, тем не менее, находятся одни из самых богатых угольных копей Германии, дающие около 23 процентов общей добычи германского твердого угля, должна быть уступлена Польше после определения воли населения посредством плебисцита. Верхняя Силезия никогда не была частью исторической Польши, но ее население представляет смесь поляков, немцев и чехо-словаков, точное соотношение которых является спорным. Экономически эта провинция вполне германская; индустрия восточной Германии зависит от ее угля, и ее утрата нанесет сокрушительный удар экономической структуре всего государства.

Благодаря потере угольных залежей Верхней Силезии и Саара, добыча угля в Германии сокращена немного менее, чем на одну треть.

III. Из всего количества угля, остающегося у нее, Германия обязана ежегодно пополнять ту потерю его, какую понесла Франция вследствие военных разрушений и порчи в копях ее северных провинций. В § 2 прибавления V к главе о возмещении убытков „Германия обязуется в течение периода не свыше десяти лет ежегодно доставлять Франции количество угля, равное разнице между его ежегодной добычей до войны и добычей этих копей в течение ближайших десяти лет; при этом поставка не должна превышать 20.000.000 тонн в каждый из пяти первых лет и 8.000.000 тонн в каждый из пяти последних лет".

IV. Окончательное постановление, касающееся угля, составляет часть общего плана главы о возмещении убытков, в силу которого сумма, потребная для этого возмещения, должна быть частью выплачена вещами, а не деньгами. В виде доли этой уплаты Германия обязана выполнить следующие поставки угля или, в качестве его эквивалента, кокса (при чем поставки в пользу Франции являются чисто добавочными к тому количеству, которое дает ей уступка Саара и компенсации за разрушение в северных провинциях):

1. Франция получает ежегодно 7.000.000 тонн в течение десяти лет.

2. Бельгия получает ежегодно 8.000.000 тонн в течение десяти лет.

3. Количество, ежегодно получаемое Италией, увеличивается каждый год, начиная от 4.500 000 тонн в 1918—1920 годах, и доходит до 8.500.000 в каждый из шести последних лет от 1923 до 1929 г.г.

4. Люксембург получает, если понадобится, количество, равное довоенному ежегодному потреблению здесь германского угля.

В среднем количество достигает приблизительно 25.000.000 тонн ежегодно.

Принимая за основу добычу 1913 года, у Германии остается 130.700.000 тонн или, вычитая расход в самих копях, 118.000.000 тонн. В течение нескольких лет из этого количества должно быть высылаемо 20.000.000 тонн во Францию в качестве компенсации за повреждение ее копей и, кроме того, 25.000.000—Франции, Бельгии, Италии и Люксембургу; так как первая цифра представляет макси-

мум, а вторая в ближайшие годы должна быть несколько ниже, то весь принудительный экспорт Германии в пользу союзников следует исчислять в 40.000.000 тонн; таким образом, принимая ту же продуктивность копей, как в 1913 году за основу вычисления, мы получим, что для собственного употребления у Германии остается 78.000.000 тонн угля против 139.000.000 тонн, потреблявшихся ею до войны.

Если европейский уголь не смогут распределить иначе, как вырывая его друг у друга из рук, при чем первая получает Франция, затем Италия и, наконец, остальные, как кому повезет, то промышленное будущее Европы складывается чрезвычайно мрачно, зато шансы революции становятся очень велики.

Постановления относительно железной руды, как ни разрушительны их следствия, требуют меньшего внимания оттого, что сами по себе они неизбежны. Почти 75% всей добычи железа в Германии шли в 1913 году из Эльзас-Лотарингии. В этом заключается огромное значение похищенных у неё провинций.

Не может быть и сомнения в том, что Германия должна потерять эти железные рудники. Вопрос только в том, насколько ей облегчает возможность покупать добываемое в них железо. Германская делегация прилагала все усилия к тому, чтобы добиться постановления, по которому взамен угля и кокса, отправляемых Германией во Францию, она получала бы руду из Лотарингии. Но такого условия ей выговорить себе не удалось, и вопрос предоставляется на благоусмотрение Франции.

Мотивы, которые будут направлять вероятную политику Франции в будущем, не вполне свободны от взаимных противоречий. Лотарингия содержит 75% всей железной руды Германии, но только 25% ее доменных печей находятся в пределах Лотарингии и Саарского бассейна вместе, а огромное количество руды вывозится в собственную Германию. Приблизительно такая же часть германских железо- и сталелитейных заводов, т.-е 25%, находятся в Эльзас-Лотарингии. Поэтому в настоящий момент самым экономическим и выгодным способом использования руды является вывоз значительной ее части в Германию, как это делалось до сих пор.

С другой стороны, можно ожидать, что Франция, получив лотарингскую железную руду, попытается использовать ее для собственных промышленных предприятий вместо того, чтобы доставлять ее предприятиям германским. Должно пройти много времени раньше, нежели необходимые орудия производства и техническая ловкость получат достаточное развитие внутри самой Франции, и даже при этом условии она едва ли сможет даже разрабатывать железную руду, если в получении угля останется зависимой от Германии. Кроме того, неопределенность окончательной судьбы Саарского бассейна будет расстраивать расчеты капиталистов, имеющих в виду организацию новых промышленных предприятий во Франции.

Навязав Германии Версальский договор, отняв у нее более ¾ железной руды и $^1/_3$ угля, Франция разрушила экономическую мощь и военную силу своего противника на континенте и вместе с тем, казалось, увеличила в необычайной мере свои собственные рессурсы. Но это достижение не удовлетворяет аппетитов французских империалистов. Металлургические короли Франции стремятся к овладению в той ил другой форме Рейнской областью, и каменноугольным Рурским бассейном. В течение последних двух лет французская пресса тысячи раз, и французское правительство неоднократно ставили вопрос об оккупации Рурского бассейна и Рейнской области. Но здесь Франция постоянно наталкивалась на решительное противодействие Англии, которая не для того разгромила могучую Германию, чтобы создать на ее

месте еще более могучую Францию. Воссоединив в одну хозяйственную единицу великий железный бассейн Лонги-Бриейн, самый богатый по залежам, Эльзас-Лотарингию с ее железными рудниками и угольными копями, Рурский бассейн, Рейнскую область, Франция сосредоточивает в своих руках до 50 миллионов тонн годовой добычи железной руды и одновременно становится царем угля на континенте. Таким образом, французские империалисты создают фундамент для превращения Франции в величайшую промышленную державу, в мирового гегемона. В этих стремлениях французской металлургии лежит ключ к пониманию англо-французского конфликта. Осуждая эти французские планы, Ллойд-Джордж в одной из своих речей заявил: «Если Франция не отзовет своих войск с Рейна к концу оккупационного периода, тогда откроется новая страница в истории Европы и всего мира, *и тогда следует опасаться чего-то страшного,* чего человечество еще никогда не переживало». Более того, Ллойд-Джордж подчеркивает, что французские захватные планы относительно Рурского угольного бассейна и Рейнских провинций встретят решительное противодействие и со стороны великой Трансатлантической Республики, помогшей, подобно Англии, разгромить Германию не для того, чтобы создать нового, еще более грозного хищника и нарушителя мира: «Далек путь с Рейна до Миссисипи—закончил Ллойд-Джордж свою речь—но не так далек, каким он был прежде. Недалеко от Рейна находятся могилы, в которых почивают люди, шесть лет назад прибывшие с берегов Миссисипи».

Именно, благодаря противодействию Англии и Америки, отчасти Италии, Пуанкаре до сих пор не удавалось осуществить максимальную программу французских империалистов, направленную к голому захвату каменноугольной Рурской области, богатой коксом, и Рейнских провинций.

В связи с вопросом об угле и железе находится известный план Стиннеса—создания франко-германского угольно-стального треста. Саарский уголь не столь нужен Франции, как рурский, ибо ее стальная промышленность нуждается в коксе, которым богат Рурский бассейн. Исходя из того положения, что *Англия и Америка не позволяли Франции захватить этот бассейн* и учитывая нужду французской стальной промышленности в рурском коксе, Стиннес выдвинул идею создания мощного угольно-стального треста, который об'единил бы французских и германских угольных и стальных королей, под защитой французских штыков.

Договор Стиннеса с маркизом Люберзаком относительно восстановления Северной Франции рассматривался как начало вступления французской железно-угольной индустрии на путь сделки с немецкой тяжелой промышленностью. Однако крайние французские милитаристы, стремящиеся к голому захвату Рурского бассейна в целях использования рурского кокса для французской стальной промышленности без сделки с Стиннесом, к созданию Прирейнского буферного государства и отделению этим путем южной Германии от Северной, относятся отрицательно к плану Стиннеса. Между этими двумя планами: голого захвата Рурского бассейна, с одной стороны, и соглашения с Стиннесом, с другой, и колебалась долгое время политика Пуанкаре. Теперь победили сторонники голого захвата Рурского бассейна.

Только уяснив себе всю важность вопроса о Рурском бассейне в планах французского империализма по отношению в Центральной Европе, можно понять события, разыгрывающиеся на Ближнем Востоке. Несмотря на противоречие англо-французских интересов на Ближнем Востоке, Англия заставляет Францию плясать по своей дудке в вопросе о Месопотамской нефти, Дарданеллах и т. д., решительно противодействуя французским планам по отношению к Германии, как только Франция становится в боевую позицию по отношению к Англии в ближне-восточных вопросах. Таким образом, несмотря на целый ряд неудач на Ближнем Востоке—разгром греческой армии, сторожевого пса Великобритании в Малой Азии, поражение английских войск в Месопотамии и т. д.,—английская дипломатия одерживает успехи на Ближнем Востоке в своей восточной политике и давлении на Турцию, таща за собой на буксире Францию под угрозой в случае противодействия последней отказа в поддержке даже минимальных требований Франции по отношению к Германии.

Мировая война 1914—1918 г.г. была провоцирована, поскольку дело касалось франко-германских отношений, металлургическими королями обеих стран, стремившимися отнять друг у друга железные и угольные бассейны. Ныне французские империалисты стремятся окончательно захватить Рурский бассейн в интересах стальной французской промышленности, которая нуждается в рурском коксе. Для повышения своих дивидендов, металлургические короли Франции готовы снова пожертвовать жизнью миллионов крестьян и рабочих. И вся военщина Франции поддерживает эти планы.

Не следует забывать тревожного обстоятельства, на которое не обратила внимания наша печать,—что, оккупируя Рурский бассейн, французские войска занимают и знаменитый город Эссен, с его пресловутыми крупповскими заводами, изготовлявшими в период, предшествовавший мировой войне, самые сильные тяжелые орудия в мире, разбивавшие, как тарелки, неприступные бельгийские и русские крепости. Кто не знает, какую роль сыграли крупповские заводы не только в победах Пруссии 1871 г., но и в немецких победах в мировой войне: при Шарлеруа, Моранже, на Дунайце и т. д.

Все германские победы в войне 1914—1918 г.г. были выкованы молотами эссенских заводов, циклопы которых с бо́льшим успехом трудились для германского империализма, чем все государственные деятели Германии, вместе взятые.

Эссен, а не Берлин, Крупп, а не Гинденбург или Маккензен, заставил капитулировать Льеж, Намюр, Варшаву, Брест-Литовск, Ковно. Подобно тому, как это было в 1870 г., верховная власть Германской империи, основной фундамент военной мощи ее накануне мировой войны и в период последней находились в металлургическом Эссене, а не в императорском Берлине или Потсдаме.

В период немецких побед 1914—1918 г.г. некоторые английские публицисты высказывали мнение, что для предотвращения немецкой опасности в будущем, необходимо, в случае победы над Германией, взорвать на воздух эссенские металлургические заводы. Предусмотрительные английские политики

и не предвидели возможности захвата Эссена французами. Теперь грозный когда-то Эссен, этот железный остов, позвоночный хребет страшного недавно для Великобритании военного организма Германской империи, находится в руках Франции. Англичане опасались, что Германия в своем победном продвижении, завладев Калэ и Булонью, поставит там какие-нибудь гигантские эссенские пушки, которые будут держать под своим обстрелом весь Ламаншский пролив, подвергнут бомбардировке и сумеют уничтожить столицу Великобритании—Лондон. Французам не нужно овладевать Калэ и Булонью, ведь это французские города, и все южное побережье Ламаншского канала находится в руках Франции. Утвердившись в Эссене, пустив в ход крупповские пушечные заводы в придачу к своим собственным мощным военным заводам, Франция быстро создаст такую артиллерию, которая сумеет обстреливать Ламаншский канал на всем его протяжении, снести до основания все английские укрепленные и, тем более, неукрепленные города по ту сторону Ламанша и обеспечить в случае нужды высадку своих войск на английском берегу—то, чего не мог осуществить Наполеон I. Вот еще одна причина, по которой империалистическая Англия никогда не примирится с более или менее длительной оккупацией Рурского бассейна.

Англо-французский конфликт вступает в новую фазу. Призрак мировой войны встает на горизонте. Мы видим уже его предвестия. The coming events lassen the shadow before. Грядущие события бросают свою тень вперед. Эту тень мы видим в мемельских событиях, в вооруженных приготовлениях Венгрии, которые, подобно македонским стычкам 1911—1912 г.г., предвещают возможность близкого взрыва мировой войны.

Только об'единение мирового пролетариата под знаменем III Интернационала и социальная революция в главнейших странах Европы предотвратят мировую бойню более страшную, более кровавую, чем война 1914—1918 г.г.

Власть нефти.

П. Китайгородский.

Накануне Вашингтонской конференции лондонский «Таймс» в № от 5 ноября 1921 г. писал: «В ряде препятствий, которые могут привести к крушению, надлежит упомянуть столкновения и соперничество Англии и Америки в вопросе о нефти. Хотя ограничение вооружений поставлено в порядок дня, вопрос этот может быть удовлетворительно разрешен лишь в том случае, *если будет достигнуто полное согласие между Соед. Штатами и Великобританией в вопросе о добыче и снабжении нефти*». Вопрос поставлен резко и определенно. Все сантиментальности насчет «вечного мира» и солидарности народов сводятся к... лишней бочке нефти. Консервативный «Таймс» побил рекорд циничной откровенности. Все дороги ведут к нефти. «Если хочешь мира, то... уступи мне нефтяную концессию», так перефразировал «Таймс» знаменитую латинскую пословицу.

В повестке дня всех империалистических конференций незримо стоит «нефть». Мы это наглядно видели в Генуе, Гааге, а сейчас это особенно выпукло обнаружилось на Лозаннской конференции. Гаагская конференция провалилась, главным образом, из-за англо-американского соперничества, разгоревшегося вокруг русской нефти. Рокфеллеровскому тресту «Стандарт Ойль» почудилось, будто т. Красин подписал договор с обществом «Шелль». Из-за этого Генуэзская конференция пошла на смарку. «Стандарт Ойль» не мог допустить, чтоб голландско-английская нефтяная компания «Рояль-Деч-Шелль» стала обладателем такой лакомой нефтяной концессии, как Бакинская.

На Лозаннской конференции атмосфера также пропитана нефтью. Американский «наблюдатель» Чайлд зорко следит, чтоб Моссульская нефть не стала исключительной добычей Великобритании. Можно à-priori сказать, что если англо-американские петролейщики не придут к соглашению меж собою по вопросу о нефти в Анатолии и Месопотамии, то Лозаннскую конференцию постигнет такой же бесславный конец, как и Гаагскую конференцию.

Нефть стала альфой и омегой мировой политики империалистических держав. Ею начинается и ею же кончается любая «международная» империалистическая конференция. Борются два англо-саксонских империализма.

Остальные же антантские «горе-победители», как цитолиты около планеты, группируются вокруг одного из этих двух соперничающих гигантов.

Почему же нефть стала играть такую крупную роль в мировой политике? Это об'ясняется той, в буквальном смысле слова, революцией, какая произошла в современной технике, благодаря применению нефти. Дизель-мотор, приводимый в движение при помощи мазута, имеет гораздо меньший об'ем, чем паровой двигатель, обслуживаемый каменным углем. Теплоемкость нефти превышает теплоемкость угля в 70—100 раз. Добыча и транспорт угля требует значительно больше затрат энергии и материальных средств, чем добыча и транспорт жидкого топлива. Вот почему двигатели так называемого внутреннего сгорания и котлы с нефтяной топкой вытесняют все больше и больше уголь из промышленности, и из всех видов транспорта. В особенности сказалась «революция», произведенная нефтью, на военном флоте: сила и скорость военных судов, приводимых в движение дизель-моторами, в 50—100 раз больше силы и скорости судов, действующих с помощью угля [1]).

Нефтяная индустрия насчитывает несколько десятилетий. Характерно, что накануне вступления капитализма в его новейшую, империалистическую, фазу своего развития мировая добыча нефти равнялась всего 5,8 миллионов баррилей [2]); тогда как в момент, когда капитализм достигает высшей кульминации, нефтяная продукция во всем мире уже доходит до 600 миллионов баррилей. Рост добычи нефти, начиная с 1870 года, иллюстрируется следующей таблицей [3]):

Добыто нефти в тыс. баррилей:

	1870 г.	1910 г.	1913 г.	1917 г.	1920 г.
Соед. Штаты	5.261	209.557	248.446	335.315	443.402
Мексика	—	3.634	25.696	55.293	163.540
Россия	204	70.336	62 834	69.960	25.430
Голланд. Индия	—	11.031	11.172	12.929	17.529
Персия	—	—	—	6.856	12.362
Британская Индия	—	6.138	7.930	8.079	7.500
Румыния	84	9.724	13.555	3.721	7.435
Галиция	—	12.674	7.818	5.965	5.606
Перу	—	1.330	2.133	2.533	2.817
Япония и Формоза	—	1.931	1.942	2.882	2.139
Тринидад	—	143	504	1.602	2.083
Аргентина	—	21	131	1.145	1.665
Египет	—	—	95	1.609	1.042
Венецуэлла	—	—	—	128	457
Германия	—	1.032	996	996	212
Канада	250	316	228	214	197
Италия	—	51	47	41	43
Прочие страны	—	50	20	19	1.411
Итого	5.799	327.938	383.547	508.687	694.851

[1]) См. Fr. Delesi: „Le Pétrole“, page 16.

[2]) Барриль=боченку в 8—9 пудов.

[3]) См. „Weltwirtschaftliche Nachrichten“, № 282, за 1921 г.

Итак, мы видим, как в 1920 г., несмотря на общий кризис, который стал захватывать капиталистический мир, включая и Соед. Штаты, наблюдается сильное повышение мировой добычи нефти.

Характерно, что Россия даже в 1920 г. занимает *третье* место по добыче нефти.

Особенно быстро нефтяное дело развивается в Мексике. Мексика в состоянии при условии беспрепятственного функционирования всех скважин, доставить количества нефти, превышающие всю мировую добычу.

Ничего удивительного нет в том, что английский и американский капиталы, устремились в эту нефтяную страну, и стали эксплоатировать то тот, то иной источник нефти.

Просматривая вышеприведенную таблицу, мы видим, что Англия совершенно отсутствует среди нефтедобывающих стран. Это делает великобританских политиков, крайне чувствительными в нефтяном вопросе. Руководители Великобритании поняли опасность, грозящую их стране с переходом от угля к нефти, и энергично повели свою линию. Еще 6 июня 1914 г. Англия берет у турецкого правительства концессию на разработку нефти в Месопотамии (Моссуле). «Англо-персидское нефтяное общество», капитал которого наполовину взят из государственных средств, уже развивает широко свою деятельность с 1907 г.

В 1917 г. образуется группа «Рояль-Деч-Шелль» из слияния английской компании «Шелль», основанной на средства Ротшильда, и голландской компании «Копинглийке Маатчане». Этот трест состоит из 123 обществ, владеющих нефтяными источниками на Зондских островах, в Ост-Индии, Калифорнии, Египте, Мексике, Румынии, Канаде и т. д., и т. д. Ежегодная добыча нефти у «Рояль-Деч-Шелль» составляет 115 миллионов бочек. Наливной флот его—650.000 тонн. Капитал до $3^1/_2$ миллиардов золотых рублей. Англия, таким образом, владеет огромным нефтяным морем, раскинутым по всему лицу земного шара. Разумеется, что она стоит горой за принцип «закрытых дверей», и не особенно охотно допускает «чужаков» к нефти, на которую она уже наложила свою лапу.

Но дадим слово «благороднейшему» лорду Керзону (кстати сказать, вице-президенту нефтяной компании «Шелль»). Вот что мы читаем в ноте его, адресованной правительству Северо-Американских Соедин. Штатов, от 21 апреля 1922 г.: «Великобритания,—говорится в этой ноте,—после Америки является самым крупным потребителем нефти в мире. На нефтяные двигатели переведено 90% ее военных судов, против 45% до войны. В той же пропорции растет применение нефти в торговом флоте. Ее внутренние рессурсы в настоящее время сводятся к одной Шотландии, дающей одну тонну нефти в день. В 1920 г. Великобритания импортировала около 3.368.000 тонн нефти (бензин, керосин, мазут, смазочные масла и т. д.), общей стоимостью в 67.000.000 фунт. ст., 61% этого количества импортировано из Соед. Шт., 37% из различных иностранных государств; и только лишь 2% (165.000 тонн) было добыто в Шотландии». «В то время,—читаем мы дальше в этой ноте,—как добыча Великобритании незначительна, и рас-

пылена, Соед. Штаты об'единяют в своих руках и на своей территории $^{2}/_{3}$ общей мировой добычи».

Der langen Rede kurzer Sinn этой длинной цитаты заключается в том, что Англия вынуждена проводить принцип «закрытых дверей», и не допускать непрошенных гостей в «мандатированные» ею страны. Эта нота вскрывает хитрую механику английской дипломатии. Не желая допустить «Стандарт Ойль» в Ост-Индию, Месопотамию, Анатолию, Персию и т. д., Англия в то же время требует «открытия дверей» в Мексике. Англия стремится обеспечить себе транспорт нефти, в случае войны, для чего сугубо напирает на демилитаризацию Дарданелл, на свободный проход ее военных судов в Черное море, на закрепление за собою Суэцкого канала, на господство в Средиземном море.

Другое дело Америка. Хотя она добывает у себя 80% мировой добычи, но нефтяных запасов, находящихся в недрах ее территории, хватит всего на 17—20 лет. Следующая табличка показывает, насколько велики запасы нефти в отдельных странах:

Южная Америка	9,28	миллиардов баррилей [1])
Соединенные Штаты	7	" "
Россия	6,75	" "
Персия и Месопотамия	5,82	" "
Мексика	4,52	" "
Голландская Индия	3,01	" "
Румыния	1,13	" "

Так как ежегодная добыча Соединенных Штатов в среднем составляет 400 миллионов баррилей, то помноженная на 20, она составит 8 миллиардов баррилей. Мы видим, что Америка вынуждена обратиться к эксплоатации нефти в других странах, если она не хочет через два десятка лет очутиться в положении Англии.

Да liegt der Hund begraben! Америка, введшая у себя высокий таможенный тариф, Америка, перешедшая к сугубой протекционистской системе, за пределами своей территории, драпируется в тогу манчестерских политиков, выдвигая «либеральный» принцип «свободы торговли», «открытых дверей», «свободы проливов» (за исключением Панамского...).

«Стандарт Ойль» владеет прекрасно оборудованным наливным флотом в ¾ миллиона тонн, громаднейшими нефтеочистительными заводами, широко разветвленной сетью нефтепроводов. Под охраной американского военного флота «Стандарт Ойль» продвигает свои цистерны вглубь Анатолии, во Францию, в Индию и пр., и пр.

Где только «Рояль-Деч-Шелль» начинает делать «business», «Стандарт Ойль» тут как тут. Он требует и для себя определенной доли и участия в разработке нефтяных концессий.

Франция же даже после войны осталась в полной зависимости от иностранных нефтяных обществ—английских и американских. Ее политики

[1]) См. „Manchester Guardian Commercial", 6 октября 1921 г.

дали себя обернуть вокруг английского пальца. Во время заседаний в Версале, Клемансо и Тардье, эти два наиболее черносотенные мясники, выдвинули принцип «Do ut des»: уступи мне в Германии, и я сделаю тебе уступки в остальных пунктах Европы и Азии. В Сан-Ремо, в Севре повторилось то же самое. Франция «добровольно» отказалась в пользу Англии от Месопотамии, Палестины.

До 1920 г. Франция плыла на английском буксире. Французским капиталистам и после войны дух предприимчивости, энергии и инициативы остался чужд, как и до войны: в этом отношении они уступают английским и американским капиталистам. Тем более, что формула «L'Allémagne payera»,—Германия все заплатит,—почти вплоть до 1920 г. была для них непреложной.

До конца 1920 г. нефтяной вопрос для Франции заключался лишь в том, кому запродать свои нефтяные интересы: Англии или Америке? Франция сотрудничала со своим «союзником»—Англией,—первая доставляла капитал, а вторая—оборудование для смешанных нефтяных обществ.

Но уже в конце 1920 г. в Париже образовался мощный трест «Франко-Американский Трест», под председательством Жюля Камбона, бывшего французского посла в Америке, и Бредфорда, одного из «китов» Рокфеллеровского треста. Этим, очевидно, Америке удалось перетянуть Францию на свою сторону. Франция, как мы уже выше отметили, в области нефтяного дела не обнаружила никакой самостоятельности. Над французским капитализмом и до сих пор реет дух Купона и Куртаиса. Хотя в договоре один из пунктов говорит: «Оба правительства—английское и французское—обязуются координировать свои усилия и поддерживать друг друга на предмет получения концессии на эксплоатацию и экспорт нефти из областей бывшей Российской империи», но мы уже видели, как на Генуэзской конференции этот пункт, по приказу «Стандарт Ойль», был вычеркнут.

Франция ходит на ходулях. В случае войны она, как говорится, может остаться на бобах. Она отдалась в начале английскому и затем американскому капиталу.

Потребности Франции в нефти только для удовлетворения нужд армии и флота выражаются в 1 миллион тонн. Собственные рессурсы ее не превышают 120.000 тонн. Понятна «трагедия» французского империализма. В случае блокирования, скажем, Дарданелл, закрывается для Франции кран Кавказской нефти, во-первых, и Моссульской, во-вторых, если только французский флот не будет иметь превосходства в Средиземном море, что уже Вашингтонской конференцией исключено. То-то Франция в Лозанне так ратует за «свободу торговли» нефтью и добываемыми из этой нефти продуктами!

Что из того, что Франция теперь переменит свою нефтяную политику, и из пассивной соучастницы в нефтяных концессиях перейдет к «самостоятельной», активной деятельности: во-первых, «лучшие места под солнцем» уже заняты, а, во-вторых, не имея превосходства на морях, она рискует, в случае международных осложнений, быть отрезанной от своих нефтяных

концессий. Есть от чего с ума сойти! И мы видим, как Эррио и другие представители французской тяжелой и легкой индустрии, настаивают на перемене Францией своей ориентации в отношении России, на поддержании во что бы то ни стало принципа «открытых дверей».

«Во внешней нашей политике,—читаем мы в органе французской биржи «L'Information» от 2 декабря 1922 г.,—мы должны стремиться к охране наших нефтяных интересов. Надо отказаться от политики маразма. Пусть государство непосредственно не вмешивается в деятельность нефтяных обществ, но пусть наши дипломаты проявят побольше решимости и инициативы!» Этот вопль души французского промышленника понятен, но вряд ли чтолибо реальное получится из этого. Главными дирижерами являются Англия и Америка, остальные же державы лишь «попутчицы»...

Но и Англия все более вынуждена уступать Америке. На Лозаннской конференции, американский «наблюдатель» топнул ногой—и договор в Сан-Ремо (договор, в силу которого Англия берет себе Месопотамию, выделяя в пользу Франции 25% общей месопотамской добычи нефти), полетел тормашками вверх.

В Месопотамии покамест добывается всего—10.000 бочек в год; но залежи нефти, как мы видели, там довольно обильные.

Теперь Америка на Лозаннской конференции сказала: «цыц!». Она потребовала «справедливого» распределения Моссульской нефти для всех заинтересованных держав. И Англия—о гордый брит!—должна была, скрепя сердце на это итти. Ибо такова всемогущая воля «нефтяных королей» Америки. Это они теперь «правят бал».

«На волнах нефти,—выразился как-то «благороднейший» лорд Керзон еще в бытность свою вице-королем Индии, обративший свое «просвещенное» внимание на Моссул,—союзники причалили к берегу победы». Но в этих же нефтяных волнах Англия рискует быть утопленной могущественным заокеанским соперником...

Такова всемогущая власть нефти, ставшей ныне решающим фактором мировой политики.

О, если б первобытные персы, поклонявшиеся богу «Агни» (нефти), восстали из гробов и увидели, в какого грозного Бэль-Мардука превратился их добрый, кроткий владыка!..

По скучной дороге.

Н. Бухарин.

(ОТВЕТ МОИМ КРИТИКАМ).

1. Диалектический разум т. Сарабьянова.—2. Как теория равновесия вывела из равновесия тов. Гоникмана.—3. Муза т. Рожицына и тов. Тредиаковского.—4. Варево Варейкиса, или странствия прекрасного Иосифа по лабиринтам мысли.—5. Чудо св. Питирима.—6. Шиворот навыворот.—7. **Summa summarum.**

На мою книгу «Теория исторического материализма» пошли в поход многочисленные Мальбруки, которые, как известно, всегда проигрывают кампанию, если противник отвечает на их возню. На этот раз я долго молчал, ожидая, что выступит кто-либо из идеологических «слонов». Увы! Мои ожидания были напрасны. Правда, на шахматной доске появилась с большим запозданием признанная королева—тов. Аксельрод. Но, сделав один ход, она отнюдь не претендовала, как будто, даже на то, чтобы сказать: «шах»—и, очевидно, вырабатывает сложные стратегические планы. Так что, к величайшему несчастью, мне приходится заняться неизмеримо более скучными оппонентами, знания которых обратно пропорциональны их большой самоуверенности и поистине великолепному апломбу. Отвечать же мне нужно потому, что существуют простачки, которые полагают, что мое молчание означает, будто у меня рыльце в каком-то еретическом пушку. Между тем Мальбруки продолжают свое дело. Подбежит один, и в какой-нибудь статеечке—тяп за ногу. Другой—тяп за другую. Похвалил тебя Питирим Сорокин,—тов. Невский «тонко» замечает: «Ага», закрывая тряпкой умолчания то обстоятельство, что оный Питирим еще более хвалит Плеханова. Или поедет тов. Тер в Курск, да еще с мандатом, и в этом Курске скажет, как будто невзначай, что де, мол, книжка Бухарина не марксистская. Я уже не говорю о сонме недавних меньшевиков. Они-то прямо из кожи вон лезут: разве не приятно защищать ортодоксию от Бухарина? Как же тут не воспользоваться обстоятельством и не проявить усердия? Авось, не заметят, что усердие-то не по разуму... Так уж пусть не обижаются, если я, не совсем по-христиански, представлю их в истинном освещении, вполне соответствующем об'ективной истине, пламенными сторонниками которой они, как известно, являются.

1. Диалектический разум тов. Сарабьянова.

Что русскому здорово,
То немцу—смерть.
Русская поговорка.

Выдающийся по своему марксистскому образованию, а также и по своему педагогическому стажу немецкий товарищ *Герман Дункер* (Hermann Duncker) пишет о моей работе, что она является основным и единственным учебником по историческому материализму (das Lehrbuch). В книге «собрана,—заключает т. Дункер,—громадная сокровищница марксистского знания и преподнесена читателю в мастерской форме. Мы не знаем в современной коммунистической литературе ни одного произведения, написанного таким популярным, и в то же время остроумным и полным юмора стилем. Классово-сознательный пролетариат Германии обязан отплатить Бухарину за этот учебник величайшей благодарностью» (Die Internationale, Zeitschrift für Praxis und Theorie des Marxismus, Jahrg. 5, Heft 12, S. 354). Таков отзыв понимающего немецкого товарища, имя которого известно всякому, не особенно беззаботному по части теории.

Отзыв т. Сарабьянова: «Так нельзя писать учебники». «Нужно снять этот вредный налет» [1]). И тов. Сарабьянов почитает своим долгом «не молчать», бороться с Бухариным, «чрезвычайно опасным в своих ошибках», высказывать величайшее сожаление по поводу того, что книгу будут «зачитывать до дыр», советовать «редакциям газет» не стесняться в критике и т. д. И тов. Сарабьянов поучает меня тоном, который кажется мне—извините, дорогой оппонент,—чуть-чуточку смешным. Чего стоят все поучения нашего ретивого кавалериста, вновь оседлавшего своего ослика, достаточно уже охромевшего после предыдущего сражения, мы сейчас увидим.

Чрезвычайно трудно у т. Сарабьянова найти связную *мысль*. Его «критические» статьи, это—какая-то бессвязная болтовня с самим собою, нечто вроде вскачь несущихся мыслей, бывающих у человека в полусонном состоянии. Поэтому на мою долю выпадает скучнейшая задача выискивать эти мысли, предварительно устраняя тот словесный хлам, которыми они прикрыты; тов. Сарабьянов, ведь, не говорит, а вещает, как Пифия.

В начале статьи мы читаем:

«Главнейший недостаток т. Бухарина в его «Истор. м-ме» заключается в том, что ... его мышление *не диалектично, а материалистично в духе Бюхнера, перенесенного на почву общественности»* (стр. 63. курсив мой. Н. Б.).

В конце статьи:

«В данный момент больше, чем когда-либо, нужно усилить пропаганду материализма и диалектики, так как командные высоты пока за-

[1]) „Под знамен. марксизма“, № 8, стр. 16.

няты идеалистами эклектиками и упростителями... За полит. экономией Богданова товарищи потянулись к эмпириомонизмам и к «живым опытам»... (далее следует кавалерийский наскок на тов. Степанова. Н. Б.)..., вслед за единой организационной наукой Богданова на авансцену выплыл ее двойник, социология Бухарина. Нужно снять этот вредный налет».

Смысл второй цитаты очевиден. Здесь «главным недостатком» книги считается богдановский *идеализм*. Только *так* (если это не набор слов) можно понять заключительную тираду нашего Аники-воина.

Теперь, скажите по совести, читатель: можно *серьезно* считаться с Сарабьяновым? Можно питать хоть какое-нибудь уважение к его теоретическим способностям? Человек в начале статьи упрекает меня в бюхнеровском *материализме*. В конце статьи он упрекает меня *в идеализме*. И все это проделывается с благородным челом, с тем же фальшивым пафосом гнева, с теми же комичными словесными вывертами, с тою же самоуверенностью, тем же самым пифическим тоном!

Нет, тов. Сарабьянов! Поменьше самоуверенности, побольше знаний! А главное разрешите Вам подать совет: когда пишете статью, не забывайте в конце того, что Вы уже написали в начале. Имейте в виду: между словами «Widerspruch» и «Widersinn» есть разница.

Тов. Сарабьянову не чужды приемы усовершенствованной эристики. Он хочет, подобно Иегове (недаром он «занимается» и религией), *и запугивать*. Прочтя у меня в «Предисловии» об историческом материализме, как «основе основ» марксистской теории, тов. Сарабьянов восклицает:

«Мне, признаться сказать, было жутко читать эту фразу». И далее Сарабьянов, переполненный до краев (вот-вот прольется) этой жутью и своими—никому, впрочем, не интересными—признаниями, пробует аргументировать. Чего только тут нет! И о книге Люттенау, и цитаты из Плеханова, и букет риторических вопросов. Так и хочется сказать т. Сарабьянову:

«Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану».

А суть-то дела, тов. Сарабьянов?

Что говорит вызванный Вами так некстати в свидетели Г. В. Плеханов? Он пишет, в *Вами* же приводимой цитате:

«Разве же *мировоззрение* людей, — то-есть взгляд их *на всю систему мира,—исчерпывается* (мой курсив. Н. Б.) их взглядом на отношение «экономич. условий» к правовым учреждениям и нравственным и религиозным представлениям? Другими словами: разве *исторический* материализм есть целое *мировоззрение?* Конечно, нет! Он—только *одна часть* мировоззрения. Какого же мировоззрения? Ну, понятно какого: *материалистического*».

Теперь позвольте Вам об'яснить популярно, в чем дело. Плеханов говорит, что исторический материализм есть *часть* мировоззрения, и это совершенно справедливо. А где я утверждал противоположное? Где это Вы най-

дете у меня положение, что теория исторического материализма есть *всё*? Или Вы полагаете, что математику, биологию, теорию познания и т. д. я тоже отношу к теории исторического материализма? Где это Вы нашли у меня место этому *вздору*, Вами же *выдуманному*? Опять советую Вам: читайте то, что Вы критикуете. Нельзя иначе: смеяться будут. Вы, быть может, заметили, что я определяю теорию исторического материализма, как марксистскую *социологию*, т.-е. отвожу ей *точные* рамки в «мировоззрении». И после этого Вы имеете... скажем, мужество на двух страницах городить огород, подковывая мне нелепости, которые могут уместиться в какой угодно голове, но только не в моей. «Основа основ» не исчерпывает всего, точно так же, как, скажем, производственные отношения не исчерпывают всей жизни общества. Всуе, тов. Сарабьянов, приводить цитаты, ежели оных цитат не понимать.

«Но Вы»... перебивает меня тов. Сарабьянов. «Не горячитесь, мой горячий оппонент». Почему я назвал все же *эту* составную часть «основой основ»? А потому, тов. Сарабьянов, что *специфический* переворот, произведенный в мировоззрении Марксом-Энгельсом, заключался в изгнании идеализма *из его последнего убежища*, т.-е. из области общественных наук.

Сам Сарабьянов чувствует шаткость своей позиции. Его начинает мучить совесть, и он признаёт, что я—вопреки его утверждениям—не стою за *выключение* теории познания «из учебных планов», что я понимаю необходимость решать теоретико-познавательные вопросы, и что у меня в книге есть даже глава о диалектическом материализме.

Но тут тов. Сарабьянов проделывает логический пируэт, перевертывается в воздухе и начинает доказывать, что эта глава у меня плохая. Этот последний вопрос мы разберем несколько ниже. А сейчас все же не позволим тов. Сарабьянову улизнуть в щель. Предположим, что глава о диалектическом материализме никуда не годится. Zugegeben. Но, позвольте, это, ведь, *другой* вопрос. А первый? Об основе основ? О том, что я *против* включения теории познания в общий круг мировоззрения? Куда все это девалось? Куда Вы *убежали*?

У меня хорошие глаза, слава провидению. Тов. Сарабьянов желал спрятать концы *первого* вопроса в воду *второго* вопроса (о негодности главы о диалектическом материализме). А мы вытащили ваши вымокшие кончики. Сгнили они у Вас, тов. Сарабьянов—вот что я Вам скажу!

Ну, а теперь позвольте перейти, любезный читатель, к этому второму вопросу. Тов. Сарабьянов пишет:

> «Но *и* глава III (как великолепно, чудно, бесподобно это «но и»!! Н. Б.) о диалектическом материализме не может выдержать строгой критики (этакой, как у тов. Сарабьянова. Risum teneatis, amici! Н. Б.), ибо в ней (слушайте, слушайте!) автор обнаруживает плохое знакомство с историей философии»... (Стр. 64).

В исторических событиях бывает, что трагический прообраз воспроизводится, как фарс. Но то же случается и не в столь важных случаях жизни. Когда Плеханов упрекал некоторых своих противников в невежестве, он был

во многих случаях прав. А вот когда тов. Сарабьянов упрекает меня в этом—прошу опять прощения,—это немножечко смешно. Мы сейчас разберем доказательства моего невежества и глубокой образованности тов. Сарабьянова. Но и здесь нам нужно предварительно изловить его на одном фокусе, и не дать ему отвертеться.

Сделаем снова условную уступку. Предположим, что в изложении и оценке тех или других философов я наделал грубых промахов. Но у меня кроме мелкого шрифта есть и крупный. У меня более или менее подробно излагается учение диалектического материализма, марксистская теория познания, конечно, в общей форме. Что возражает по *этому* генеральному вопросу тов. Сарабьянов? Знаете? *Ничего*. Это поразительно, но это так.

Я позволю себе привести здесь отзыв «немца», тов. Дункера. Он пишет:

„Самое важное: Бухарин имеет мужество, целиком и без остатка (rückhaltlos) объявить себя сторонником материалистического мировоззрения — как это всегда делали такие люди, как Плеханов и Меринг — вопреки всяким социалистическим бескрылым Адлерам и всем буржуазным Штаммлерам" (350).

Книга помогает снова стать на ноги „немецкому марксистскому мышлению, которое устало склонилось на колени" под грузом Канта и кантианства Маха и эмпириокритицизма Штаммлера, Фрейда и других ученых профессорских семеек с их различными „измами" (349).

„Вся вторая глава, детерминизм и индетерминизм... является прямо-таки образцом того, как можно трактовать труднейшие философские проблемы в самой популярной форме" (351).

„Третья глава исследует противоположность между материализмом и идеализмом. Здесь Бухарин целиком возвращается к энгельсовским формулировкам в „Фейербахе", на которые с особой любовью ссылался и Меринг... Всеобщий закон движения и развития рисуется наглядно, как развитие внутренних противоречий..." Дальше тов. Дункер излагает теорию равновесия и прибавляет: „Все это ряды представлений, которые выказывают себя на дальнейшем протяжении работы, как величины чрезвычайно плодотворные" (352).

Я привел эти цитаты для того, чтобы показать, как считает своим долгом писать серьезный человек, который *читал* книгу, и как поднимает мышиную возню критик, который книги *не* читал.

Повторяю: Сарабьянову нужно было доказать, что у меня плохое изложение теории самого диалектического материализма. По этому поводу у него нет ни тени доказательств. Он хочет опять спрятаться за *другой* вопрос: наврал ли я при изложении и оценке идеалистических философов. Но и здесь мы ему спрятаться не дадим. Он пойман и тут с *поличным*. А теперь можно перейти и к нашему «незнакомству с историей философии».

Тов. Сарабьянов вещает:

«Т. Бухарин на 35 страницах перелистал всех крупнейших философов (признаться я не понимаю, как это я *перелистал* несчастных философов на своих собственных страницах. Это пусть образованный Сарабьянов пояснит при случае. Н. Б.)... Но изложил не каждого правильно» (64).

В чем же «неправильность»?

№ 1. Кант. Я причисляю (как, впрочем, делали все люди и до меня) *Канта* к идеалистам. На это наш оригинал «возражает»:

«Нет, т. Бухарин, Кант признавал, хотя и на свой лад (!! Н. Б.) материальность вещей в себе (где, куда, откуда?!? Н. Б.), и когда Фихте попробовал привлечь Канта в лоно идеализма, Кант решительно отказался от подобной чести. И он не мог не отказаться, ибо признавал «вещь в себе» материальной, хотя, как правильно говорит Плеханов, «далеко не был чужд склонности признавать эти вещи чем-то не материальным, т.-е. недоступным нашим чувствам». Не все мыслители последовательны, и в «учебнике»-то во всяком случае следовало бы сообщить читателю, что за штука непоследовательность, выделить эклектизм, дабы с ним не путали монизма, выявить Канта, как ein Dreiviertelskopf или же, если для учебника это сложно... (многоточие т. Сарабьянова. Н. Б.), промолчать» (64—65).

Когда я прочитал эту фразу, меня—не бойтесь, читатель—ужас не охватил; ибо я уже имел случай убедиться и ранее, что тов. Сарабьянов может сказать, что в голову взбредет, лишь бы только это имело видимость храброй атаки. «Корни» учености тов. Сарабьянова (немецкое слово, Фихте и прочее) чрезвычайно ясны. Незадолго до выхода статьи тов. Сарабьянова, вышла в свет вторым изданием книжка (хорошая) тов. Деборина с плехановским предисловием. Там как раз и есть о «Dreiviertelskopf». Я очень рад, что тов. Сарабьянов имеет время заглянуть в хорошую популярную книгу, и кое-что оттуда почерпнуть. Но я отсоветовал бы ему его метод «перелистывания», которым он, по всей видимости, резко злоупотребляет в ущерб своему литературному здоровью.

Скажите, тов. Сарабьянов, Вам и вправду неизвестно, что *Кант* является осью всей идеалистической философии вчерашнего и сегодняшнего дня? Я бы посоветовал (привычке советовать научил меня тов. Сарабьянов) заглянуть ему в ту самую книжку, из которой он черпает премудрость, а именно в работу тов. Деборина. Там сказано о Канте:

«Результатом ... его учения было углубление и расширение пропасти между миром вещей и миром явлений. В самом деле, раз об'ектом познания являются предметы чувственного созерцания и раз вещь в себе по самой природе своей никогда не может стать предметом чувственного созерцания, то очевидно, что вещи в себе принципиально непознаваемы, что они оторваны от восприятий и, стало быть, суб'екту недоступны» (Деборин, Введ. в фил. диал. м-зма. Госиздат. 1922, стр. 217).

Я цитировал тов. Деборина, которого никто не заподозрит в философской ереси. Ну, так как же это выходит, тов. Сарабьянов, с непознаваемостью, да еще *«принципиальной»?* А это и есть критерий материальности (у Плеханова в Вашей цитате: «нематериальным, т.-е. недоступным нашим чувствам»). Конечно, тов. Сарабьянов неправ, а Деборин прав *целиком*. И тов. Сарабьянов обнаруживает невежество, а не Деборин. Вдобавок, тов. Са-

рабьянов обнаруживает и невежество в области нашей *партийной* литературы. Известно, что между Лениным и Плехановым было в философской области одно довольно крупное разногласие: это по вопросу о плехановской «теории иероглифов» и о трактовке вещи в себе. Тов. Ленин протестовал против излишней склонности Плеханова к Канту,—склонности, которая позже привела Плеханова чуть ли не к категорическому императиву («простые правила права и нравственности»). Кант есть столп, кит буржуазного теоретического идеализма, и замазывать это *основное* клейстером выдуманных «смягчающих обстоятельств»—не дело революционных теоретиков. Действительно, «не все мыслители последовательны»...

№ 2. Суб'ективный идеализм—солипсизм—об'ективный идеализм. «У товарища Бухарина,—пишет наш горе-критик,—идет разговор о солипсизме, как наиболее последовательном виде, вообще идеализма (57 стр.), но в таком случае он снова обнаруживает незнакомство с историей философии» (65).

Мерси. Но Ваши аргументы, ученый муж?

А вот слушайте:

«Именно потому, что солипсизм в конечном счете должен признать существование «я», именно потому, что по солипсизму (!!) «непосредственно «мне» даны только мои ощущения»,—именно поэтому об'ективный идеализм несравненно последовательнее суб'ективного с его крайней точкой—солипсизмом.

Об'ективный идеализм в лице Гегеля определенно говорит, что существует *только* разум в его различных «становлениях».

Это—последовательно.

Солипсизм же последователен только в одном отношении: в отрицании мира самого по себе, кроме «я».

Об этой непоследовательности солипсизма много хороших страниц»... и т. д.

Дальше следуют святые истины, изложенные со вкусом и изяществом тов. Сарабьянова.

Не правда ли, убедительная аргументация? Что солипсизм имеет противоречия, это, тов Сарабьянов, мне и без Вас хорошо известно, и при том не только из рекомендуемых Вами страниц. Если бы у него, у солипсизма, не было противоречий ни с фактами, ни с своими собственными положениями, то я бы его *защищал*, как и Вы, надеюсь.

Дело вовсе не в том. Сарабьянов *не понял даже* моей постановки вопроса. Что такое идеализм вообще? Превращение человеческой психики в мировую субстанцию. Логический корень «важности» психической жизни— в так наз. непосредственной данности. Какая струя осознает этот корень ярче всего? Конечно, суб'ективный идеализм «и его крайняя точка, солипсизм». Поэтому совершенно не случайно самым опасным врагом материализма являлся в последнее время именно суб'ективный идеализм в его различных видах. Опроверг ли это Сарабьянов? Повторяю, он даже не понял этого. Но по закоренелой привычке сейчас же на место моего вопроса

ловко подставил другой, о противоречиях солипсизма. Замечательно. Что Вы такое кушали, тов. Сарабьянов, что Вы такой ловкий?

У тов. Сарабьянова есть один, постоянно пускаемый им в действие, полемический прием. Он вдруг начинает рассказывать святые истины с таким видом, как будто об'ект его критики и не подозревает о существовании сих истин. В статье получается больше строк, она делается солиднее, а противник от этого теряет: какой, мол, однако, он тупица: даже этого не сказал.

Выше я заметил, что Сарабьянов не обронил ни одного слова *против* моего изложения диалектического материализма. Но вот, когда он переходит к обществу, то считает себя обязанным, с важным видом, распустив все павлиньи перья, процедить сквозь зубы:

« ... Что означает материализм?

Да только то, что весь мир есть материя, обладающая различными свойствами, в том числе и духовными, что духа, изолированного от материи, не имеется, а материя без духовных свойств (без «души») существует.

Вот и вся мудрость материализма»... и т. д. (65—66).

Все эти святые истины у меня в книге разобраны и обоснованы. Об *этом* т. Сарабьянов ни гу-гу. Иначе бы ему пришлось признать, что «вся мудрость материализма» у меня целиком имеется. Но ему нужно другое. Поэтому он вещает от себя. Похвально. Только уж наивно до «крайней точки».

Раз'яснив сущность материализма, т. Сарабьянов глубокомысленно ставит отдельной строкой:

«Материя и дух».

И вопрошает:

«Как перенести эти категории на общество?..

Подумал ли т. Бухарин над этим кардинальным вопросом? Я склонен думать, что он не думал»... (66).

Где уж нам думать! Тов. Сарабьянов за всех нас, грешных, подумает... Наконец, он переходит к критике чисто-социалистической части книги. И тут, разумеется, я и «упростил» (67), и «изрядно напутал». «Не подумал», «упростил», «изрядно напутал». Я вам сейчас покажу, кто «не подумал» и прочее. Хвалить я и здесь не собираюсь, так как «Похвала глупости» уже была написана задолго до меня одним очень известным автором.

Как у меня стоит вопрос? Я пользуясь тем же методом, каким пользовался и Маркс, т.-е. иду от «общих определений», развивая их во все более конкретные.

Общее положение: «духовная жизнь общества есть... функция производительных сил. *Какая* функция, *как* в подробностях зависит духовная жизнь общества от производительных сил—об этом речь пойдет в будущем. Теперь мы должны лишь отметить, что при таком взгляде, естественно, общество будет представляться... прежде всего как *трудовая организация.* Это есть материалистическая точка зрения в области социологии».

Приведя (гораздо более подробно) эту цитату из моей книги и похвалив себя за то, что он «не поленился» сделать длинную выписку, тов. Сарабьянов начинает поистине дикий логический танец.

Вместо того, чтобы *читать* всю книжку, он начинает «предполагать», что я думаю по тому или иному вопросу, «думает» за меня и затем легко опровергает свои собственные выдумки.

Его вопросы такие: духовная жизнь зависит только от одних производительных сил или нет? По бухаринской цитате не поймешь—то от производ. сил, то от материальных условий. А, может быть, у Бухарина производ. силы и есть материальные условия? Но это неверно. И, победоносно распустив хвост, Сарабьянов «констатирует». «Противоречие на-лицо, и мне хотелось бы выяснить, как образовался подобный неудобоваримый сгусток идей в голове тов. Бухарина» (67).

Тов. Сарабьянову нужно этого «сгустка» поискать где-нибудь у себя. Возмутительнее всего то, что т. С. цитирует подчеркнутые мною слова: *какая* функция, *как* зависит духовная жизнь от производит. сил (т.-е. посредственно или нет, через какие звенья и т. д. и т. п.). И *после* этого все же начинает заниматься гаданьем на кофейной гуще, хотя в других местах книги на все эти вопросы даны точные, ясные и подробные ответы. Нужно «не полениться» *прочитать* то, что критикуешь. И прямо удивляешься развязности т. С., когда он присовокупляет: «Если Маркс говорит в предисловии о *материальных* производительных силах, то это отнюдь не значит, что в этом и заключается *материализм* целиком».

Наш материализм в этом «*целиком*» не заключается. Но зачем же тов. С. заведомо лживо выдает мое первое *приближение,* за которым следуют ряды более конкретных определений, за всё? Кого выхотите обмануть, тов. С.?

Но тут есть вопросы и посущественнее, где т. С. дает *свои* «ответы». Вот, напр., полюбуйтесь на его утверждение:

> «Для Маркса и базис и надстройка гражданского общества в лице (!) общественных отношений (!!) суть материя, бытие, отражение же этих отношений (к природе и людям) в человеческих головах есть дух, сознание... Материальные же производительные силы тут пока (!!) не при чем. Но, ведь, мы не только созерцаем, но и действуем. Мы стремимся свой метод сделать универсальным оружием. Маркс все это понимал, а потому не ограничился определением понятий «общественное тело» и «общественная душа», но решил изучить строение этого тела» (68).

Уф! Прочтя эту фразу, я вспомнил одно место из «Вырождения» *Макса Нордау,* пример стихотворения, запомнившийся мне с детства:

> «О, цветы! И как тяжело бремя старых налогов! Песочные часы, на которые лает собака в мае! И удивительный конверт давно не спавшего негра. Бабушка, которая ела бы апельсины и не могла бы спать» и т. д.

Это прямо из Сарабьянова.

Отметим одну «неточность» у т. С—ва. *Маркс* не мог ни ограничиваться, ни «не ограничиваться» понятием «общественной души», потому что у него такого понятия, к счастью, нет. Постараемся выделить из выше выписанного набора фраз какую-нибудь мысль. Базис плюс надстройки суть материя—говорит Сарабьянов. Но, насколько известно тов. Сарабьянову, Маркс говорит о *материальном* базисе и *идеологических* надстройках. Не правда ли? Но если *идеологические* надстройки у Маркса отличаются и до известной степени, условно, противопоставляются *материальному* базису, то как быть с тов. Сарабьяновым? Не кругло, очень не кругло, пустяково у Вас выходит, тов. Сарабьянов!

Или, подойдем к вопросу с другого конца. Под материальным базисом у Маркса, как это хорошо известно, разумеются *производственные отношения*, т.-е. отношения *материального* производства. На каком же основании т. Сарабьянов включает в базис *все* общественные отношения? Это—марксизм, действительно, своеобразной марки.

Чтобы выпутаться из затруднительного положения, т. Сарабьянову приходится создавать ровно ни на чем не основанную гипотезу (см. стр. 68), по которой выходит, что у Маркса было *два* совершенно различных понятия надстроек, при чем одни надстройки нужно, мол, понимать материально, а другие—«в пятых» и «духовно». Ну уж, простите, этакого суздальского Маркса нам не нужно.

Удивителен, однако, сам тов. Сарабьянов. Распилив Маркса на две половинки, т.-е. создав чудовищную эклектическую кашу, он, как ни в чем не бывало, становится в позитуру и громким голосом восклицает:

> «Это совсем не та эклектическая похлебка, которую преподносит нам т. Бухарин».

Еще бы! Gott sei Dank, не та.

Таковы основные «возражения» С. в области материализма. Но он касается и общественной диалектики. Разумеется, я главного «не осознал»: этакий я уж человек несознательный.

Тов. Сарабьянов пишет точно, резко и определенно: «Т. Бухарин не осознал этого кардинальнейшего положения материалистической диалектики, хотя и написал не мало страниц о последней» (69).

Знаете, какого «кардинальнейшего вопроса» я «не осознал»? Это, видите ли, вот что:

> «Мир движется и изменяется потому, что Суб'ект (с большой буквы. Н. Б.) приходит в соприкосновение с Об'ектом (тоже с большой буквы. Н. Б.), при чем последний является в то же время и Суб'ектом в отношении первого» (69).
>
> «Непрерывное столкновение этих сил приводит к изменению всех Суб'ектов и всех Об'ектов» (69).
>
> «Если мы берем общество в его целом, то ему, как Суб'екту, противостоит в качестве Об'ектов и весь материальный мир минус общество, а также и другие общества» (69).

Вот *этого* я «не осознал». Всякий, прочитавший мою книгу, знает, что все это у меня есть, за исключением мудрых фраз и мистических прописных букв. Этого, последнего, я, действительно, «не осознал». Но не думаю, чтобы таковая транскрипция служила доказательством особой материалистичности или грамотности.

А если тов. С. выдвигает еще одно добазочное возражение, будто я упускаю значение об'ективированной воли, как ограничивающего начала для новых волевых актов, так это прямая неправда: С. опять не читает того, что он критикует; *понимающий* человек знает, что означает, напр., у меня все *учение о материализации общественных явлений, об об'ективированной результанте человеческих воль* и т. д. Упрек в фатализме *смешон*, т. к. у меня есть специальный § против фатализма, скрываемый «добросовестным» критиком. И если т. С. говорит: «Я не стал бы придираться, но...» и т. д., то я ему отвечу:

«О вашем снисхождении, тов. С., я вовсе не прошу. Поверьте, оно мне чрезвычайно мало нужно. А вот *перевирать* противника негоже. Придирайтесь, сколько угодно, но читайте и не врите».

Совершенно *чудовищно* указание т. С. на «грубую ошибку», якобы имеющуюся у меня в суждениях об условиях роста духовной культуры. На этом *стоит остановиться*, чтобы увидеть, *какую* кашу *преподносит* т. С. почтенной публике под видом марксизма.

Атаке подверглось положение о том, что «отрицательным условием» для развития духовной культуры является рост производительности труда. Это бесспорное для всякого марксиста положение *оспаривается* т. С-ым! И *как* оспаривается! Вы только послушайте! Энгельс—признается т. С.—тоже говорил об этом.

> «Однако, если Энгельс и многие другие марксисты ссылались на возможность (какая «деликатность» формулировки». Н. Б.) использовать свободное от материального производства время для «делания духовной культуры»' только *между прочим* (курсив, как это «между прочим» ни удивительно, принадлежит т. Сарабьянову. Н. Б.), т. Бухарин это положение, я бы выразился, обуниверсалил со свойственной ему легкостью и стремлением все универсалить» (70).

Итак, Энгельс считал, что создание прибавочного труда и рост его для духовной культуры, это—фактец «так себе», «между прочим». Взгрустнулось старику—да и прочим марксистам кстати, ну они «между прочим», и упомянули об этакой пустяковине.

Такое обращение с теорией и такое невежество *постыдно*. Еще более постыдно прямое извращение Энгельса, когда т. С. утверждает, не моргнув глазом:

> «Энгельс говорил о необходимости иметь свободное время для развития духовной культуры, имея в виду относительно поздний ее период, тов. же Бухарин обернул это положение на духовную культуру вообще» (71).

Всякому мальчику теперь известно, что *рост* культуры шел за счет роста *прибавочного труда*. Без него невозможно было бы никакое движение вперед. Без него невозможно было бы *выделение* «интеллектуального производства». А именно это-то выделение, т.-е. специализация, рост разделения общественного труда в его целом, и есть основа роста духовной культуры. Примеры т. С-а поистине изумительны. *Каждый* из них говорит против него. К сожалению, нет ни места, ни времени разбирать все эти иллюстрации— «на всякое чиханье не наздравствуешься». Но кое-что нужно все же демонстрировать читателю.

Вот, полюбуйтесь:

«Мы знаем еще и то, что наука особенно быстро стала развиваться с середины XIX века, когда была безапелляционно признана бесплодность словесных рассуждений, игры в силлогизмы, и естествознание решительно шагнуло в область опытного анализа, исследования, проверки.

Но что такое — работа с препаратами, колбочками, как не самый доподлинный труд, процесс материального взаимодействия человека и природы, процесс, отнимающий время (любопытно было бы посмотреть процесс, не отнимающий времени! Н. Б.) и порой (!!) изнуряющий материально!» (71).

У меня в книге подробнейшим образом развита мысль об идеологиях, как об отдифференцированном от материального производства интеллектуальном труде. Сарабьянов об этом ни звука. А если бы он почитал, то, вероятно, не опустился бы до того невыносимого вздора, который он преподносит. Наука шагнула вперед, когда стала опытной. Святая истина! Но какое это имеет отношение к предмету спора? А Вы вот что скажите: если бы не было роста производительных сил, то как бы могла выделиться эта наука в особую отрасль общественного труда, лежащую *вне* производства в собственном смысле этого слова? Тов. Сарабьянов комично полагает, что все, что изнуряет и отнимает время, есть производство. Меня изнуряет чтение сарабьяновских благоглупостей и — по секрету скажу—даже «отнимает время». Но назвать это производством может только сумасшедший.

Обезьянья изобретательность тов. Сарабьянова в области всяких выдумок выше всякой похвалы (summa laude digna, как говорится в латинских грамматиках).

Рассматривая этак «с птичьего дуазо» теорию равновесия и не приведя против ни одного аргумента (эту задачу взял на себя другой «критик», т. Гоникман, о коем речь будет ниже), т. С. сейчас же начинает поучать на тему, как хорошо было бы, если бы я немного поучился сарабьяновскому уму-разуму. Грешен, не сподобил господь. Покалякав беспредметно на целой страничке, тов. Сарабьянов сейчас же тычет меня в бок, упрекая в том, что я не признаю причинности и кивая в сторону авенариусианства. Очень хорошо. Но разуйте глаза, тов. Сарабьянов! У меня же есть специальная *глава* о причинности! Впрочем, что до этого т. Сарабьянову? Он, ничтоже сумняшеся, по-

хлопывает меня по плечу и обнадеживает. Брось, мол, паря, глупости; приходи ко мне чай пить. Тогда... о, тогда

> «Он (Бухарин. Н. Б.) не стал бы писать такие эклектические фразы: «неправильно рассуждать и с точки зрения важности «факторов»: экономика, мол, важный «фактор», а, скажем, политика и наука фактор «неважный»... Вопрос нелеп: «оба важнее».

Т. Сарабьянов сейчас же начинает обстрел: Бухарин в плену у формальной логики, он пишет то же, что эс-эры, и пошел, и пошел...

Опять, бедняга, не дочитал у меня странички до конца. А там я привожу такую цитату из Плеханова против сарабьяновской теории факторов, самого плоского упрощения нашего учения:

> «В истории развития общественной науки эта теория (т.-е. теория факторов. Н. Б.) играла такую же роль, как теория отдельных физических сил в естествознании. Успехи естествознания привели к учению об *единстве* этих сил, к современному учению об энергии. Точно так же и успехи общественной науки должны были повести к замене теории факторов, этого плода общественного анализа, синтетическим взглядом на общественную жизнь» (Н. Бельтов, О мат. пон. истории).

Значит, и Плеханов попал в эклектики? Ах, тов. Сарабьянов! Не доведет вас до добра ваша отчаянность!

Дальше. Тов. Сарабьянов, анализируя положение о разнице функций базиса и надстройки, находит крайне остроумным поговорить почти на целой странице о моих ошибках в предположении (совершенно бессмысленном), что у меня речь идет об арифметической разнице. Потом он спохватывается, видит, что «разница» здесь означает «различие» (этакая, знаете ли, филологическая щепетильность!), но нимало не смущается и начинает бить посуду с другого конца. Если вопрос в различии функций—замечает т. С.,—то

> «изложение т. Бухарина приводит нас к немарксистскому выводу, что надстройки любовно уживаются друг с другом и базисом, что противоречий между ними нет... Встает вопрос: в случае несоответствия, разрыва, кто кого одолеет, базис или надстройка? Следовательно, должен быть поставлен вопрос о различии в количественном и качественном отношении, чего т. Бухарин не сделал» (73).

И далее (стр. 74):

> « ... Нужно забыть эклектический вздор, перестать игнорировать вопрос причинности и «что важнее?».

Разберемся, как сие ни скучно, и в этом потоке любезностей. *Откуда* это следует, что если разграничение базиса и надстроек опирается на различие функций, то надстройки «любовно» уживаются друг с другом и с базисом? Где хоть *тень* этой необходимости? Этого нет, и т. Сарабьянов здесь опять выдумывает: сам «дедуцирует», а затем «опровергает». Похвальный метод, что и говорить.

А вот вопрос о том, «кто кого» одолеет, как выражается т. Сарабьянов, вовсе не так прост, как ему кажется. Он думает, что победа всегда за базисом, что этот базис всегда одолеет, *и поэтому* экономика «самый важный» «фактор». Увы, это не так. Приведу марксов пример гибели «обоих борющихся классов». Что мы имеем тут? Развитие производительных сил привело к определенным производственным отношениям, эти последние определенным образом расставили социальные силы и предопределили их драку, и этот *производный* фактор разрушает все общество, вместе с его базисом. Но где уж тов. Сарабьянову думать о таких вопросах! А если бы он все же прочитал *всю* мою книгу, то он нашел бы там «выход из создавшегося положения»...

А решение вопроса, предлагаемое самим Сарабьяновым «в общей форме»? *Оно прямо неверно, вульгарно и антиреволюционно,* прямо по Кунову. Вот оно (начало 75 страницы):

«...Надстройка изменяется *качественно только под воздействием базиса, а базис превращается в новое качество, независимо от надстройки»* (75).

Браво, т. Сарабьянов, Вы договорились до *открытого* меньшевизма. Позвольте Вам пояснить.

Предположим, происходит пролетарская революция, и пролетариат овладевает властью. «По Марксу» он употребляет концентрированное насилие (политическую надстройку, с вашего позволения) для *качественного* изменения базиса. По Кунову, этого быть не может. И по Сарабьянову не может, ибо, как говорит этот последний, «базис превращается в новое качество независимо от надстройки»...

Поздравляем Вас с этим куновским качеством, тов. Сарабьянов! Дошли, можно сказать! Да, это—«настоящая диалектика». Немудрено, что после такого пассуса, куновского и оппортунистического, начинаются для компенсации разговоры о скачках и проч. Прямо после *антиреволюционных* посылок, Кунов (то бишь, Сарабьянов) пишет: «При такой постановке вопроса мы высвобождаем себя из пут только количественных оценок, мы перестаем быть эволюционистами» и т. д. (75).

«Это двиствительно»...

Наконец, еще одна моя «грубейшая ошибка». Это моя трактовка исторического материализма, как социологической доктрины (см. стр. 75). Т. Сарабьянов отрицает возможность *общей* науки об обществе.

«Исторический материализм—пишет он—является тем же диалектическим материализмом в приложении к обществу, а потому его интересуют вопросы общие для всех времен и пространств только в пределах взаимоотношения Материи и Духа, Суб'екта и Об'екта и в пределах характера движения, т.-е. Эволюции и Революции, Качества и Количества. А все остальное — не обще, а частно: одни законы для классового общества (одно качество), другие—для коммунистического (другое качество); одни—для феодального, другие — для капиталистического и т. д.» (75—76).

Эти детские рассуждения уж, конечно, не «упрещенство». Т. С-ов, повидимому, и не прикасался к вопросам о характере законов, общих и частных, общесоциологических и исторических и т. д. Что существуют законы определенных исторических эпох, это верно. Но само это положение уже есть своеобразный *общесоциологический* закон. Годится для всякого общества положение, что производительные силы—основная пружина движения? Что экономическая структура о-ва определяет надстройки? Что производственные отношения изменяются под влиянием изменения обществ. техники? Что наука всегда опирается на практику? Что личности отведены известные границы? И т. д. и т. д. Стоит только поставить эти вопросы, чтобы ответить так, как отвечаю на них я.

Но этот вопрос о социологии «не маленький». Нельзя отделываться

> «двумя страничками и легковесной мотивировкой даже, не рассказав своим «ученикам» историю «социологии», как науки» и т. д. (76).

Нельзя, тов. Сарабьянов, развязно говорить вздор. *Почему* моя мотивировка легковесна? У Вас ни слова—на ветер лаете. А Ваши требования включения *другой* науки (истории социологии) есть педагогическая и логическая нелепость. «*Даже* не рассказав историю (истории? Н. Б.)»—это верх легкомыслия и непонимания!

Ну, довольно. Процесс антикритики тоже требует времени, и пора кончать. Тов. Сарабьянов тщетно тщится разыгрывать «большого», всамделишного критика. Но чем более он развязен, тем яснее видно, что никаких критических шишек его череп не имеет. И мы можем сказать словами прутковского героя:

Нет, поверь.
Не так мы просты,
Чтоб какие-то наросты
Ста́ли шишками считать.

(Продолжение следует).

Литературные края.

Литературные заметки.

А. Воронский.

> Тогда впервые выучились мы
> Словам прекрасным, горьким и
> жестоким.
>
> Н. Тихонов, „Брага".

I.

Литературное оживление последнего времени, наметившееся у нас с окончанием (или перерывом) гражданской войны, между прочим, сказалось в появлении нескольких художественных произведений, в коих сделаны глубоко-интересные и заслуживающие пристального рассмотрения попытки осветить извнутри жизнь коммунистической партии за годы революции. Сюда следует отнести «Записки Терентия Забытого» («Страда») и «Недавние дни» А. Аросева, «Неделю» Юрия Либединского, «Шоколад» Тарасова-Родионова, последнюю вещь, правда, с очень большими оговорками.

Это не так уже мало. Талантливые и интересные произведения, к сожалению, в сем подлунном мире не появляются подобно грибам после хорошего летнего дождя, и даже целая эпоха часто ограничивается двумя-тремя именами. Наша эпоха, в этом смысле, вся впереди: в области литературно-художественной она еще ждет своих Пушкиных и Толстых, но замалчивать первые попытки серьезно подойти к ней — неразумно и вредно. К стыду нашему, такое неразумие, скорее неряшливость, у нас есть. Казалось бы должно быть «совсем даже наоборот». Казалось бы, что всякий художник с крупицей настоящего таланта, подходящий к недавнему прошлому, особенно, если он—коммунист и, тем более, если он стремится показать читателю, как жили и чувствовали себя члены нового коммунистического ордена,—должен был бы с правом рассчитывать на внимательное, бережливое и чуткое отношение к себе. Меж тем, дело обстоит совсем иначе. Наша литература до сих пор ютится где-то на задворках, и на задворках где-то и наши коммунисты-писатели—в этом они разделяют общую участь. Отношение к ним, как у Хлестакова:—Ну, что, брат Пушкин?—Да так, брат,—отвечает бывало:—так как-то все...—Большой оригинал...—К лишениям и невзгодам материального характера—в редакцию обращаются то-и-дело коммунисты-писатели, и совсем из неудачников и графоманов, с просьбой дать любое место, даже место рассыль-

ного, сторожа и т. д.,—к этим лишениям присоединяется неряшливость идеологического порядка. Пересмотрите наши повременные издания, особенно, газеты. Сколько в них уделено внимания литературе? И как случайно, словно под пьяную руку, как небрежно пишутся, обычно мелким петитом напечатанные заметки, не говорящие ничего ни читателю, ни писателю. Заметки случайные, случайных людей.

«Ну, что, брат Пушкин»...

Художественная молодая литература (говорю о нашей, или близкой нам) у нас в начальном периоде своего развития, а уже раздаются опасливые голоса: не слишком ли много этой самой, как бишь ее зовут, этой беллетристики самой.

Едва ли многие отважатся вести себя по-хлестаковски в областях, незнакомых и неизведанных: биология, химия, физика, математика застрахованы с этой стороны довольно хорошо; зато сколько хлестаковщины в отношениях к художественному слову со стороны людей, все знакомство которых с литературой сводится к послеобеденному приятному времяпровождению на сон грядущий.

Отчего все это происходит—тема особая. Пока отметим, что нужно не только улучшить материальное положение молодых художников, идейно нам близких, или прямо своих — кое-что в этом направлении уже сделано и делается,—но и создать подходящую, идейную, общественную, благоприятную среду: говорить, писать, обсуждать всерьез, указывать недочеты, отмечать успехи, не заниматься литературным наездничеством, ёрничеством, не отделываться позевыванием и пописыванием на газетных задворках. Особенно это касается произведений о коммунистах и нашей партии. Такой идейной среды у нас нет. Без нее многое будет пропадать зря, расти вкривь и вкось, как попало.

Октябрьская революция создала новый демос. Как и в других областях, она в литературе открыла для него пути, дотоле невиданные. Но в литературе возможности эти далеко не использованы. А их нужно реализовать, и чем скорей, тем лучше, на-ряду с жестокой борьбой против оживающей враждебной нам идеологии.

Об этом основательно следует подумать.

Все сие—à propos, как говорят французы, между прочим, по поводу.

II.

Произведения, о которых идет речь, обращают на себя внимание не только потому, что они написаны о коммунистах и революции. Об этом написано немало, и есть талантливые вещи, например, кой у кого из серапионовых братьев, у Пильняка и других. Они—вещи эти—отличаются, прежде всего, особым своим подходом к материалу. Большинство современных молодых беллетристов, каждый по-своему,—с революцией, за нее, но только до известного предела; главное же, они пишут о ней со стороны, наблюдая революцию, как пассажиры из окна. Отсюда—внешний подход. Очень недурно у Пильняка

о кожаных куртках, о шахтах, о метели, но чтó и кáк бьется под кожаными куртками, что крутится в метелях—пока за пределами его художественной работы. Авторы, о которых итти будет разговор, не могут вообще «подходить» к революции, «принимать» ее по той очевидной причине, что они—сама революция: они—творцы ее: они бились, дрались, руководили, распоряжались, были в гуще революционной жизни, и этот особый пульс жизни творящей со всеми ее противоречиями, жутью, радостями, читатель чувствует в каждой напечатанной странице. Тут нет двусмысленностей, недоговоренности, неопределенности, ни внешней благожелательной нейтральности, ни уважения постороннего человека,—писатель говорит о революции, как о своем, родном, дорогом и близком. И именно поэтому, с таким трудом вынашиваются и выписываются подобные произведения: трудно отойти в сторону, что необходимо для художника, трудно перевоплотиться, трудно об'ективировать свои суб'ективные переживания, спокойно и хладнокровно отнестись к ним, как к материалу, над которым нужно работать, экспериментировать, где нельзя вносить узко личного, слишком интимного, случайного, имеющего ограниченное значение, и, в то же время, нужно быть самим собой.

С другой стороны, произведения молодых писателей-коммунистов далеки от агиток, где все по штатам и ничего сверх-штатно, все подогнано, все благонамеренно и добродетельно до тошнотворности, где благие намерения и цели с'ели все живое, заморозили материал и художника, и читатель заранее знает, как и к чему. Внутренняя правда и честный подход к действительности, стремление художественно осмыслить пережитое, дать его без прикрас выгодно отличают и Аросева, и Либединского и, отчасти, Тарасова-Родионова, от многих других добродетельно-тенденциозных писаний. Может быть, в значительной мере по этой именно причине, их вещи до сих пор встречаются с равнодушием, либо с осуждением. Не секрет также, что развелось у нас немало чересчур благонамеренных классных коммунистических наставников и наставниц, людей, которые не хотят и не видят темных, позорных сторон нашего быта. Подобные ревнители иногда бывают из ослепших в подполье, а чаще всего из разряда, коммунистический возраст которых, вопреки их почтенным и преклонным летам, скорее приличествует рабфаковцу. Они—самые рьяные, самые неоглядные и твердокаменные. Их краснота столь чрезмерна, что является подозрение—не накрашены ли они. Но ведь и в этом следует соблюдать меру.

III.

Коммунистическая партия шестой год стоит у власти в стране со стадвадцати-миллионным населением. Она осуществляла революционную, жестокую и беспощадную диктатуру рабочего класса в России, где огромное численное преобладание за крестьянством, которое неоднократно колебалось между реакцией и революцией. Она вела войну с могучим и хитрым врагом. Надежды ненавистников коммунизма покоились на двух основаниях: либо на одолении силой оружия, либо на внутреннем истощении и разложении коммунистической партии. «Власть развращает», «диктатура ведет диктаторов к духовному вы-

рождению», «коммунисты одиноки в стране, и потому должны внутренне скоро дезорганизоваться», «они превращаются в замкнутую, изолированную касту», «они обюрократились, оторвались от народа, от страны» и пр. и пр. Во всех этих и подобных рассуждениях, забывались весьма существенные обстоятельства. Одно: коммунистическая власть была и остается до сих пор самой гонимой, самой угнетенной, самой еретической и, следственно, самой ненавистной властью для всех «князей мира сего», начиная с Рокфеллера и Пуанкаре и кончая тупым русским окуровцем и растеряевцем. Оттого это—и это второе,—что коммунистическая власть защищает кровное, неот'емлемое, нужное социальным низам, с которыми она борется с тьмой египетской за исход в новую землю ханаанскую. Этого основного и самого главного, что власть нового демоса самая угнетенная, что она—особая власть, не понимают наши ненавистники. Без этого же нельзя понять, как и чем жила внутри партия коммунистов, почему она не падает, почему не разложилась она и не выродилась. Источником новых, неизведанных тягот, тревог, лишений, жертв, борьбы, страданий, потерь, но и радости, конечно, была власть для того основного кадра, который вышел из подполья и взял в неопытные руки ее не с тем, чтобы «почить на лаврах», а чтобы еще выше поднять знамя священного восстания над землей, попавшей в рабство.

Об этой страде, о вечной, неустанной, беспередышной борьбе в новой обстановке, рассказывают нам наши писатели-коммунисты.

При всем различии в характере и в степени одаренности их, у них есть несомненно много общего, помимо отмеченного выше. Их вещи пронизаны волнующей, предельной напряженностью, драматизмом и пафосом борьбы наших дней, когда история, не считаясь с относительностью сил человеческих, взвалила на рамена живущих и действующих, сколько никогда не вынес бы человек в обычные, так называемые, органические эпохи. Их главные, ценимые ими герои просвечены величайшей ответственностью пред историей, полны сознанием грандиозности поставленных революцией задач; наконец, они живейшим образом ощущают тот народ, чьи интересы защищаются ими в губисполкомах, на фронте, в чека и т. д., чутко прислушиваются и внимательно следят за подпочвенными течениями, невидными на поверхности.

Художественные, вдумчивые, памятные страницы о недавнем прошлом дает А. Аросев в своих «Записках Терентия Забытого» («Страда») [1]. Записки подкупают своей неискушенной простотой, прямотой, ясностью и внутренней честностью. В них почти нет сюжета, нет цельности, это—воистину записки. Манера—несколько небрежная, без тщательной отделки; кажется иногда, что автор как будто пишет между делом, на-спех, на всякий случай:— могу написать, а могу обойтись и без этого, как хотите. Главы не сведены «к одному знаменателю», в повести нет оси; связь не по фабуле, а по настроению. Ни выкриков, ни громких слов, все по будничному просто, обыденно и, вместе с тем, читатель все время с напряжением и волнением следит за по-

[1]) А. Аросев, „Две повести", Книгоиздательство артели писателей „Круг", 1923 г.

вестью, потому что все здесь родное, понятное, перечувствованное, сложенное в тайниках сердца и рассказано талантливо.

Повести Аросева повезло за рубежем. Его «Записки» усиленно комментировались в белой прессе, при чем белые публицисты, подчеркивая одаренность автора, старались доказать, что повесть Аросева навеяна упадочным настроением и свидетельствует о неблагополучии в рядах коммунистов. Такая позиция вполне понятна: зарубежным публицистам нужно обезвредить значение «Записок», а значение их в том, что они вводят во внутренний мир таких людей, для которых у зарубежных критиков, кроме выражений: хамы, звери, кретины, душегубы,—ничего иного не существует. Представьте себе теперь, что появляется художественная вещь, в которых «звери» и «хамы» даны в такой художественной зарисовке, что читатель чувствует всю фальшь и лживость критических зарубежных упражнений,—видит, что правда здесь, в этой повести, правда о людях, сохранивших в огненной купели революции, в страшных, прекрасных и жестоких днях душу живую, чуткую, страдающую и действенную. Если дальше принять во внимание, что задача художника в конечном итоге сводится к тому, чтобы пробуждать симпатию, антипатию, любовь и ненависть к изображаемому, станет вполне понятным, почему столько внимания за рубежем уделяется «Запискам» Аросева, почему «сам» Гессен усиленно хлопочет вокруг них; тем более, что, при известной преднамеренности, из «Записок» легко надергать цитат, снабдив их соответствующими комментариями. Факт, однако, тот, что ни один, насколько нам известно, из белых критиков не смог изобразить большевиков из «Записок» Аросева, как душегубов, зверей и пр. И в этом—основное, в этом бессилии белой прессы победа Аросева, как художника. И не помогут здесь комментарии и доклады Гессенов. Все это—суета сует. Доклады и фельетоны забудутся, а повесть останется.

В советской печати дело ограничилось тем, что кое-где были обронены две-три неряшливых фразы; повесть пропитана, мол, интеллигентщиной, буржуазностью, упадочным духом и, к тому же, бесталанна. Правда, приходилось нередко слышать и другие мнения, исходящие от вполне вдумчивых людей, но такие мнения не нашли себе отголоска в печати.

«Записки» Аросева не просто о коммунистах, а о коммунистах на вышках: предгубисполком, комиссар дивизии, председатель в губпрофсовете, опять предгубисполком. Все они чаще всего—старые подпольщики. В прошлом—темные годы тюрьмы, ссылки, мастерской, беспрерывных и бесприютных скитаний. В настоящем—революция взвалила новую ношу и радостную, и тяжкую—власть. Власть пришла неожиданно и потребовала новой закалки от людей из мастерских и подполья. Оказалось необходимым на новый лад перестраивать себя. А человек—не скрипка.

Бывший столяр, председатель в губпрофсовете, Деревцов, говорит своему другу Терентию, слесарю в прошлом:

— Соскучился я о свежем пахучем дереве, которое поет под рубанком и выбрасывает золотые, скрипучие стружки, ядреные, смолистые и кудрявые. Эх, я бы поработал теперь, именно теперь, не из-за хлеба, для любви...

— Нет, ты гляди вперед, а не назад,—ответил я.—Чай будет уж рубан-

ком-то стругать. Рубанка для нас, для тебя уж мало, теперь—другое. Переломиться надо, понимаешь? Переломиться!.. Другим человеком надо сделаться...

— Да ведь я—рабочий.

— Только с грузом: с властью... вот поэтому и надо себя переломить...

Пришло новое, огромное, перетрясло все до дна; оно властно диктует новые задачи, а человек еще в прошлом, в былом. Таков закон инерции. «В мире что-то случилось. Большое, непоправимое. Об этом сердце получило смутную весть». Все дело в этом: только смутную весть подает сердце; оно еще не приспособилось, не переплавило в себе совершающегося, отстает оно от бешеного темпа жизни.

А события не ждут. А революция настоятельно требует разрешения тысячи вопросов. Ни отдыха, ни срока. Отсюда—своеобразная резиньяция: «лезут в голову всякие мысли. А мысли в наших головах все равно, что свиньи: перероют, перероют все, да так вверх тормашками и оставят».

Какие же мысли, вокруг чего и кого вращаются?

Тут, действительно, тьма тем вопросов.

Терентий в провинции на месте предгубисполкома раздумывает:

— Надо, чтобы фабрики закурили свои трубы. Доменные печи раскрыли бы огнедышащие пасти. Лопаты подкопались бы под мохнатые лапы земли, добывая уголь... Нам надо так много сделать, словно мы из первобытного дикого состояния перескакиваем в социализм...

... — Узнать бы, как мужик думает...

... — Мысленно проклинаю интеллигентов. У них много знаний, да теперь ни к чему, если они у них, а мне бы как раз вся их наука и пригодилась. В прошлый раз написал в бумаге слово «жолтый», а мой секретарь, лысый, лоснящийся интеллигент, перекосился улыбкой, да и говорит:

— Позвольте поправить: здесь нужно не «о», а «е», не жолтый, а желтый.

— Все равно,—буркнул я ему в ухо.

— Слушаю. Оставим так.

А у самого в углах губ ядовитый смех... И тоже ведь «коммунист»...

В партию затесываются «мышиные глазки», для которых «все на фунты», ловкие карьеристы Пирские,—Терентий «гамлетизирует»:

... — У нас много врагов, особенно опасны те, которые, под шум и грохот революции, получили коммунистический паспорт.

Тьма тем вопросов и на фронте. Огромный, размашистый, добродушный Столапов жалуется:

— Маныч—это само собой, а вот помайся с дивизией, как кухарка с большой артелью: того нет, этого нет, там, глядишь, взбунтовались, оттого, что босые. Здесь у крестьян овец уперли, скандал за скандалом... А тут еще спецы.

Деревцов «гамлетизирует» по поводу холода, голода в городах, тьмы и глухой борьбы против коммунистов. Чекист Клейнер, никогда не улыбающийся—по поводу расстрелов. Он израсходовал всю душу на революцию, на

расстрелы и думает о каком-то экране на площади, где будут «показывать публике, как наказывают за разные преступления». Можно показывать и убийства, т.-е. это расстрелы,—может быть, тогда меньше расстреливать придется.

Наше родное все это, злободневное, начиная от необходимости переломиться, до расстрелов. Ими болела, «гамлетизировала» наша партия пять лет, никакой интеллигентщины в этом нет и в помине, и в том, что эти вопросы неотступно стояли и жгли каждого из честных коммунистов, что на них были сосредоточены главные помыслы,—в этом вернейший залог свежести, здоровости, деловитости, бодрости нашей партии. Чрез это «гамлетизирование» она крепкими, прочными нитями связывалась с массами, являлась чутким проявителем и выразителем ее интересов. Здесь тó священное революционное беспокойство, та тревога, без чего партия не смогла бы ни побеждать, ни контролировать себя. «Гамлетизирование» это особенное: оно—действенное. Работают, не покладая рук, Терентий, Столапов, Клейнер,—даже Деревцов кончает счеты с жизнью на посту, даже карьерист Пирский делает полезное дело; изнемогает от голода и работы Маруся. Работа эта, правда, не показана автором, она—где-то за кулисами, но читатель все время не упускает ее из внимания, от нее идут раздумья героев повести. Это—не русские Гамлеты из Щигровского уезда, не Рудины, не лишние люди, не чеховские тоскующие дяди Вани. «Гамлетизирование» Терентия не дает успокоиться, кое для кого оно может быть вредным, но, в целом, для партии оно является живой и мертвой водой, «богом живого человека». И ведь не в том дело, чтобы не сомневаться, не оглядываться, а в том, чтобы «хотеть, хотеть всем существом, и средь страданий крестных даже, в минуты скорби и тоски предсмертной» хотеть и действовать. Терентии хотят и действуют. Здесь не дух Гамлета, а скорее дух Фауста, то неутомонное, вечно живое, подвижное начало души человеческой, которое не успокаивается на достигнутом и ищет новых, непроторенных путей, от чего омолаживаются сердце и ум, и человек остается до конца актуальным.

Могут возразить: герои Аросева «гамлетизируют» не только по поводу паровозов, шахт, голода и холода: Деревцов изверился, не знает, чтó несет с собой победа на фронтах, чтó будет завтра, и кончает жизнь самоубийством. Столапов только с виду дубовый человек — в действительности, он «мягок и любит красоту», в минуты отдыха отдается весь скрипке; наконец, сам Терентий мечтает «об об'ятиях необыкновенной девушки, такой, какой даже нет на свете», его грызет тоска, одиночество, которые он прячет внутрь; какое-то беспокойство, «больше, глубокое, словно хочется мне весь мир охватить, а он—необ'ятный»; грусть в глазах.

Но если надо переломиться, то непременно кое-кто и сламывается: без этого не обойтись. Так сломился Деревцов: устал, измучился на работе. Если надо стать другим человеком, то ведь «другой человек» не выходит подобно Фениксу из пепла или Венере из волны морской. Мертвое хватает живое. К новому человек идет с тяжелым грузом прошлого, предрассудков, атавистических привычек и навыков. Он идет со своим маленьким «я», со зверушечьим сердцем своим, со своими сомнениями. Кроме того, дело рево-

люционное требует всего, революция не миндальничает. Терентий пишет о своих отношениях к Деревцову: «действуем по-прежнему вместе, плечом к плечу, в одном деле, а все-таки между мной и им образовался какой-то заслон, который не пробуравишь никакими словами... Мы утеряли связь»... Так оно и бывает, и не может быть иначе в огромном деле, когда революция все пересортировала, раскидала людей, подчинила себе.

Аросева упрекают в том, что он изобразил нахождение коммунистов у власти, как страду. Но в этом его заслуга: власть, наиболее преследуемая и угнетенная, воинствующая является страдой. В «Записках» Аросева, впрочем, может быть, действительно, есть налет раздумий в слишком сгущенном виде, но останавливать внимание только на этом, значит не замечать того ценного и глубоко правдивого, что вылилось у автора в настоящей художественной форме.

Между прочим, автора «Записок» упрекали за необычайный для коммуниста, народнический, деревенский конец повести: будто бы, Аросев нашел разрешение сомнений в деревенской Матрене. Терентий «почувствовал всей душой, что темное время—позади нас. Опасности—впереди. А солнце и труд—с нами». Навеяли это настроение: «солнце красное» и разговор с Матреной, заявившей: «теперь нам республику давай». При чем тут народничество—непонятно. От дум деревенских Матрен и Иванов зависят судьбы русской революции, это—основное положение коммунизма.

Второй значительной вещью у Аросева является повесть «Недавние дни». Здесь, помимо коммунистов, выведен ряд других лиц: эс-эрка Палина, старик Фаддеич, генерал Самсониевский, фабрикант Копылов, юнкер. В настоящем очерке, нас интересуют коммунисты. В «Недавних днях» о них рассказывается, в сущности, то же самое, что и в «Записках» в ином только освещении и с другой стороны. Главное лицо в повести—бывший рабочий Андронников. Первый период протекает у него в боевой работе, сначала—в Москве, где он организует облавы и обыски, участвует в ликвидации лево-эсэровского мятежа, затем, на чехо-словацком волжском фронте. Судьба сталкивает его со старой знакомой по ссылке, эс-эркой Палиной, с которой он пытался когда-то сойтись. Теперь дороги разошлись: Андронников арестует ее в Москве, потом на фронте выслеживает Палину, как агента белого командования, и расстреливает. Переламываться, оказывается, необходимо не только в кабинете предгубисполкома, но и в личных интимных отношениях к людям, в недавнем дорогим и любимым. Перелом, на сей раз, дан автором не извнутри, а извне, в событиях, в картинах гражданской войны.

Борьба на фронте закончена. Андронников едет в Москву; он еще во власти фронтовых впечатлений, тревог и забот. А в Москве уже все по-иному. Другой период революции. На очереди—деловая, хозяйственная работа. Портфель, кабинет, папки с надписью «Дело», срочное заседание в Пуре, злободневные вопросы заводской жизни, обюрократившийся Резников, споры с Бабаевым о рабочей оппозиции, ежедневная советская суто-лока. И опять нужно переламываться, приспособляться к новым условиям Снова борьба.

Несколько замечаний об Аросеве, как о художнике.

Два-три примера. Андронников вспоминает об одном вечере в ссылке с Палиной:

— ... Андронников, прошагав по комнате, вдруг, как вихрь, сбросил книги со стола, чуть не уронил лампу и обнял Палину. А Палина откинула голову назад, глаза ее заискрились бесовским озорством, и она, перед его горящим взглядом и красными губами, показала ему язык... Палина оказалась сильной, как зверь, и ловкой, как ведьма. Ни тот, ни другой не могли проронить ни слова, боясь, по инстинкту, нарушить возбуждающее молчание, эту игру нервов, эту жестокую животную борьбу... И черная пасть русской печки посреди избы пробуждала в душе что-то древнее—звериное, родовое. Печь была давно истоплена, в ней потухли угли и из открытой черноты несло жаром очага... «Ведьма»,—мелькнуло в разгоряченном мозгу Андронникова—и страх об'ял его. Но не страшный страх, а сладкий. Его словно вышибло из времени и он почувствовал себя черным язычником. Бревенчатые стены избы, зашпаклеванные кошмою, русская печка, пышащая теплом, повеяли чем-то кровным, материнским, вековечно родным...

В «Записках» Терентий на фронте вспоминает о матери:

— С тех пор, как я стал революционером, лет 13 тому назад, я заметил в глазах матери выражение вопроса: будто она хотела о чем-то спросить и, вместе с тем, боялась ответа. Вопрос без ответа—вот что светилось всегда в ее взоре, когда она смотрела на меня...

Это—подлинное художество. Конечно, у Аросева есть вялые, скучные страницы, но вы найдете их и у общепризнанных талантов. Говорится это не для вящшего прославления Аросева, а к сведению неряшливо бормочущих: бесталанная интеллигентщина. Нужно научиться ценить своих товарищей с искрой неподдельного таланта, ибо в величайшем труде, в заботах, в борьбе кровавой партия воспитывала и работала над ними, чтобы когда-нибудь написал человек нашей среды о родном и дорогом даровито и справедливо.

Выписки сделаны не случайно. Дар Аросева—не изобразительный. У него нет четких, отточенных фигур, яркого, врезывающегося, нет внешней изобразительности, как, например, у Замятина. Аросев настоящий — в передаче настроений, раздумий, переломов, сомнений, душевных движений. В персонажах своих, в их внешности, в жестах, в действиях он ищет отражения внутреннего, просвечивания того, что делается в духовном мире человека. В «Записках» лучше всего удалась Аросеву деревенская баба Матрена: «не то это женщина, как женщина, не то мать, которая хочет согреть. Вот ведь деревенская баба: и мать, и девка»... В «Недавних днях» запечатлевается Фаддеич, у которого засохла душа и из глаза никак не может исторгнуться слеза. Очень чутко автор подошел к Ленину: «и доброта, и строгость, и смех, и ум, сливаясь вместе во что-то особенное и, вместе с тем, простое человеческое, кружилось, навевалось вокруг Андронникова». Именно так. Простое, человеческое вокруг Ленина ощутимо почти как некая физическая среда. В этом—одна из тайн влияния Ленина на товарищей по партии.

Во всех этих обрисовках художник отправляется от духовного мира, освещает извнутри. И в этом—призвание Аросева, как писателя. Он даже не мемуарист-художник, а мемуарист внутрипартийных душевных состояний.

Наоборот, Аросев вял, когда переходит к событиям, к фактам. Не любит он их изображать, а когда приходится, делает спустя рукава. Проследите, для примера, в «Недавних днях» борьбу на улицах Москвы, войну на фронтах. Бегло, случайно, вяло. Оттого еще вещи бессюжетны в сущности, не отделаны со стороны, прежде всего, фабулы. Впрочем, незаконченность случается нередко у Аросева и просто от небрежности. Упорной, длительной работы в вещах Аросева не чувствуется, это—серьезный враг Аросева. Следует также освободиться от избыточной резиньяции и скепсиса.

Язык Аросева, в отличие от господствующей манеры среди молодых писателей, прост, лишен всяких внешних эффектов. Линия тут идет от Толстого, а еще больше, пожалуй, от Мопассана, ибо Аросев — несомненно, импрессионист.

IV.

Повесть Юрия Либединского «Неделя», напечатанная в № 2 альманаха «Наши дни», во многих отношениях соприкасается с вещами Аросева не только по теме, но и по подходу, по настроениям. Повесть, несмотря на ряд художественных погрешностей—о них ниже,—является вторым радостным подарком, для коммунистов в особенности; а самый факт появления в литературе вслед за Аросевым Ю. Либединского вселяет бодрость и уверенность, что и на идеологическом, художественном фронте мы, коммунисты, мало-по-малу начинаем забирать у наших врагов позиции чрезвычайной серьезности и важности.

В «Неделе» тоже нет ничего надуманного, головного; жизненный материал, наоборот, подавляет автора, и он не всегда справляется с его обилием.

Повесть читается не только с неослабным интересом, но, местами, жжет, опаляет. Таково, например, письмо молодого чекиста Сергея Сурикова. Наряду с мягким, немного грустным лиризмом «Неделя» напоена до краев страшной действительностью революции, когда в борьбе, в окружении, в неимовернейших, не человеческих напряжениях, среди бескрайних, угрюмых, враждебно-косных равнин, улиц, крепко сбитые и сколоченные, кожаные люди отбивались и утверждали волю революции, эпохи, волю завтрашнего в сегодняшнем, непременную, исторически неизбывную—«категорический императив» Восстания и Победы, Завет новый и скрижали, — когда творили героически, непоколебимо, памятуя и веруя.

Небольшой, заброшенный, отрезанный от крупных центров сибирский уездный город, в лесах, в снегах и метелях. В городе—обозленный, одуревший, сбитый революцией с толку, обыватель. За городом—села, овины и крестьяне, тоже обозленные тяжкой продразверсткой; бродят белые банды где-то около, близ города. А в нем—partком, чека, исполком, мужчины и женщины: «чаще молодые, чем старые, в серых шинелях, поношенных черных и синих пальто. Различны улыбки, глаза, движения, походки — и все же во

всех что-то сходное есть, словно всех озаряет одно и то же, далекое утреннее солнце». Коммунисты.

Их не так много, но они — одно целое. На них, как на стержне держится в округе рабоче-крестьянская власть. Рабоче-крестьянская? Но ведь обыватель озлоблен, равнодушен; крестьяне готовы, местами, даже к бунту. Рабоче-крестьянская? Но им, этим людям, самим кажется, что они «ходят по топкой и ломкой ледяной корке, под которой бушует яростная вода, готовая все снести и все затопить». Корка ломается. В городе вспыхивает восстание: часть обывателей, крестьян ближайших мест в неистовой злобе, под руководством опытных, видавших виды белогвардейских заговорщиков рвет, увечит, издевается, превращает в кровавые месива пойманных коммунистов; восстание останавливается железнодорожными рабочими и ликвидируется подоспевшими красноармейцами. Коммунисты гибнут и подавляют восстание, ни на минуту не сомневаясь, что они отстаивают правое дело, рабоче-*крестьянскую* власть. На этой двойственности: на окружении обывательско-крестьянской враждебной стихией, на ощущении, отсюда, «тонкой, ломкой корки» под ногами и—с другой — на уверенности, что организация отстаивает и представляет рабоче-крестьянские интересы—на этой коллизии построена вся повесть. Откуда же такая вера? Что ее питает? Дело, повседневная борьба, содержание работы. Восстание происходит в тот момент, когда организация поставила всех членов на ноги и все свои силы, в том числе и воинские части бросила на заготовку дров за городом, чтобы к сроку доставить дрова к железнодорожной ветке, по которой, во что бы то ни стало, нужно получить семена для сева крестьянам: иначе будет голод. Этим моментом и воспользовались банды. Вышло так, как получалось в сотнях подобных случаев: восстание срывало насущно-необходимое дело для края и, прежде всего, для деревень. И в этом—оправдание и доказательство, моральная и политическая правда «мужчин и женщин», у которых—общее и отличное от других множеств. Делом, кровью, жизнью утверждали они свою правду. Оттого у них—ни тени сомнений, ни колебаний. Оттого—героизм, подвижничество, жертвенность, бодрость и свежесть, но отсюда же и драматизм отдельных лиц и целой организации.

Страда. Как у Аросева. Только в другом разрезе и плане. Но только отчасти, потому что во многих отношениях повесть Ю. Либединского соприкасается с записками и очерками Аросева. В ней тоже много раздумий, анализа, а драматизма, напряженности еще больше. Анализирует и раздумывает Мартынов, молодой интеллигент, вошедший в партию с революцией. Он честно работает, верит в дело, в партию, геройски погибает на посту во время восстания, но постоянно рефлексирует о судьбах коммунизма, революции, человечества. Его, бывшего барченка, «точно стеклянная стена выделяет из рядов партии, делает его одиноким и заставляет мучительно страдать». Положение осложняется еще личной драмой, любовью к девушке из прежней среды, ушедшей в мистику, в молитвы, в богов. Анюта Симкова, член компартии, работающая без отдыха, честная и чуткая, признается Климину: «я знаю, многие думают: вот Симкова, как кремень... я молчу... а сама

я внутренно усмехаюсь: если бы знал хотя бы тот же Мартынов, как я могу иногда сомневаться». Дальше она говорит о вшивых, голодных и беспризорных детях, о мужиках на вокзалах, о спекулянтах и комиссарах в галифе, о казенщине в центре. Вздернут на дыбу, испеплен огнем революции чекист, юноша Суриков. Его письмо о расстрелах—лучшее и самое сильное в повести. Подлинно: написано оно не чернилами, а кровью, густой, липкой и еще свежей, еще свежей совсем и дымящейся, парной. Про Сурикова правильно сказал один его товарищ: «он работал, как заколдованный. И только вдруг как-то увидел ужасы расстрела, содрогнулся и погиб». Хорошо, что у нас есть такие чекисты, и глубоко прав у Аросева Клейнер, утверждающий: «что необходимо, то не развращает». И как все это правдиво и как не похоже на писания эс-эров, меньшевиков, Бурцевых, где Суриковы, Климины и Клейнеры — в образе апокалипсического зверя, адского отродья. Когда *на такой* работе Суриковы остаются с душой живой, хотя и из'язвленной, значит верно и крепко дело коммунизма, и пусть поджидают наши супротивники-«пересилины» вожделенного мига. Пусть ждут.

Возвращаемся к «резиньяциям». Военком Караулов, простой и честный рубака, сознается: «главное, слезы у меня не бывает, когда я трезвый. А вот налакаешься, так ровно кто душу отворит, и ревешь»... Даже старый ветеран Робейко, в последнем градусе чахотки, продолжающий руководить организацией, человек, трепещущий последними остатками жизни в хилом, из'еденном теле, даже и он переживает приступы одиночества, тоски, оставленности. Происходит это оттого, что свое, маленькое, интимное у всех героев Либединского отодвинуто волей революции и партии на задворки. Не до «переживаний», некогда. Все уходит в дело, а дела много, не справишься, а дело разраслось, оно разное. Об этом же и у Аросева. Климин и Симкова любят друг друга, но им до последнего, до смертного часа не удается обменяться даже простыми дружественными словами. Сердце взято в каленое железо, сбито стальными обручами дисциплины, ответственности. Революция — самая требовательная богиня и безжалостная: она требует всего. И тогда приходит такая партия, такой орден красных рыцарей и, как цементом, скрепляет человеческий песок, сжимает рукой крепкой и родной, делает из ломкого и гибкого стрелы каленые и посылает их во множествах в лагерь врагов, и стрелы летят, и они каленые и смертельные

Буржуа, мещане говорят: партия подавляет личность, коверкает, она обезличивает. Да, она подавляет ненужное, прошлое, мертвое, вредное, обывательское, наконец, просто несвоевременное,—и она создает, творит новую личность, то, что идет от грядущего, что жизненно и необходимо для побед. Обыкновенных, средних людей она преображает и делает героями. У Либединского—коммунисты героичны не в силу и не в меру личных качеств своих, а потому, что их вскрылила революция, дисциплинировала и передала свой героический, накопленный десятилетиями дух, партия, закаленная, поседевшая в боях. Мартынов, Анюта Симкова, Лиза Грачева, вне партии и революции, в лучшем случае, были бы средними, нормальными людьми, в худшем—нытиками, брюзгами, индивидуалистами, мещанами,

партия подняла их на высоту настоящего пафоса борьбы и самоотверженности. При этом, их героизм—незаметный, будничный, само собой понятный, не крикливый, в нем нет ни грана от эс-эровщины, керенщины,—без выпячивания и прославления своего «я», без самолюбования, тот самый деловой героизм, который составляет отличительную черту большевизма. Вообще, партия у Ю. Либединского—на первом плане. Она — главное действующее лицо, ее читатель ни на минуту не выпускает из внимания. В этом повесть его отлична от вещей Аросева, где партия—в тени, где-то за кулисами, хотя ощущается постоянно.

Большая заслуга т. Либединского, как художника, в том, что ему хорошо удались положительные типы; Климин, Робейко, Горных, Стельмаков, Караулов и другие. Неудачи в этой области у писателей—общеизвестны. С этой задачей редко кто справлялся как следует. Чаще всего, положительные типы выходили слишком добродетельными, а отсюда манекенными, нарочитыми. Таким героям читатель обычно не верит и старается как можно скорей скачать их с шеи, т.-е. забыть. У Либединского—этого нет. Его героям веришь. Они живы, взяты из гущи жизни. И здесь партия оказала писателю могучую поддержку: она располагала и располагает благодарным материалом; «положительные» типы выпестованы партией и революцией.

«Неделя»—с очень занятной фабулой, что усиливает интерес к ней при чтении. В отличие от Аросева, Либединский не мемуарист, а повествователь, при чем его фабула хороша в своей серьезности, в соответствии с пережитым, и очень далека от надоевших, опостылевших любовных завязок и развязок в романах и повестях «доброго старого времени». Любовь, впрочем, и здесь есть, но это в повести, выражаясь языком Базарова, дело десятое.

Повесть написана стихами в прозе, не всегда выдержанными в ритме, но нет шаманства со словами, вещь проста, легко укладывается в голову. Автор умеет подойти к природе; для нее у него есть свои, очень хорошие слова: «деревья были, словно после болезни» (весной. А. В.)... «после гулкого залпа, *от которого ближние березы уронят снежную пыль,* пять человеческих тел упадут глубоко, глубоко в черноту каменоломни» (расстрел. А. В.). Или начало повести: «весна задремала, положила голову на колени и, сидя, уснула где-то на далекой лесной поляне»... Все это хорошо.

Либединский—писатель молодой, почти юный. В печати он появляется впервые. Ни в коем случае не следует ему обольщаться успехом. Его работа над собой, и упорная,—еще впереди. В первоначальном виде, в рукописи было много длиннот, рассуждений; как будто автору мало было дать типы, картины, ему все время хотелось еще дополнить их агитацией, подсказать, навязать читателю свои выводы. Кроме того, с ним, как с молодым художником, происходит обычное: он старается втиснуть как можно больше материала, сказать все, что накоплено внутри, и разжевать еще материал читателю. Этого не надо делать. Следует ограничивать себя.

В повести нет цельности; не повесть, а картины, лица, связанные общим событием, мятежем. Органичности нет в его вещи. Случайна, далее, фигура учителя в конце повести. Она нужна, но автор прилепил ее неумело. С учи-

тельницей Лизой Грачевой автор, по-нашему, не справился; она слабей других, хотя задумана хорошо, местами трогает, но по большей части подслащена, с сахаринцем.

Повесть Ю. Либединского напечатана не очень давно, но уже не обошлось без печальных курьезов. На одном из собраний коммунистов-литераторов, один из старых критиков заявил, что повесть... контр-революционная.

Тяжко все это слушать. И хорошо, что тов. Бухарин в «Правде» отметил «Неделю», как талантливую коммунистическую вещь. Она стоит этого.

V.

«Шоколад» Тарасова-Родионова, появившийся в декабрьской книжке «Молодой Гвардии», испорчен. Несмотря на то, что прежде всего повесть местами производит сильное впечатление, совершенно непереносен напыщенный, полубульварный стиль, который не всюду, но достаточно досадно дает о себе знать и портит повесть. «Людям свойственны страсти, и все мы не пуритане. Поиски сердца могут быть часто бесплодны»,—это говорит так чекист Зудин своей будущей сотруднице. Или: «поддаться на чувство беспечных страстей мне как раз нельзя»... Героиня тоже об'ясняется в таком же возвышенном стиле: «если вы так решили безжалостно... мне заплатить за сердечный порыв моих чувств». Таких мест в повести очень много. Безвкусно, отдает бульваром. Встречаются и такие выражения: «мы решим по нему заключение». Далее, автор до приторности старается пред читателем за своего героя Зудина; ему мало показать его с хорошей стороны, как коммуниста,—он заставляет читателя смотреть Зудину в рот, как он ест кашу без масла и конину. — Председатель Чека ест кашу без масла и конину, конину, — долбит писатель. Такое натаскивание читателя — и в других местах. Неуместны, художественно неправдоподобны длиннейшие тирады Вальц и Зудина при об'яснениях у печки (тоже печки, но как это плохо, по сравнению с Аросевым!), не нужен в конце символический полубред Зудина по поводу рабочих шоколадных фабрик и плантаций, недурной вообще, но чрезмерно длинный. О других, более грубых дефектах—ниже. Жалко, что повесть Тарасова-Родионова появилась в таком сыром виде, жалко потому, что в своей первой части она могла быть хорошей повестью и что в ней есть сильные, выигрышные места.

Повесть названа, почему-то, фантастической; хотя человеку, знакомому с жизнью нашей партии в годы революции, не трудно догадаться, что в основу ее легло истинное происшествие, при чем автор иногда использовал это происшествие довольно протокольно. Да и вообще фантастического в ней решительно ничего нет.

Речь идет о шоколаде в прямом и переносном, символическом смысле. Бывший рабочий Зудин, председатель Чека, честный, прекрасный работник оказался слишком доверчивым к балерине Вальц. За это доверие он поплатился жизнью: его расстреляли, хотя товарищи убедились, в конце концов,

в его непричастности к взяткам, которые брала Вальц: слишком широко распространилась молва о взяточнике Зудине.

Тема о «шоколаде», об обломках старой культуры, об этой блестящей мишуре, опасной особенно для неискушенных Зудиных—тема свежая и современная. У старой культуры для Зудиных много побрякушек, таких невинных с виду, но таких вредных в итоге. И мы знаем, как на приманку их льнут и портятся самые добросовестные и преданные строители нового. Тарасов-Родионов, несомненно, ударил в точку, и сюжет у него богатый, и в этом—его заслуга. К сожалению, автор не ограничился темой о «шоколаде», но вплел сюда еще другую, пустился в своеобразную философию, и в ней безнадежно завяз. Зудина расстреливают потому, что слухи об его взяточничестве пустили глубокие и широкие корни. Товарищи, судившие Зудина, убеждены, что расстрелять Зудина нужно для массы, для толпы. Старый друг Зудина, Ткачев, говорит ему перед расстрелом: «черного кобеля не отмоешь до-бела... Самую возвышенную идею необходимо связать и обосновать на самом узком и жадном интересе масс... Они только искренно верят, что видят... Слепая вера толпы в материальное равенство всех людей уже изжита»... Зудин с Ткачевым соглашается.

Нужно решительно протестовать против попытки автора выдать рассуждения Ткачева и Зудина за коммунизм. Мы знаем «массы», и на них опираемся, у которых борьба за самые непосредственные интересы совпадает с величайшим идеализмом, энтузиазмом, жертвенностью, благородством. Только буржуи, привыкшие надувать, обманывать, видят в классовых интересах низменное, животное. «Они (массы) только искренно верят, что видят». И это говорится после октября, когда трудящиеся упорно и стойко переносили голод, холод, тиф и побеждали! «Черного кобеля не отмоешь добела»... Что за мерзостный стиль! Нашим массам, рабочим, не так уже трудно выяснить, что случилось с Зудиным, и совсем не нужно было его расстреливать—это, прежде всего, нецелесообразно бросаться подобными работниками. И что, если массы, где работал раньше Зудин, пойдут к Ткачевым и попытаются узнать, за что расстреляли Зудина? В одном аналогичном случае, весьма похожем на тот, о котором рассказывается в «Шоколаде», так, приблизительно, и было. В частности, в моменты революционные, «массы», обычно, идут впереди своих вождей, если не сознательно, то по инстинкту.

Рассуждения Ткачева о массах какое-то ницшеанство, эс-эровская декламация о героях и толпе, что угодно, но не коммунизм.

Эти рассуждения дополняются другими, еще более подозрительными. Зудин расстрелял перед своим арестом около сотни арестованных за убийство чекиста Кацмана. «Они ударили по личности... а я взял да и ударил по классу. Я уничтожил первых встречных из их рядов, только первых встречных, ни больше, ни меньше... я расстрелял сознательно арестованных, совершенно невинных людей»... и т. д. Личная ответственность—буржуазная выдумка. С Зудиным соглашаются другие его товарищи. Дико все это звучит. У нас были массовые расстрелы, были расстрелы заложников, но ни партия, ни органы Сов. власти никогда не мотивировали их по-зудински; бей первых

встречных, потому что нужно ударить не по личности, а по классу. Старались заложниками взять наиболее известных в прошлом слуг реакции, особенно вредных и т. д. Прибегали к массовым расстрелам в ответ на невероятные, тоже массовые неистовства белых над рабочими, крестьянами, революционерами. Были излишества, ошибки, ненужное? Но не следует это возводить «в перл создания». Марксистский коммунизм не отрицает личной виновности и ответственности. К чему, в противном случае, наши суды? Коммунизм не придает этой идее абсолютного безотносительного характера в отличие от буржуазных теорий, он не фетишизирует эту идею, твердо памятуя ее человеческое значение, применяясь ко времени и месту. Но это—совсем иное дело.

Повесть Тарасова-Родионова нуждается в радикальной переделке. Только тогда из нее выйдет толк. В «Молодой Гвардии», органе Ц. К. Комсомола, ее печатать в таком виде не подобало бы. А художественные данные у автора имеются. Вещь все-таки интересная в своей первой части.

Только теперь, с художественной стороны нашими писателями-коммунистами начинает выясняться и показываться, в какой нечеловеческо-трудной, но и героической обстановке жила наша партия в течение последних лет. Впервые получилась возможность отойти несколько в сторону, окинуть более спокойным, изучающим взором недавнее прошлое. Партия достойна величайшей в истории революции. Пусть об этом еще и еще расскажут нам родные и близкие люди по-родному и близкому. Это нужно. Ошибки будут, без этого не обойтись, но нужно, чтобы пережитое было записано и в художественных образцах.

Кстати. И у Аросева, и у Либединского, и у Тарасова-Родионова чекистам особенно везет. Любит русский человек достоевщинку. Не слишком ли много Чека?

P. S. Как показали последние дискуссии, вокруг «Шоколада» уже создалась нездоровая атмосфера. Этого и следовало ожидать: правильное и своевременное в повести Тарасова-Родионова переплелось с отсебятиной и своеобразной смердяковщиной. Но это тема особая.

Организованное упрощение культуры[1]).

М. Левидов.

I. Некролог.

Основной тезис таков: революция, в отношении духовного быта, есть организованное упрощение культуры, и особенно русская революция, и особенно русской культуры. И лозунг: это упрощение есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса.

Но, давайте, условимся о терминологии. Ибо доказательство тезиса и иллюстрация лозунга требуют терминологии отчеканенной и недвусмысленной.

Культура мыслится, как совокупность благ духовного быта, т.-е. благ, удовлетворяющих потребности не первой необходимости, отвечающих и соответствующих усложненным и обогащенным потребностям. От этого определения не уйдешь: при всей банальности его, оно не мертво, не стационарно, оно таит в себе необходимую диалектическую динамичность. Ибо меняются, и развиваются—пусть даже противоречиво—потребности, и соответственно этим изменениям функционирует аппарат культуры, соответственно меняется выбрасываемый этим аппаратом на рынок «набор продуктов второй необходимости», т.-е. комплекс благ духовного быта. И таким образом, культура—т.-е. комплекс, набор благ духовного быта—в отличие от набора благ материального быта (и только в этом аспекте имеет смысл ходячее противоположение культуры и цивилизации), итак, культура остается неизменной, как логическая формула, постоянно меняя однако свое жизненное содержание.

Несомненно, для каждого ясно, что революция российская выявлялась, как процесс, воздействующий на судьбу комплекса благ материального быта, на его создание и распределение. Не так несомненно, не так ясно, что таковую же роль она играла по отношению к комплексу благ духовного быта. Об этой роли пойдет речь в дальнейших строках. А также и о том, что отношение революции к культуре, т.-е. ее роль в процессе создания и распределения набора благ духовного быта, было, есть и будет сознательным, другими словами, организованным, т.-е., в конечном счете—телеологическим, целевым, пусть иногда эта цель застилалась суетливым маячением проходимых по пути вех. И, наконец, пойдет речь о том, что эта цель—была упрощением. Организованное отношение революции к культуре—было, есть и будет—от-

[1]) В дискуссионном порядке.

ношением упрощения. Революция есть организованное упрощение культуры. Так рождается—методологически и терминологически—тезис и лозунг.

* * *

Я начну с иллюстрации лозунга: лучший путь к доказательству тезиса.

И прекрасно. Прекрасно, что революция выявилась, как организованное упрощение культуры. Эстетически прекрасно. Прекрасно, что исчезнет, наконец, с лица земли русской это безобразное зрелище: мужик, на которого кто-то, когда-то и почему-то напялил шелковый цилиндр. Прекрасно, наконец, что процесс организованного упрощения культуры реализовался грубыми и резкими явлениями: насильственного сбрасывания шелкового цилиндра с мужицкой головы ударом опорками по цилиндру. Стояла изба: вшивая, грязная изба, тускло освещенная коптящим ночником, а то и лучиной,—но—с редкостными гобеленами на стенах. Эта изба была уродством—непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом было место российской культуре—культуре небывалого уродства и извращения. Подлинно извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и более того—Скрябина, Врубеля и Блока. Из них троих только он, последний, дожил до великой радости—восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и самого себя; восстания, настолько величественного в своей закономерности. что он,—как и первые два, — его предчувствовал, предсказывал, предугадывал. И он, последний, успел благословить величественный удар опорками по цилиндру, как подлинный гладиатор приветствовал цезаря, умирая: ибо тогда умер Блок, после «Двенадцати», а в 1921 году лишь мертвец умер. Однако—это в скобках. Лирику оставим. Возьмем твердый, брутальный факт. А он в том, что хозяин избы содрал гобелены со вшивых стен. Один из ткачей гобеленов, Белинский, писал: «На великое явление Петра народ через полтораста лет ответил не менее великим явлением Пушкина».

Транспортируем эту цитату на современность, и прочтем: «На великое явление Пушкина, т.-е. пышной культуры на гнилых стенах избы—народ ответил через сотню лет еще более великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм был протестом, закономерным, социально-необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина в стране с 90 проц. безграмотных». Этого не могут, конечно, понять современные блоковские витии. Не могут понять, что оскорбительно-социально и эстетически—для народа быть удобрением, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно-эстетических опытов и достижений, материалом для оранжереи. Парником. Полтораста лет после Петра—один Пушкин. И 90 проц. безграмотных. Еще сто лет. Врубель, Скрябин и Блок. И 70 проц. безграмотных. Нет, довольно. Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови,—как лебедь. горделивая и белоснежная,—плавала безмятежно культура—нужно разбить.

Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как организованное упрощение культуры. Теперь к тезису.

* * *

Итак, вот формула: если в области материального быта революция есть уничтожение отжившего класса помещиков и незаконнорожденного, выкидышного, искусственно взрощенного, от руки вскормленного класса буржуазии, то в области духовного быта упрощающее воздействие революции выявляется в первую голову в подлинном уничтожении некоторых, подчеркнуто тепличных, отраслей культуры. Это не значит, конечно, удар по Блоку и по гобеленам, это значит только удар по той среде, тем группам, которые производили и потребляли Блоков и гобелены. Кто эти группы и слои? Вопрос этот отнюдь не гамлетовского свойства. Ни для кого не секрет, что борьба «внеклассового» класса российской интеллигенции с революцией происходила, да и происходит, под псевдонимом «борьбы за культуру». Но тут не в Блоке с Врубелем дело. Подобно тому, как помещики защищали от революции земли, и капиталисты защищали заводы, т.-е. оба эти класса защищали свое право управлять и руководить производством и распределением благ материального быта, так и интеллигенция защищала от революции свое право управлять и руководить производством и распределением благ духовного быта, и в первую очередь, свое право заведывать тем специфически российским благом, которое именуется «идеологиями», «внеклассовым мировоззрением». Откуда появилось это благо? Методом какого отбора формировались защитники его? Вопросы не праздные: без выяснения роли интеллигенции в революции нельзя говорить об отношении революции к культуре.

* * *

Издавна так повелось на Руси.

Всякий, окончивший юридический факультет, именовался не только юристом, но и интеллигентом. Окончивший медицинский факультет—не только медиком, но и интеллигентом. Политехникум—не только инженером, но и интеллигентом. Но более того: каждый, зарабатывавший себе пропитание за прилавком магазина, за конторкой банка, за судейским столом, или адвокатским пюпитром, в редакционном кабинете, или в суфлерской будке театра, на блестящей театральной сцене или в пыльном архиве министерства,—это можно было бы продолжить бесконечно,—одним словом, каждый, кто не занимался физическим трудом—рабочим и крестьянским, торговлей и промышленной деятельностью в тесном смысле слова, — именовался не только соответственно своей профессии, но и гордым наименованием интеллигента. То-есть получал, так-себе, здорово живешь,—этот ярлычок симпатичный, образующий нечто вроде своеобразной прибавочной стоимости к нормальной его общественной стоимости. И он получал, и жена его получала, и свояченица получала, и все чада и домочадцы его получали, и собачка

его получала,—разве нет в русском языке речения: какая интеллигентная собачка?..

В материальном быту эта прибавочная стоимость,—благодаря политическим условиям самодержавия,—не могла реализоваться. И естественно, что реализация ее осуществилась в областях духовного быта. Поскольку прибавочная стоимость эта не давала материальных прав (за исключением права на высшую расценку на рынке труда—но это уж не право, а факт), постольку она предоставляла владельцам ее безграничные почти моральные права, на которые, кстати сказать, ведь никто другой не покушался. Коротко говоря: каждый, именовавший себя интеллигентным человеком, подразумевал этим самым, что он находится на верху социальной пирамиды, поскольку она взята в разрезе духовного быта. Этот разрез не совпадал с разрезом материального быта,—и отсюда проистекает иллюзия о «внеклассовости» интеллигенции и «суб'ективные методы» в социологии. И так как,—тут следует последний силлогизм,—источник и монополия *власти* принадлежали в силу исторических судеб ясно очерченному социологическому классу дворянства и чиновничества, источник и монополия *идеологии власти* отошли в нераздельную собственность этого своеобразного «суб'ективного класса». Этот класс—вернее наиболее активные слои его — стали монопольными поставщиками не только идеологии искусства, например, но и идеологии в области социальных взаимоотношений. И с железной необходимостью эта идеология — будь то идеология западничества или славянофильства, народничества или кадетизма, приводила в последних, главных своих выводах—к формуле: мы, поставщики данной идеологии, обладаем особыми правами—выражать не свое мнение, а мнение народа, быть представителями за народ, представителями его. А говоря простой прозой,—быть источником власти и контролером власти в смысле чисто групповом и персональном. Чем осуществимее казалась эта цель, тем более дифференцировался «суб'ективный класс» (иногда вплоть до острой вражды:—народничество и кадетизм), сохраняя однако единым основной свой признак: мы добиваемся власти не для себя, а для народа через нас.

Поскольку домогательства эти и притязания основывались на учете исторического опыта—они были правильны. Если бы российская революция явилась, как этого ожидали, революцией, осуществленной буржуазией, при молчаливом сочувствии крестьянства—на французский манер, то, естественно, буржуазия контр-ассигновала бы, передоверила часть завоеванных прав и власти—именно этой группе, и обязательно, как внеклассовой группе: так гораздо удобнее буржуазии. Ведь как было во Франции: едва ли не три четверти Жиронды состояли из адвокатов и литераторов, и не даром у Родзянки фигура, как у Мирабо, а у Авксентьева голос не хуже, чем у Дантона (впрочем, дальше параллель никак не удастся провести, ибо Керенский оказался куда оборотистее Камилла Демулена, который не догадался прибегнуть к помощи тогдашнего Черчилля-Питта, а Теруань-де-Мерикур была гораздо, гораздо красивее Зинаиды Гиппиус).

Увы, история обманула. Правда, март уже успел передоверить права

источника, контролера и поставщика власти внеклассовым адвокатам, профессорам и литераторам: прибавочная стоимость Милюковых, Керенских, Гессенов и Авксентьевых успела реализоваться в период март—октябрь. Но октябрь аннулировал передоверие. Октябрь выяснил, что революцию российскую сделал пролетариат в союзе с активным крестьянством, и эту революцию сделал не только против экономической, но и духовной прибавочной стоимости, против незавоеванных прав, против «внеклассовой» идеологии, против «суб'ективного класса» интеллигенции. Этот класс свирепо бросился в борьбу: не даром самый ожесточенный бой не только идеологически, но и фактически дали революции—социалисты-революционеры—наиболее активные представители владельцев духовной прибавочной стоимости. Сила нападения родила силу отпора: революция раздавила и уничтожила их, быстро и безжалостно.

Конечно, сражаясь за свою прибавочную стоимость, интеллигенция не могла и тут вылезти из шкуры своей, не могла не опьяниться самообманом. Ведь она воспиталась в иллюзии «внеклассовости», ведь питалась она нектаром жертвенности и амброзией самоотвержения. И потому: не свое бытие она защищала, о нет. Она выдвинула иную формулу: отчетливую, эффектную, яркую:

— Мы боремся против революции за демократизм, свободу, культуру.

Характерная ирония судьбы: суб'ективно-лживая, об'ективно эта формула была правдивой. Ведь именно эта группа была потребительницей и производительницей благ духовного быта, и таким вот образом, самою силою вещей в порядок дня революции стала борьба с интеллигентской культурой, или, что то же, организованное упрощение культуры, развал прежнего духовного быта. Тем легче было этот развал осуществить, что те производители и потребители благ духовного быта, те деятели науки, литературы и искусства, кто не могли активно выступить против революции, молчаливый, но не менее злобный оттого, об'явили ей бойкот. И заполнили ряды внутренней эмиграции. Или бежали за границу. Конечно, не все. Некоторые, честно и смело, сами отказали себе в праве на жизнь. Александр Блок сам отказал себе в праве на жизнь в революции. Он, возгласивший—«всем сердцем, всей душой своей слушайте революцию», горьким пониманием понял, что лишь отдаленные раскаты бури и грозы можно слушать—и слышать, а когда она пришла, революция в грозе и буре, то ее нужно делать: грязно, кроваво делать или против нее делать, — но не слушать. И он более не слушал. Понял. Ушел. В смерть. Не в мерзость бунинско-гессенского бытия, не в слякотность прозябания питерского Дома Литераторов. Он ушел, поистине нежный, блеклый гобелен. Другие, из племени Мережковских и Милюковых, грязно и гадко бежали, спасая культуру, бриллианты и шкуру. Продают сейчас остатки цилиндра—засаленного и поношенного — знатным иностранцам. По дешевой цене торгуют русским искусством по берлинским кабакам.

Так вот смысл происшедшего: русская интеллигенция пошла против воли истории, выступила против революции, была побеждена ею, эмигрировала внутри и во-вне, и унесла с собой в небытие русскую культуру, то-есть свою,

интеллигентскую культуру. Русская интеллигенция более не воскреснет. Ее культура более не воскреснет. И подобно тому, как в сфере материального быта революция, разрушив производственную машину, стала воссоздавать ее методами организованного упрощения, подобно тому, как в сфере политического быта революция, разрушив государственную машину, стала воссоздавать ее методами организованного упрощения,—так и в области духовного быта: революция, разрушив старую культуру—будет,—еще не начала—тут она запоздала, по сравнению с экономикой и политикой,—лишь будет воссоздавать ее методами организованного упрощения. Об этом, то-есть о материальном содержании тезиса — организованное упрощение, — пойдет в дальнейшем речь. Но не сейчас еще. Ибо, после *некролога* над прошлым и перед *прогнозом* будущего, совершенно необходимо дать *анализ* настоящего, т.-е. рассмотреть те случайные, несмелые, противоречивые, но всегда неудачные, всегда ложные попытки воссоздания культуры в это революционное пятилетие.

II. Анализ.

Да, с первых дней своих революция почувствовала потребность в созвучных ей благах духовного быта. Прежние производители и потребители этих благ ушли, эмигрировали. Осталось пустое место, которое было заполнено немедленно, но не целиком, а лишь в части своей. Истекшее пятилетие не знает революционной науки, чуть-чуть ознакомилось с революционной техникой, но оно насыщено было звуками, красками, образами и словами, так называемого, революционного искусства, или левого искусства.

Поговорим о нем, исполнявшем должность культуры за эти пять лет. О революционных поэтах, художниках и музыкантах. О Маяковских, Татлиных и Мейерхольдах. О футуристах, имажинистах, конструктивистах. Об этих трагично обманувшихся, обманывавших себя больше, чем других.

* * *

Маяковский первый пришел к октябрю. Смело и радостно. Он, изгой, напоенный духом ненависти и разрушения, мрачный таран, взламывавший стены темницы буржуазного искусства, ломавший рифму и ритм, — о, как высоко поднял он голову в октябре, насколько своим осознал он октябрь. И естественно: ведь таким понятным и нужным казался союз левого искусства с левой революцией. За Маяковским пришла горсточка таких же как он, отринутых, пьяных пафосом мести и разрушения. Несколько художников, музыкантов, скульпторов, теоретиков. Сверкал красным огнем медовый месяц радостного союза. «Пушкина к стенке, по музеям пулями тенькать», восклицал Маяковский в Приказе по искусству. Татлин в Питере сооружал из битых стекол синтез всех искусств—башню Третьего Интернационала, панно и фресками на стенах Красного Петуха, что был на Кузнецком в Москве; воспевал Якулов октябрь; дисхроматическими гаммами мыслил рево-

люцию отщепенец Артур Лурье, о Городе-Театре грезил трагический неудачник Мейерхольд, лился пот с перьев упорных схематиков, Бриков и Кушнеров, метафизических инженеров, натужно сооружавших из призрачных материалов призрачный путь от коммунизма к футуризму. И венцом достижения, долгожданным первенцем «такого понятного и нужного союза» появился офутуризованный Охотный Ряд, торговавший в те времена пшенной кашей и поштучно ирисом.

Больше года длился медовый месяц, до середины 1919 тянулась социологически необходимая, но все же ошибка. Ошибка, обусловленная мышлением по аналогии, упрощенным, элементарным: левизна в политике, в экономике—предполагает коррелативом в области духовного быта—левизну в искусстве. Она была социологически необходима эта ошибка: ведь никто, кроме деятелей левого искусства, горсточки отринутых, к революции не пришел. Их нужно было взять, нельзя было не взять, время было такое, каждый союзник был дорог. Взяли. Нехотя взяли. Ибо сознавали те, кому это полагалось, что «не то». И на поверку оказалось, что очень не то. Мышление по аналогии обанкротилось с треском, и опытным путем и теоретически. На опыте вышло, что из левого искусства ничего не вышло, и, увы, по такой прозаической причине: потребитель потенциальный вообще не захотел искусства в эти годы, а тем более левого. Да, Мистерия-Буфф понравилась. Да, «Зори» понравились. Но, о ирония революции! Этот успех был успехом d'estime. Ибо революционный потребитель в этом не нуждался: на фронтах гражданской войны он находил и Мистерию, и Буфф, и соборное творчество «Зорь». И соответственно меценатствующее государство поняло, что оно в этом не нуждается. После первого припадка нежности—такъсказать, нежности по долгу, — государство попятилось. Теоретически, это правильно об'яснялось: в рабоче-крестьянском государстве—примат и государственная поддержка рабоче-крестьянскому искусству, а не мелко-буржуазным беспочвенникам, анархистам и изгоям. Теория, конечно, справедливейшая, но и психология за ней крылась характернейшая. Мольеровские коммунисты «malgré eux» (есть и такие) должны были на чем-нибудь отыграться: левизна в политике, левизна в экономике—это само собой, но позвольте нам роскошь не иметь левизны в искусстве. Какое естественное, человеческое, психологически оправданное рассуждение... Нет нужды, что, будучи подсознательным, оно облекалось в иные слова и фразы: оно выпирало наружу, кричало. Так не нужно же удивляться, что Маяковский потратил больше труда на постановку Мистерии-Буфф, нежели на создание ее; не нужно удивляться, что распылилось левое искусство, встреченное кисло-сладко государством и равнодушно либо враждебно потребителем; что октябрь в искусстве оказался всего только неудачным июльским лево-эс-эровским бунтом, что разложился этот бунт в гниющем анархизме махновцев левого искусства—имажинистов, что с приятным чувством хорошо выполненного и нужного долга был снесен с лица Москвы гнусно выцветший и жалко облезший футуристический Охотный Ряд. Частушка и плакат остались от левого искусства. Революция рассудила: взяла и с жадностью про-

глотила частушку и плакат,—взрывавшие белые фронты,—отбросило претензию меценатов и изгоев, обманывавших себя чаще, чем других—создать искусство по аналогии с революцией, революционное по существу, а не по приложению. Революция сказала: революционно лишь то искусство, которое можно революционно приложить, революционно использовать. А потому—да здравствует теория относительности, долой абсолютные истины левого искусства. И революция была права.

* * *

Опыт с левым искусством, комфутуризмом—не удался. Это была неудача быстрая, резкая, ударная. Но параллельно с ней развивалась другая неудача, в противовес ей—медленная, тягучая, затянувшаяся до нынешнего момента и на своем длинном пути разбавленная блестками отдельных удач.

Речь идет о пролеткультуре, о пролетарском искусстве, вернее пролетарской поэзии.

Опять кажущаяся такой простой, потрясающе верной и соблазнительно реальной логика: рабоче-крестьянское государство нуждается в своей культуре, так пусть путем организованного отбора, найдет оно потенциальных производителей этой культуры и поставит их в условия, гарантирующие ценность и эффективность производства.

И опять жизнь внесла поправку. Коварную поправку. Такую незначительную, казалось бы...

Пролетарское искусство было незаметно как-то подменено пролетарской поэзией. А вместо пролетарских драматургов пролетстудии дали пролетарских актеров.

Не нужно уходить в дебри теории словесности, чтоб отчетливо и категорически понять: поэзия в искусстве—это оперная ария в музыке. Легкая кавалерия в современной армии. Но еще не искусство. Но еще не музыка. Но еще не армия.

Отнюдь не намерен я отрицать наличность больших талантов среди двух или трех десятков пролетарских поэтов. Но разве это важно? Разве цель была в том, чтобы найти талантливых крестьян и рабочих?..

Отнюдь не намерен я отрицать, что произведения талантов этих иногда революционны по форме, почти всегда по существу. Но и не в этом дело. Дело в том, что автобиографию и лирику нельзя положить краеугольным камнем здания новой культуры. А пролетарская поэзия не может не быть, как и всякая поэзия—лирикой, а разве всякая лирика, в последнем счете, не есть противопоставление индивида коллективу? И пролетарская поэзия уперлась, как обречена всякая поэзия—в автобиографию,—где гордо выпяченное «я» сменило—требование времени— квази-коллективным «мы». Бальмонты, Гиппиусы говорили—наше гордое «я»,—Кирилловы, Родовы говорят—наше гордое «мы», а подлинные творцы пролетарского искусства скажут, просто, но убедительно: они, мир, космос.

Тут произошло выявление личности через класс. А предполагалось выявить класс через личность.

Это по существу. А рассуждая чисто имманентно: разве можно спрятаться от того факта, что, отбрасываемые от Сциллы дилетантизма к Харибде профессионализма, пролетарские поэты тоскуют по студии, находясь на заводе, благословляют завод, когда в студии. Место в жизни утеряно.

* * *

Таковы две, донэповские попытки создать культуру,—вернее искусство, созвучное революции. Обе исходили от государства, и от обеих государство отказалось с приходом нэпа. Но каприз истории—при нэпе, левое искусство, почти разложившееся в 1920 году—неожиданно воскресло в формах производственного искусства, конструктивизма, биомеханики. И опять со знаменем, на котором написано: левый фронт искусства, т.-е. единственное искусство, имеющее право на существование при революции, единственное искусство, могущее явиться базисом революционной культуры.

Специальное рассуждение будет иметь место в дальнейшем. на тему о том, поскольку, вообще говоря, искусство может явиться базисом культуры. Но и без специальных рассуждений ясно, что лишь фронт смятенных, горячечных и неудачных исканий можно открыть в самодовлеющем эстетизме и фетишизировании тела (специально на зло старому театру) мейерхольдовских и форегтеровских постановок... Что лишь фронт одиночек,—об'единенных одинаковостью своего одиночества и это психологическое родство претворяющих путем чисто словесных построений в созвучно-звенную цепь,—можно найти в группе Асеева—Маяковского—Третьякова и их периферии... Что, стоя на правильном пути, вхутемасцы только стоят на нем, но не движутся, ибо путь этот, в данной его стадии—многоугольная площадь с разветвляющимися дорогами, и неизвестно, куда итти... Что, наконец, «левый фронт» в искусстве, в данный момент, вообще говоря, имманентная нелепость, ибо нет правого фронта, ибо совсем нет фронтов, как и нет теоретического осмысливания искусства: и недаром единственная сейчас действенная группа молодых производителей беллетристики, с парадоксальностью времени об'единяются лишь тем, что принципиально отрицают лозунги, направления и школы в искусстве,—ведь Серапионовы братья—чистейшей воды агностики в искусстве, утвердители хаоса, и, каковы бы ни были их личные симпатии и отталкивания,—подлинные дети нэпа. Согласен: деятели «левого фронта» в искусстве пасынки нэпа. Согласен: их попытки взнуздать идеологический хаос, порожденный нэпом,—героичны. Согласен: отверженные и буржуазной культурой, и революционным государством, и воинствующим нэпом,—они великолепны в своем трагизме одиночек. Но увы, этого всего еще мало, чтоб на них строить прогноз грядущей культуры Новой России.

III. Прогноз.

Не знаю, обратил ли внимание читающий эти строки на некую странность: и в нашем «Некрологе» и в нашем «Анализе», говоря о культуре, мы все время подменяли этот термин словом искусство. Это приходилось делать по необходимости: и до революции, и в первое пятилетие революции, культура русская, т.-е. совокупность благ духовного быта, на 90% заполнялась материалом искусства. Причины тому ясны, о них шла речь в «Некрологе»: квалифицированные потребители культуры в дореволюционную эпоху требовали духовных благ высшей расценки, и прекрасно сознавали, что по табели о духовных рангах театр «выше» кинематографа, а рассказ Андреева «интеллигентнее» детективного романа. Голоса мертвых, посмертное влияние производителей и потребителей духовных ценностей буржуазной эпохи отразились, залегли подсознательным комплексом в психике строителей культуры истекшего пятилетия. Не только за истекшее пятилетие комплекс духовных благ понимался как литература, поэзия, театр, живопись, но вдобавок, как усложненные, рафинированные литература, поэзия, театр, живопись. Но потребитель запротестовал. Но нэп поставил точку. И вот теперь только наступает момент—он растянется на десятки лет—когда революция сможет приступить к выполнению своей подлинной задачи относительно культуры—к организованному упрощению культуры.

И тут пора остановиться на материальном содержании этого тезиса, анализированного до сих пор лишь формально. Оно весьма элементарно это содержание: организованное упрощение, это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного быта—ценностям высшей расценки—литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е. в совокупности своей—искусству, и, во-вторых, максимальное удешевление этих ценностей.

* * *

Да, низведение на свое место самого дорогого—в смысле несоответствия издержек производства и результата—элемента культуры, а именно искусства, есть задача дня. Не только в том дело, что искусство дорого: — оно, кроме того, капризно и анархично. И, наконец, никогда не предмет массового потребления. Культура, построенная на искусстве—всегда для немногих. Производство же его равномерной тяжестью ложится на всех. Техника и наука, высвобожденные из-под власти Далай-лам и бонз, должны на 90% заполнять содержание упрощенной культуры. Не Белинского и Гоголя должен мужик с базара понести, а популярное руководство по травосеянию. Не стихосложению нужно обучать рабфаковца, вне обычного его курса, а стенографии. Не театральные студии нужно открывать в деревнях, а студии скотоводства. И, наконец, обобщив все это единой формулой: не эстетическое удовольствие, пассивное по существу своему, а импульс к действию и волю к творчеству должны давать потребителю блага духовного быта. Таков должен быть их характер, чтобы они возбуждали в каждом потребителе их

волю стать производителем и предоставляли возможность производства. А это достижимо лишь путем замены в комплексе культуры ценностей искусства—ценностями науки и техники. Нет нужды говорить о том, какую активную роль может сыграть в этом процессе государство, и особенно государство наше, преодолевшее буржузную идеологию «свободной игры стихийных сил». Таково наше. во-первых.

* * *

И, во-вторых, организованное упрощение культуры предполагает максимальное удешевление ценностей искусства. Не боясь слов, нужно сказать: замена их суррогатами.

Ну, конечно же, в новой России забавной сказкой прозвучит рассказ о том, что была такая эпоха, когда литература, беллетристика считалась «учительной», «святой», «героической», «страдательной», когда поставщик этой литературы был «властителем дум», «светочем». Забавной и нелепой сказкой. Будущий читатель—ныне уже нарождающийся—не станет искать в романах и рассказах «прямого ответа на проклятые вопросы». Литература для него займет ее подлинное место: не поучения, не обличения, а только и исключительно развлечения. Качественно ничем не отличающегося от всякого другого развлечения. И сейчас уже чувствуется, что будущая русская литература—лет этак на пятьдесят—будет литературой широкого, размашистого, красочного репортажа—без всяких, заметьте, «мировых скорбей», либо увлекательной, сочной, островолнующей авантюрной литературой. Не чтения—с трепетом душевным и благоговением, будет искать новый читатель, а занятного, отдыхающего чтива.

Или вот. То, что именовалось в теории российской словесности—общей публицистикой, когда время от времени появлялись этакие Мессии и пророки, «жегшие сердца людей», «ударявшие в набат». И это не нужно будет новому читателю. Ведь, предполагаем мы, новый читатель, новый гражданин России, прекрасно будет знать и свое место в жизни и отчетливо сознавать интересы той группы, к которой он принадлежит, и совсем ему будет не нужно, чтоб кто-нибудь со стороны о нем заботился. Эпоха пророков и благодетельствуемой ими паствы—слава богу—прошла в России. Поэзия—корь современной России. Ничего, эта корь пройдет—болезнь возраста. Конечно, группа подростков в жизни всегда будет существовать, но ее потребности целиком будет осуществлять «Общество изучения поэтического языка»—«Опояз». Но не думаю, что Опояз будет занимать в области духовного быта место более видное, чем фабрика леденцов в области быта материального.

И наконец театр. Этот колоссальный блефф, именующийся гордо «проблемой театра»—будет, в конце концов, разоблачен. Будет, в конце концов, понятно, что подлинный потребитель театра имеет лишь один подход к театру: как к отдыху после трудового дня, и пред'являет лишь одно требование к нему—развлекать, а не утомлять, при чем ему глубоко безразлично, как это развлечение осуществляется: методами ли реалистическими, символи-

ческими или био-механическими, лишь бы это было хорошо сделано и хорошо подано. Но не подлежит сомнению, что в табели о рангах духовных ценностей упрощенной организованно культуры—место театра будет за кинематографом, особенно, если ведущаяся ныне на Западе работа комбинации кинематографа со звуковыми эффектами даст достижения.

Да, все это будет гораздо проще. Но здоровее. Меньше издержек производства и больше общедоступных результатов. Дешевле, но общественно полезнее. Таков лозунг, такова цель упрощенной организованной культуры, таковы будут плоды революции в области духовного быта.

* * *

Это много, это важно, но это еще не все. Организованное упрощение культуры имеет еще общественно-гигиеническое значение. В смысле оздоровления психики производителя и потребителя ценностей культуры.

А именно: при новой культуре немыслимо будет зарождение прибавочной стоимости у производителей и потребителей.

Возьмем потребителей. Совершенно естественно, что поскольку литература была «учительной», то поскольку те, кто «учились» — механически переходили в высшую категорию, становились «интеллигентами». Существовало нелепое явление—об этом шла речь в «Некрологе»: был класс спец-потребителей духовных ценностей. За двенадцать рублей годовых подписчик «Мира Божьего», к примеру, получал вечный патент на некое вечное благородство душевное. Потреблявший «Журнал для Всех» получал патент рангом пониже. Нужно ли говорить, что такое явление немыслимо при организованно упрощенной культуре, потребление ценностей которой не может создать прибавочной стоимости, ибо ценности-то эти принципиально равны не только одна другой, но и ценностям культуры материальной. Никаких патентов на благородство. Потребитель симфонии Бетховена удовольствуется наслаждением, полученным от симфонии, отнюдь не об'ективируя этого своего наслаждения как признака некой особой своей общественной ценности. А эта последняя определится не характером его потребления—типичная черта буржуазного строя—а степенью его производительности в той отрасли производства, коей он занимается.

Тут нужно повторить: *степенью производительности, а не отраслью производства*. Ибо, при новой культуре, немыслимо будет появление прибавочной стоимости по *признаку* производства.

Ибо лишь при организованном упрощении культуры засияет вечной жизнью классическая формула социализма: всякий труд одинаково почетен поскольку он общественно полезен. Все производители-спецы равноценны; разница между спецами-производителями, лишь в степени талантливости их спецовства. Нет неравенства профессий, есть лишь неравенство талантов, которое тоже, в конце концов, сглаживается методами коллективного производства.

И вот это уничтожение психологического неравенства—величайшее достижение общественной гигиены—возможно лишь на почве организованно упрощенной культуры.

* * *

Так будет. Будет не скоро, но в значительной части еще на наших глазах. Ибо уж начинается процесс организованного упрощения культуры.

Уже исчезло из обихода молодого поколения это проклятое слово «интеллигент», это бескостное, мяклое, унылое, мокрокурицыное слово, подобного которому не найти ни в одном человеческом языке. Исчезло, и заменилось бойким, красочным, подчеркнутым термином—спец.

Уже исчезает и тяга к незаработанной прибавочной стоимости.

У зубного врача в приемной уж не валяются книжки Уайльда, а провизор ухаживает за своей барышней без помощи цитат из Вейнингера.

Правда, я знаю, хотя уже благополучно в Берлине сидят Степпуны, но еще водятся в России самодельные Шпенглеры и всякие Гершензоны.

Доживающие свой век интеллигенты не так скоро доживут его. Но они последние могикане. Но они доживут. И через 20—30 лет исчезнет племя интеллигентов с лица земли русской. Племя археологов, гробокопателей. Недавно была у них великая радость. Открыли план «Жития великого грешника» и неизданную главу «Бесов». Может быть, и радость. Когда археологи курган раскапывают и утварь каменного века находят,—это тоже радость... для археологов. И мне кажется, что для новой России, с организованно упрощенной культурой—Достоевский будет от каменного века Не нужна новой России утварь каменного века, самая наидрагоценнейшая. В музей ее, под стекло.

Достоевского в музей, а Россию из музея, из банки со спиртом, в живую жизнь. Вот где смысл и значение организованного упрощения культуры, которое осуществит революция. Быть может, в этом, а значит и в том, что у интеллигента отнята прибавочная стоимость—и есть величайшее революции достижение.

Через смерть—к жизни. Да здравствует тот недалекий день, когда вымрет окончательно, физически и духовно, эмиграция внутри России и во-вне!

История одного отречения.

В. Кряжин.

(Мемуары: Вильгельма II, кронпринца Вильгельма, Гинденбурга, Гельфериха).

1.

Издавна существует почтенный обычай, согласно которому великие мира сего, подвергаясь опале или изгнанию, начинают писать для потомства свои мемуары. Вожди Германской империи, разметанные революцией во все стороны, также усердно придерживаются этой полезной традиции. Действительно, за последние два-три года, точно соревнуя друг с другом, Вильгельм, кронпринц, Гельфрих, Гинденбург и другие воротилы империалистической Германии выпускают свои воспоминания, посвященные недавнему прошлому [1]).

Однако эта немецкая мемуарная литература отличается чрезвычайно своеобразным характером, который необходимо с самого начала отметить. Она принадлежит людям, которые вовсе не считают себя политическими «мертвецами», а, наоборот, надеются, что если не сегодняшний, то уж, конечно, завтрашний день будет принадлежать им. Деятельность Оргеша, беспрестанные монархические «путчи», наконец, позорное бессилие германской социал-демократии и демократической буржуазии, все это, очевидно, наполняет их большим оптимизмом. Воспоминания, выпускаемые ими, носят поэтому не «исторический» характер, а продиктованы скорее чисто практическими, можно даже сказать агитационными, соображениями. Они представляют неоценимую возможность в форме исторического повествования реабилитировать свою прошлую деятельность и, с другой стороны, высказать свое политическое credo, применительно к той политической действительности, которая сейчас сложилась в Германии.

Немудрено поэтому, что все эти мемуары пропитаны прежде всего монархическим лиризмом. Так, Гинденбург свое солдатски-трезвое и деловое изложение военных событий внезапно разнообразит, например, такой живописной картинкой: после одного сражения он обходит высоты, взятые штур-

---

[1]) Mémoires de Guillaume II („Journal de Débats", октябрь и ноябрь). „Воспоминания кронпринца Вильгельма", Книгоизд. „Слово", Берлин 1922. „Из воспоминаний Ф. Гельфериха", изд. „Мысль", П. 1922; и „Воспоминания Гинденбурга", изд. „Мысль" П. 1922.

мом, рядом с одним немецким генералом; «проходя мимо еще непогребенных неприятельских трупов—тот нагибается и закрывает еще открытые глаза,—признание величия смерти»... Далее, тот же генерал встречает группу пленных неприятельских офицеров и обращается к ним со словами ободрения; под влиянием последних один из офицеров «выпрямляет свою фигуру, как молодая ель, освобожденная от снежного покрова, и его благодарный взгляд встречается со взглядом... моего императора»...

В огромных дозах этот монархический лиризм мы встречаем в воспоминаниях кронпринца Вильгельма. Неудачливого наследника германского престола, как известно, Вильгельм содержал буквально в черном теле. Он сам много раз подчеркивает, что его систематически отстраняли от всех важных событий, что он являлся «особой, неответственной, неполномочной»,—«судьба кронпринца, которую испытывает на себе каждый первенец из дома Гогенцоллернов»,—меланхолически замечает он.

Теперь, находясь почти что в заточении на крохотном голландском островке Виринген, он начинает, очевидно, задумываться—не выпадет ли на долю именно ему быть героем грядущей монархической реставрации. И вот, прибегая к форме интимного дневника, он знакомит своих партизанов с самыми задушевными мечтами и политическими взглядами «несчастного» кронпринца. Его обвиняли, что он милитарист до мозга костей? Ничего подобного. Воспевая войну, он, как оказывается, лишь хотел уберечь немецкое юношество от «сгущающейся опасности грубого материализма». Его упрекали в чрезмерном увлечении спортом? Но это происходило лишь оттого, что он «считал культивирование спорта для себя, как для будущего главы государства, особенно важным, так как именно спорт способствует общению людей, разбивая все внешние сословные перегородки». Наконец, кронпринца обвиняли, что даже во время войны он постоянно смеялся, даже в самых трагических условиях. Но, как оказывается, он и смеялся-то лишь для поддержания настроения среди измученных солдат, которые «благодарили за мою веселость и понимали меня». «Умные головы и мудрые толкователи! что вы вообще знали обо мне!»—патетически восклицает по этому поводу кронпринц.

К сожалению, за недостатком места не представляется возможности привести все автобиографические перлы, которыми изобилуют воспоминания кронпринца. Чего стоит, например, его рассказ о том, как он на острове начал заниматься кузнечным ремеслом, при чем один американец купил за 25 гульденов выкованную им подкову. Здесь гораздо важней отметить основную тенденцию, которая проникает все эти воспоминания, несмотря даже на всю анекдотичность их: «покоя желаю я родине, т.-е. внутреннего мира, который даст ей возможность... снова оправиться и окрепнуть. И я сам хочу участвовать в этой работе во имя ее будущего величия. А между тем—единственная услуга, которую я могу оказать сейчас своей родине,—это отойти в сторону и нести дальше бремя изгнания».

То, о чем стыдливо умалчивает кронпринц, договаривает с обычной экспансивностью его отец: «оставаясь на троне (Антанта это хорошо пони-

нала), я был бы более полезен для Германии, нежели отрекшись»,—без обиняков заявляет Вильгельм.

2.

В интересах монархического реванша для германских империалистов представляет первостепенную важность разрешить две проблемы. Прежде всего снять с себя ответственность за войну и далее осветить под нужным углом зрения историю отречения Вильгельма II от престола. И действительно, мы видим, что эти два вопроса составляют (конечно, не случайно) центр тяжести большинства указанных мемуаров.

Вильгельм посвящает ряд красноречивых страниц изложению своей «пацифистской» политики, стремящейся избежать вооруженного столкновения путем полюбовного соглашения со всеми европейскими державами. Соображения, приводимые им, поражают, с одной стороны, своим чисто материалистическим, «марксистским» подходом, и с другой — чудовищной политической наивностью. Причина враждебного отношения Англии к Германии, с его точки зрения—совершенно ясна: она заключается в глубочайшем торговом, вообще экономическом антагонизме обеих стран. Но как же он думал преодолеть этот антагонизм? Как оказывается, он пытался базироваться на родственных связях с английской королевской фамилией, но все это оказалось бесполезным из-за противодействия со стороны Эдуарда VII: последний слишком поздно взошел на трон, и это в огромной степени усилило его честолюбие, направленное при том против Германии.

Одновременно Вильгельм пытается сблизиться с Францией. С этой целью он прибегает к таким реально-государственным шагам, как двукратное личное посещение экс-императрицы Евгении, произнесение тоста на банкете в честь французского генерала Бомпаль за французскую армию и т. д. И однако, с горечью констатирует Вильгельм, шовинисты-французы именно в этом тосте усмотрели не дружескую манифестацию, а грубую насмешку.

Попытки к сближению с Соединенными Штатами также не привели ни к чему, ибо, как здраво замечает Вильгельм, Вильсон руководствовался исключительно интересами финансовых групп. К тому же уже в 1897 году между Англией и Америкой было под сурдинку заключено так называемое «The Gentlment' agreement», знаменующее образование уже тогда англо-саксонского блока. Всего забавнее те страницы воспоминаний, где Вильгельм выставляет себя в качестве опекуна Николая II, побуждающего его ввести в России конституцию: «Я несколько раз советовал царю Николаю произвести либеральные реформы внутри империи и созвать так называемую Великую Думу, которая уже функционировала во времена Иоанна Грозного (!)». Несколько далее Вильгельм однако довольно откровенно замечает, что делал это он попросту, стараясь удалить от германских границ опасность, проистекающую от русской революции. Переписка между Николаем II и Вильгельмом, опубликованная в наших исторических журналах, ярко доказывает однако, что последний играл роль не елочного деда, приносящего

России конституцию, а, наоборот, защитника и пособника самой свирепой реакции.

Итак, в своих мемуарах Вильгельм живописует себя почти что в виде гения мира, протягивающего свои об'ятия то одной, то другой артачащейся державе. Нечего, конечно, и говорить, насколько это изображение не соответствует действительности. Было бы грубейшей ошибкой перелагать вину за возникновение мировой войны на одну лишь Германию. Документы из архива министерства иностранных дел, опубликованные после октябрьского переворота, разоблачения Тардье во французской Палате Депутатов, сделанные на основании секретной переписки между Пуанкаре и Извольским, достаточно убедительно доказывают, что и царская Россия и Франция Пуанкаре la guerre только и ждали случая для об'явления войны. Наконец, что касается до Англии, то кронпринц цитирует следующее замечательное место из книги английского адмирала Фишера: «Еще в 1908 году я предложил королю «To Kopenhagen the German fleet»,—что в переводе означает: внезапно напасть во время мира на германский флот, как это некогда сделали англичане с датским флотом, стоявшим на копенгагенском рейде».

Война возникла из тех непримиримых конфликтов, в которые были с необходимостью втянуты все империалистические державы. Но, конечно, не Вильгельму II, этому апостолу пангерманизма, идеологу милитаристической Великой Германии, облекаться в тогу пасифизма.

Любопытно, что, находясь бок-о-бок в Голландии, сын не успел столковаться с отцом в этом важном пункте. Кронпринц разражается горькими ламентациями по поводу неумения германского правительства найти себе верных союзников (за исключением Австро-Венгрии) в Европе. «Я всюду находил подтверждения,—указывает он,—что наша родина во всем мире мало любима, а часто даже прямо ненавидима». Об'ясняется это, по его мнению, главным образом, грандиозным экономическим под'емом в Германии, но в значительной степени и тем вызывающим развязным тоном, который был усвоен ею во внешней политике. Именно поэтому к моменту мировой войны Германия оказалась *изолированной*, и это предрешило ее судьбу, с первого же момента якобы предвиденную проницательным кронпринцем.

Любопытно, что Вильгельм заканчивает главу о виновниках войны следующей красноречивой репликой:

«Единственное решение может быть вынесено интернациональным и беспристрастным судом, который будет судить не изолированных лиц, а все действия, которые вызвали мировую войну!»

Такое судилище, как известно, уже имеется, и имя ему: революционный пролетариат.

3.

Центральным вопросом, который более всего привлекает наше внимание в этих мемуарах, является история отречения Вильгельма II от престола.

Напомним в двух-трех словах предшествующие события. После неудачи большого июльского наступления на Западном фронте, для высшего коман

дования и для правительства Германии выяснилось, что они должны капитулировать. Последовательный выход из войны Болгарии и Турции, еще более ухудшает положение. Под влиянием усиливающейся оппозиции извнутри, Вильгельм II идет на уступки и отказывается от своих важнейших прерогатив. Образуется новое правительство принца Макса Баденского с участием социал-демократов—Бауэра, Давида и др., которое и вступает в переговоры о перемирии с Вильсоном. Последний, однако, требует от имени Антанты, как предварительного условия, низложения Гогенцоллернов, так как иначе она будет требовать «не мирных переговоров, а сдачи». И вот в Спа, где находится ставка Вильгельма, происходит ряд глубоко драматических сцен. К сожалению, Вильгельм излагает очень сжато обстоятельства своего отречения, имея на это, как увидим ниже, очень веские основания.

В начале ноября новый рейхсканцлер посылает к нему министра внутренних дел, пока лишь «намекающего» на необходимость отречения. Вильгельм в это время еще полон энергии и решимости бороться. «Я изложил министру,—пишет он,—тяжелые последствия, которые не преминет вызвать мое отречение, и запросил его, как он, прусский чиновник, мог совместить присягу, данную своему королю, с переданным мне ультиматумом... В конце концов, я отказался отречься, и об'явил ему, что соберу свои войска и отправлюсь вместе с ним на помощь правительству для водворения порядка в стране».

Однако горизонт становился все более и более сумрачным. Революционное движение расло по всей Германии, и канцлер становился все более и более «нервным». Он вторично требует отречения Вильгельма от престола под угрозой, что иначе улицы Берлина будут залиты кровью.

Вильгельм обращается за советом к высшему командованию, и встречает ответ, что «армия не может более сражаться, и требует прежде всего мира».

«Я хотел избавить от гражданской войны мой народ. Как только выяснилось, что мое отречение было единственным способом избежать кровопролития, я согласился отречься от императорской короны, но не от короны прусского короля, так как я намеревался остаться среди своих войск в качестве такового. Ведь руководители армии заявили мне, что если мое отречение будет полным, то офицеры уйдут массами, и армия, лишенная начальников, как поток, откатится к Германии, причинит ей разрушения и создаст опасность отечеству».

События, однако, не ждали: в Гамбурге, в Киле и, наконец, в Берлине вспыхивает открытая революция. Канцлер Макс Баденский создает fait accompli и об'являет о полном отречении Вильгельма и кронпринца. Вильгельм, однако, все еще продолжает упорствовать, и лишь когда выяснилось, что «мирное возвращение в Германию с войсками» стало невозможным из-за захвата революционерами мостов,—он перебирается в Голландию.

Каков же был главный мотив, который заставил его отречься от германской короны? Таким мотивом, указывает он, было желание смягчить условия

перемирия. Угроза гражданской войны—явилась лишь вторым способом давления на него.

Итак, на основании воспоминаний Вильгельма мы получаем следующую отчетливую картину: 1) армия все время оставалась в массе преданной ему, благодаря чему у него все время была свобода выбора; 2) главными мотивами к отречению *послужило стремление смягчить условия перемирия и избежать* гражданской войны, и 3) возвращение с войсками в Германию мыслилось им, как *мирный* отход на родину. Однако, если мы привлечем сюда другие мемуары, мы ясно увидим, что ни один из этих пунктов не соответствует действительному ходу событий. Даже Гинденбург, несмотря на свой военный лаконизм и желание всячески затушевать течение событий, дает совершенно иную картину.

Армия разлагалась, принужден с отчаянием констатировать этот идеальный представитель Германии, скованной железом и кровью: поистине Троцкий не на ветер говорил в Брест-Литовске. Накануне отречения, войска настолько уже разложились, что сам генерал квартирмейстер Гренер—лишь благодаря случайности не попадает в руки революционеров.

Еще более яркую, уже совсем не прикрашенную картину дает кронпринц, оказывая медвежью услугу своему отцу. Картина разложения германской армии ярко напоминает наш фронт в 1917 году. Уже весной и ранней осенью 1918 года, «в больших этапных пунктах можно было видеть тысячи отставших от своих частей солдат-дезертиров и отпускных». «Впрочем и на фронте солдаты заражались»—и это было самое страшное—пацифистским и интернационалистическим настроением. Войсковым частям, храбро шедшим вперед, раздавались вслед возгласы: «Штрейкбрехеры», или «затягиватели войны»! Насмешки над офицерами, красные флаги на поездах—все это уже было характерными чертами фронта и ближайшего тыла.

Каковы же были действительные намерения Вильгельма в эти трагические для него дни при наличии все усиливающегося революционного движения внутри Германии?

Что касается до кронпринца и примыкающих к нему ультра-реакционных юнкерских кругов, то их программа была, конечно, совершенно ясна. «Дальнейшее предложение графа Шуленбурга и мое поручить нам подавление революционных элементов в стране и восстановить в первую очередь в Кельне порядок—кайзер отклонил, — с неудовольствием указывает кронпринц,—он не желал войны немцев с немцами».

Но так ли это было на самом деле? На это мы находим ответ на совещании фронтовых офицеров, устроенном в Спа 9/XI—18 года, т.-е. в день отречения Вильгельма от имперской короны.

На этом совещании, облеченном, кстати сказать, глубочайшей тайной, представители высшего командования считали излишним скрывать свои истинные намерения. Фельдмаршал Гинденбург, открывший совещание, охарактеризовал положение следующим образом: «и для его величества вопрос заключается в том, может ли он во главе всей армии двинуться на Берлин и снова завладеть там короной германского кайзера и прусского короля». В

результате поименного голосования офицеры-фронтовики ответили отрицательно, после чего собственно участь Вильгельма и была предрешена. Как мы видим, все это довольно значительно отличается от «мирного возвращения на родину», которое живописует экс-император в своих мемуарах. Однако и после этого Вильгельм колеблется и ищет опоры то у Гренера, то у Гинденбурга, то у кронпринца. Последний акт этой драмы Гогенцоллернов происходит в саду, и прямо-таки с художественной силой изображен кронпринцем. Вильгельм убедился в безнадежности положения: «император кивнул головой и потом постарался поймать своими глазами взор фельдмаршала, как будто он ждал от Гинденбурга поддержки и помощи в своей муке. Но он не нашел там ничего. Глубоко потрясенный великий старик стоял молча, не находя выхода. Он не вмешался в судьбу своего короля и вождя, которому так долго и храбро служил в качестве солдата. Император был одинок».

Но даже после этого Вильгельм пытается остаться в армии, уже в качестве прусского короля, и лишь указание Гинденбурга, что он может быть уведен мятежными войсками в качестве пленного в Берлин,—заставляет его бежать в Голландию.

Как мы видим, действительный ход событий резко противоречит той картине, которую набрасывает в своих мемуарах Вильгельм. Никакого свободного выбора у него не было, т.-е., пожалуй, выбор и был: переправиться в Голландию или очутиться в качестве пленника в Берлине, или, о чем в мемуарах, конечно, не пишут, подвергнуться самосуду со стороны восставшей солдатской массы. План Вильгельма, который он несомненно привел бы в исполнение, если бы мог, заключался не в военной прогулке по Германии, а в кровавом подавлении революции и установлении военной диктатуры. И, наконец, отказаться от этого плана, а с ним вместе от императорской и королевской корон, заставила его не отеческая забота о немцах, а полное разложение, захватившее всю армию и сделавшее невозможным всякого рода контр-революционные эксперименты.

Впрочем цель всей этой подрисовки событий—совершенно ясна: накануне всякой монархической реставрации—необходимо создавать легенду. Ведь воцарению Наполеона III также предшествовала легенда о маленьком капрале. И сказку о добром Гогенцоллерне, который из любви к немцам, добровольно отрекся от престола и пошел в изгнание—никоим образом нельзя назвать неудачной.

Слабой стороной этой легенды, творимой в Голландии, является лишь то, что отец Гогенцоллерн не столковался заранее с сыном, и последний довольно конфузным образом разоблачает всю подоплеку отцовского сказания.

Критика и библиография

Ник. Никитин. Рвотный форт. Рассказы. Гос. Издат. М.—П. 1922 г.

Ник. Никитин. Американское счастье. Подвал. Рассказы. Из-во «Былое». Петр. 1922 г.

В этих двух книжках Н. Никитин представлен достаточно полно и выразительно для того, чтобы составить о нем более или менее ясное представление, и, на этот раз, не по таким сомнительным документам, как «автобиографии Серапионовых братьев» или дружески-учительские рецензии В. Шкловского и Ев. Замятина.

Об «автобиографиях» вообще лучше бы забыть, а если уж и обращаться к ним, то лишь как к документам менее всего достоверным, ибо недаром признался сам Никитин, что он и «братья» в этих рассказах о себе нашли не более как форму для некоего литературно-стилистического упражнения. Будучи, следовательно, произведением литературным, автобиографии эти не претендуют на правду: искусство,—утверждает тот же Никитин,—*ложь и обольстительный обман*. Что же касается той высокой оценки, которая дана и Шкловским и Замятиным,—то надо принять во внимание некоторую ее несвоевременность: о «Серапионовых братьях» писали, главным образом, так сказать, авансом, судя о них по случайно появляющимся рассказам, *разбросанным в разнообразнейших изданиях*. Конечно, Е. Замятину, несомненному духовному отцу «серапионов», было известно многое из того, что писалось его учениками и что еще не было напечатано. Но это только одному ему и было известно; остальным оставалось верить братьям в кредит, за поручительством тех же Замятина и Шкловского.

Но время шло. Братья выпускали книжку за книжкой, и могла бы теперь *составиться небольшая библиотечка* избранных сочинений «серапионов»: в ней и томики Вс. Иванова, и «Рассказы г-на Синебрюхова» Зощенки, и «6 стрелковый» Слонимского, и, наконец,—«Рвотный Форт» и «Американское счастье» Н. Никитина. Таким образом мы имеем полную возможность судить о них не по *словам, а по делам*.

Но говорить о каждом из них в отдельности (в том числе, значит, и о Никитине), не вспомнив некоторой генеалогии, общей для всех них,—невозможно. Все они, сколько ни различествуют многими внешними особенностями друг от друга, ведут однако, происхождение свое *от одного корня*. И *по каким бы направлениям* ни растекались течения их творчества,—все равно не забыть первоистока, давшего жизнь им всем. Корень этот, первоисток их многоводных течений—притоков единого — главного русла,—именно то самое «братство», быть верными членами которого обязались «серапионы».

В самом деле: если «Серапионовы братья» не есть только простое наименование для некоего литературного кружка-содружества (скажем, вроде нашего московского «Звена»), если «Серапионовы братья» не банальная издательская «марка»—фирма книжного издательства,—то ведь должно же быть в нем нечто такое, что внутренне значительнее и «кружка», и, уж конечно книжно-издательской «марки». И это «нечто» действительно существует и может быть вскрытым на основании того анализа, для которого наиболее удобным материалом представляется творчество Никитина, являющегося, на мой взгляд

самым типичным (если так можно выразиться) серапионовцем.

Если у остальных «братьев», в качестве их очень сильного актива, имеются в наличии ярко выраженные индивидуальные черты (припомним Вс. Иванова, Зощенку, построившего все рассказы в тональности «господина Синебрюхова» и от этого мотива почти не отходящего, или Лунца с преобладающей у него темой романтической трагедии, и, уж конечно, Каверина, остающегося неизменно гофманианцем),—если, говорю, у этих братьев есть ярко выраженные индивидуальные особенности, иной раз почти стирающие черты фамильного сходства и заставляющие забыть об их генеалогии, то у Никитина, в отличие от всех остальных «братьев», выражены, главным образом, не лично ему принадлежащие черты, а как раз те самые особенности, которые присущи вообще серапионовцам. Таким образом сохраняет Никитин органическую свою связь с тем «корнем», от которого повелся весь «род». В его творчестве сказалось его происхождение.

«Искусство—ложь, обман, виденье». «Натура мне противна». «Всякая строчка художника искусство». «Так (и «как актер» -- примеч. мое. Ю. О.) писатель играет в каждой своей строчке». Это из признаний самого Никитина.

А вот из теоретических рассуждений о существе «серапионовства», взятых в статье Груздева «Лицо и маска» (в заграничном издании «первого альманаха Серапионовых братьев»):

«Художник всегда маска... «Неправедность» искусства, его «неизбежная ложь» в том, что... форма подчиняет себе мысль. Форма же есть единое и соразмерное построение. Ценность художественного произведения в прямой зависимости от совершенства построения... Сейчас в русской литературе нет более насущного вопроса, как утверждение новых форм прозы, оскудевшей сейчас, может быть, накануне расцвета».

И еще из признаний самих «серапионов»: «искусство реально, как сама жизнь»—оно «без цели и без смысла: существует потому, что не может не существовать» (из «автобиографии» Лунца).

Эта мысль настойчиво утверждается тем же Лунцом в его полемической статье «Об идеологии и публицистике» (газета «Новости» № 3, от 23 октября 1922 г.). Здесь мы читаем:

«Но мы все верим, что искусство реально, живет своей особой жизнью, независимо от того, откуда берет оно свой материал. Поэтому мы—братья».

Теперь, пользуясь всеми этими признаниями, мы легко вскроем подлинный смысл утверждения Ев. Замятина, что из «студии» (вернее из тех бесед, которые велись с Замятиным о литературе, форме и стиле) взяли серапионовцы «искусство писать чернилами 90-процентной крепости».

Но, говоря проще,—не значит ли все это, что важно писать не «что», а «как»? И у серапионов, как видим, «что»—почти не существенно,—все дело в «как».

«Мы братья потому, что умеем осуществлять свое мастерство, не считаясь с тем, откуда берет оно для себя материал»—хочет сказать Лунц, очень верно вскрывая замятинскую похвалу о умении писать чернилами 90-процентной крепости.

Это теория.

А на практике—у Никитина и «Песни Парка», и «Чаване», и «Американоко счастье», в которых весь смысл именно в «как». Беда-то, однако, в том, что «Серапионовы братья» и в том числе Никитин (а он даже прежде всего) одним из стимулов своего писательства почитают сопричастность, или, как некоторые любят выражаться, созвучание современности. Стремительно развивающееся действие, сюжет, построенный на занимательности действенной фабулы, освобожденной от излишнего груза психологизма, и вся внешняя структура их повествований должна быть и во внутренней согласованности с эпохой, революционные ритмы которой сложили и строй, и ход творчества «братьев».

А раз это так, то не может быть для них равнозначущими «колокольчик и самоубийца», в одинаковом художественном внимании к которым укорял еще Чехова Михайловский.

Но тогда в оправдание Чехову, и

укор нечуткости критика, можно было возразить, что эпоха хмурых людей, рожденных в сумерках, слила в общем сером фоне и скорбные стенания самоубийцы, и заунывное треньканье колокольчика. В том и была значимость чеховского пейзажа, что тусклые его краски, выражавшие музыку человеческой печали, были зарисованы с натуры. Но что ответит Никитин на обвинение его в равнодушном или даже в одинаково об'ективном отображении разнообразнейших красок того «пейзажа», что рисуется им, и имя которому РСФСР в пятилетие 1917—1922 г.г.?

Впрочем, вряд ли будет Никитин озабочен подыскание исчерпывающих раз'яснений. Не утверждает ли он, вкупе с Груздевым, Лунцом и остальными «братьями», первородство «формы», не отрицает ли он, вместе с ними, содержание, не есть ли искусство, а следовательно, и литература, только «сладкая ложь», не за маской ли внешнего умельства запрятал он подлинное выражение лица своего. Не все ли равно «ч т о»,—было бы «как». И обе его книжки блистательно всю эту теорию, которой, кстати сказать, миновала не одна земская давность, блистательно подтверждают. В анекдоте ли о наивной коммунистке, возмечтавшей превратить кочевников-цыган в нечто оседлое (расск. Чаване»), в трагическом ли рассказе о том, как в трюме белогвардейской барки задыхаются и умирают от тифа пленные красноармейцы (расск. «Барка»), в жутком по теме, но с таким поистине легкомыслием выполненном повествовании во «Псе», в «Американском счастье», и в «Подвале», в «Камнях» и даже в «Рвотном форте»—везде и всюду с одинаковым мастерством выписаны детали, с одинаковым искусством нанизаны подробности, и с равным вниманием ко всему и ко всем подысканы краски.

«Не знаем умирать или щи хлебать»,—говорит Никитин, полагающий, что именно так и разрешается вопрос о крови...

Потому-то и тот, кто везет осужденных красноармейцев, и тот, кто от их имени выступает,—одинаковы: «оба были разны, и оба одинаковы, как кора и щебень» (расск «Барка»).

«Ленинцы, корниловцы, ей богу не понимаю. Значит, надо, чтобы кипел котел»,—говорит в повести «Ночь» офицер-корниловец, но и сам Никитин не понимает или, вернее, не желает понять. Для него очень многое с удобством укладывается в лукавую форму его отца Нечудилы в расск. «Американское счастье»—«гвоздю подобна советская власть. Ее бьют, а она крепче». Никитину занятно смотреть и к а к ее бьют, и к а к она крепчает. Все на потребу мастерству! И не все ли равно, что сперва секли мужиков белые, а потом судили за белых—красные. Было бы хорошо описано и то, и другое (расск. «Камни»). И многое действительно описано превосходно. Глуповатый анекдот о «Чаванах» рассказан прямо замечательно, а сколько меткого и верного в неверном и по существу неметком «Псе».

Но если от идеологии (от «ч т о») подойти к выполнению (к «к а к»), то и тут надо оговорить принадлежность Никитина именно к серапионову братству. Ни на ком ином не сказались так ярко следы пребывания в некоей студии, положившей свои весьма отметные черты влияния и на внешнее мастерство «серапионов»—как именно на Никитине. И отказ от психологизма, и пристрастие к «сказу», и внимательно-любовное собирание народных речений, и почти фонографически точная запись северно-русского говора, и пресыщенность образностью, и пристрастие к метафоре и сравнению в разрезе антропоморфическом—все, что шло через Замятина—от А. Ремизова и Лескова,—все налицо у Никитина.

«Горело солнце—румяная сочня». Вечер уже небо спеленало, а по пеленкам звезды высыпали («Пес»). Ленивое небо, как перекормленный пес («Ночь»). «По небу звезды пасутся, жирные, чесаные» («Барка»).

Иногда эта антропоморфичность замечательна по меткости. Сравнения: «озорное утреннее солнце выпустило румяных зайцев на беленый потолок» («Рвотный форт»); но иной раз это отдает дурным имажинизмом: «луна сытая и круглая, как умелая нищенка, что-то просит у земли («Рвотный форт»

и ночь жует своими мягкими губами» (там же). Или: «Пристань, сытая баба, вальяжно покачивается, шевеля заминно широкими бедрами («Подвал»). Пристрастный к сказу, подменивши им показ, Никитин, как уже это и отмечено, фонографически точен в записи говора. И эта точность не только ненужная, но и по существу лживая. Ну, кто в самом деле говорит «лепехи» и «лягухи» вместо лепешки и лягушки, кто скажет «грудка у девошки», «поедно», «вальц», «баба пшанная», «пшано»? И даже какой-то вовсе непонятный «согрев» и «поцелуйный задох»? И на-ряду с этим—замечательная живопись лиц: «лицо у Корнеева отчетливое и шаг четкий и рыжая борода кругла, как литавра» («Пес»).

У Пушкова («Рвотный форт») «вместо лица смачная яичница. На носу, на щеках, даже на губе раз'ехались огненно рыжие веснушки». И незабываема в том же «Рвотном форте» Катюша вся кругленькая, с глазами, как чернослив.

И там, где отходит Никитин от «сказа», там, где хочет дать «показ», т.-е. показать человека живьем—вот с таким—«яичницей» лицом, как его Пушков, там достигает он настоящей художественной выразительности, яркости и правдивости. У него хорошо и бойко говорит ор-налетчик, и слышится «шаршавый» старушечий голос няньки. Но это там, где не думает Никитин ни о «сказе», ни о Замятине, Ремизове, Лескове. Оттого лучшая у него вещь «Рвотный форт», что построена она как повесть, почти без «остранений» и почти без «сказов». Но и тут есть досаднейшие вещи: зачем понадобилось столь подробное описание того библейского греха, которому предается комендант форта—фигура, отлично вообще Никитину удавшаяся? Есть в этом какое-то озорство, та легкость мыслей, которая приучила и на всю литературу смотреть, как на забаву, как на занимательнейшую игру в слова, краски, образы.

Не хочу быть Гаршиным, не хочу закпадок,—кричит Никитин, уверяя всех в своем об'ективизме и в своем исповедании очень старой и уже давно сданной в архив, или музей дурного вкуса, религии искусства для искусства. Не зачем кричать, конечно,—он не похож на Гаршина,—и зачем ему походить на него?

Религия же «искусства для искусства»—болезнь вроде кори, которой страдают в детских годах своего писательства очень многие. Болезнь не слишком опасная. Гораздо опаснее остаться с убеждением, что все в мире лишь «сюжет для небольшого рассказа».

С таким подходом к жизни и к людям не овладеть пониманием того главного, во имя чего возникало «братство серапионов»:

— души современности.

Но Никитин молод и у него есть все данные для того, чтобы стать настоящим писателем. Тогда «что» и «как» в его творчестве сольются в том гармоническом сочетании, которого так явственно не хватает первым его книжкам.

Юрий Соболев.

А. Н. Толстой. «Любовь—книга золотая», стр. 91, из-во «Москва», Берлин.

Комедия екатерининского времени. В числе действующих лиц и сама императрица. Весело, хорошо. Веет свежестью. Остроумно. И главное, просто. Эта вещь написана так изящно, что переложение здесь ее содержания было бы как-то неуместно. Да и содержание-то в сущности очень простое. Но при всем том много действия. Недаром эту пьесу взял к постановке Александринский театр. Особенно хороши княгиня, князь и Завалишин—ад'ютант Екатерины. Князь стар и Решето, его наперсник и шут, тоже стар. На них книга Екатерины: «Любовь—книга золотая» производит потрясающее впечатление. Княгиня—молодая женщина—очарована этой книгой. Разумеется, княгиня выдумщица. Ее дом полон фавнами и «нимфами», т.-е. парнями и девками, соответственно переодетыми. При этом фавны должны обязательно хватать нимф и играть с ними. На этой почве девка Сашка, тоже нимфа, жалуется на Микитку (фавна), который чересчур часто хватает девку Наташку.

Санька. Сударыня, сил моих нету с Микиткой... Дозвольте замуж выйти за него, подло.

> го. Опять Наташку хватает, терпенья никакого нет...

Эти фавны и нимфы представляют тот фон, на котором развертывается все действие. А «Любовь—книга золотая»—тоже замечательная книга.

> «Соизволением ее Императорского Величества Государыни Императрицы оттиснута в Санкт-Петербурге в 1771 году... Календарь для любовников... Стрелы Купидона».

Вот какие вопросы есть в этой книге. Например: «Что есть супруг? Ответ: муж, рогами украшенный и глупостью подобный птице пингвинус...». Немудрено, что такая книга приводит в раздражение старого князя. Но «Любовь—книга золотая» оказывается с широким здоровым инстинктом жизни. Княгиня потянулась к Завалишину, на которого имела виды сама августейшая проказница. Князь оказался «рогами украшенный, подобный птице пингвинус», но тоже не унывал особенно и усиленно осуществлял назидания книги золотой по отношению к придворной даме Екатерины Полонуччи. Он доставал у ней языком из глаза попавшую туда мошку... И когда стрелы Купидона, столь прекрасно наивно изложенные в книге «Любовь—книга золотая», замелькали в действительной жизни, Екатерина рекомендует эту книгу,—ее подарок,—бросить с кручи. И к чему она, книга, когда жизнь, сама веселая княжеская жизнь екатерининского времени, заговорила своим ярким веселым языком. И Микитка стал Микиткой, а не фавном, и Санька превратилась в девку, в его жену. «Любовь—книга золотая»—это торжествующая жизнь, которая не знает ни облачка, ни пятнышка.

Такую спокойную безоблачную веселость дал А. Толстой в своей пьесе. Издана книга с большим вкусом.

А. А.

П. Орешин. «Челнок на льдине», рассказы, издательство «Красная Новь» Главполитпросвет, Москва 1923, стр. 137.

В книжке собрано 14 рассказов, написанных за довольно длительный период 1915—1922 г.г.

Основная их особенность—старо-традиционный, очень простой язык, тихая плавность, неторопливость, медленное развертывание сюжета и, следовательно, некоторая сухость. Особенно сказывается это на ранних рассказах, которые, в сущности, даже и не рассказы, а—правдивые, хорошо зарисованные картинки быта.

Иногда они однообразны и однотемны («Забавный старичок» и «Старый служака»), иногда необработанно смяты, иногда «провинциальны», но чаще (и это мирится с некоторой сухостью стиля)—тронуты свежей мягкостью юмора.

Быт первых рассказов Орешина—быт «города Свинопупа» и его уезда. Но уезд—отяжелевшая от водки деревня-матушка—у Орешина редок мужик (а его Орешин должен хорошо знать)—у него почти не показан. Если и показан, то в образе бедного внука Антона Горемыки. Обычный персонаж Орешина—мелкий городской чинуша в обтрепанном казенном картузике и выцветшем лиловом сюртуке, или крутящийся в жестокой мясорубке бедности пьяненький (из поколения Макаров Девушкиных) «подвальный» человек.

«Свинопуповский» чинуша, конечно, забит и робок. Он угодливо, с масляной улыбочкой склоняется перед секретарем мещанского присутствия—высшим своим начальством.

Но когда забитый чинуша остается наедине сам с собой, он грустит. Он умеет грустить тихо, жалобно и трогательно. И Орешин пишет так же трогательно, в дымке нежной лирики. И лирика—кстати очень редкая—у Орешина необычно легкова.

> «Осенью подойди только к березке какой-нибудь и посмотри на нее, послушай, прильни к ней ухом твоим поплотнее: внутри у ней большущая жалоба, внутри у ней горе всесокрушающее, а подойди-ка весной: господи, какая она, эта

березка, счастливая, радостная да веселая, и ухом прикладываться не надо—так слышно».

Орешин доводит своего героя до революции. В рассказе «Сквознячок»—в рассказе определенно зрелом и уже не зарисовочно-легком, а психологически-углубленном, он показывает бухгалтера Пазушкина, дезертирующего от воинской повинности.

— Ну, а как же насчет повинности?—спрашивал сам о. Николай за чаем как-то.

— То-есть... воинской?

— Воинской.

— Да, как же вам сказать, батюшка,—улыбнулся Пазушкин, дернувшись на стуле.—Так... сквознячком как-нибудь...

— Сквознячком? Хе-хе... та-а-ак.

«Сквознячок»—один из трех, помещенных в книжке революционных рассказов. И единственный, где действует обыватель. В двух других («Человек на льдине» и «Лукьян») даны эпизоды гражданской войны в деревне. Но «Человек на льдине»—рассказ хотя и сильный, но немножко нарочитый, искусственный, с довольно старым сюжетом. Более интересен «Лукьян».

Лукьян — обычный крестьянин, муж красивой Груши и отец двухнедельного Федьки. Во время набега белых на родную деревню Даниловку, Грушу увозят два офицера. Лукьян, догоняя, одного убивает, а с другим вступает в смертельное единоборство.

«Лукьян задыхался. Гру... Груня...—хрипел он.—И вдруг она подскочила сзади и одним ударом приклада свалила противника. Он упал навзничь.

— Кажется, больше не встанет».

Рассказ колоритен, правдив и народен. Вслед за «Сквознячком» и «Весенней хандрой»- лучший в книге.

Н. С.

Н. Лесков. Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов. Издательство «Круг». Москва—Петроград 1922 г., стр. 168, цена не указана.

Молодое издательство хорошо сделало, выпустив книгу Н. Лескова, ни в одно из его сочинений не вошедшую. Была повесть напечатана в журнале «Нива» за 1917 г., а до того времени считалась неопубликованной. Для бесчисленного множества современных молодых авторов, ищущих стиль и образ внешнего украшения, книга Лескова весьма показательна и весьма поучительна, а потому прочесть ее необходимо всякому, умудряющему себя словесностью. Не даром А. М. Пешков каждому молодому автору неизменно рекомендовал почитать Лескова. Такова сила этого «старика», знающего цену словам—простым обыкновенным, из которых он плетет узоры очаровательные, проникнутые глубиной и ясностью мысли.

В центре повести стоит Оноприй Перегуд — человк «крепкого сложения», «присадковатой фигуры» и «круглого лица», «як добра каунка», т.-е. арбуз. По первоначалу он не приготовлялся для вязанья чулок, а даже «урвал себе самое необыкновенное образование» и «исполнял необыкновенный долг службы свыше всякого воображения». Во всем этом Перегуд столько самого себя превзошел, что даже, наконец, «сам для себя стал непонятен и удивителен». По убеждениям он был «частью честолюб, а частью консерватор», а в жизни «любил тишпоту», и чтобы «никто один другому не смел позу рожи показывать». И при таких своих дарованиях Оноприй Опанасович Перегуд «всеудивительно себя превознес посредством «Чипа явления истины» и потом «сам же себя жесточайше уменьштожил» (стр. 7—8).

Художник мастерски охватил жизнь этого всеудивительного человека, превознесенного и уничтоженного. Все идет из Оноприя Перегуда и все возвращается в Оноприя, ничего нет постороннего, беззначного, не связанного с мыслями и настроениями Перегуда, а потому и самая повесть вышла, «як добра каунка», ярко закругленная, выпуклая, приятная на вкус внутренним своим добром.

Не касаясь в рецензии самого существа повести, отображающей в себе целую полосу общественной жизни минувших десятилетий, богатых безобидными неуклюже состряпанными Перегудами, ищущими «потрясователей в шляпах земли

греческой», чтобы получить орден за «сохранение тишпоты», мы только сугубо подчеркнем удивительно тонкое мастерство Лескова в плетении словесного кружева, где каждая ниточка имеет свое место и назначение, где нет ни одного слова, играющего неверным светом, неверным звуком. Все слова слажены, поставлены так, что в целом дают общую картину, освещенную внутренним светом, целый концерт всевозможных мелодий, раскрывающих жизнь и душу «всеудивительного» Перегуда, исполняющего «долг службы превыше всякого воображения».

Рисунок на обложке нужно отнести к неудачным. Он чересчур сложен по замыслу, а Лесков по основной мысли своей писатель ясный, строго и точно очерченный.

А. Неверов.

Александр Неверов. Смех и горе. Комедия в 3 действиях, Из-во «Красная Новь», Москва 1922 г., стр. 38, цена не указана.

Пьеса современная на фоне нашего быта в 1919 году из жизни сельского духовенства. В комедии изображаются похождения некоего комиссара, «бывшего офицера из купеческого звания». Комиссар-пошляк и дон-жуан мелкого пошиба играет в любовь с попадьей. Хитрая попадья устраивает так, что ее батюшка приглашает комиссара к себе на квартиру. Поповская чета зажила сытно под «высоким покровительством». Попадья благополучно водит батюшку за нос. К «высокому покровителю» тянутся и другие попики, обездоленные революцией. Комиссар живет в свое удовольствие, пьет, поигрывает в картишки, окруженный лестью поповской.

Но сколько веревочка ни вейся... Зарвавшийся комиссар проигрывает казенные деньги. Следует ревизия из города. В результате комиссар с попадьей арестовываются.

Резонером в комедии—дьякон, сбитый с панталыку революцией, он говорит.

— Раздавит нас колесница революционная. Или мы должны вскочить в нее и крикнуть: «Гей, дорогу! или уйти в сторону».

В заключительной сцене дьякон сбрасывает с себя поповскую одежду, кричит:

— Больше я—не дьякон!

Автор сумел художественно без «агитки» изобразить своеобразный мирок духовенства сельского в период военного коммунизма. Совлекаются ветхие одежды, обнажается «существо» служителей Христа: утроба, живот.

Написана комедия легко, без натяжек и искусственности положений. Вместо трюков и сюжетных ухищрений, в ней чувствуется напряженность событий и эта напряженность захватывает внимание читателя-зрителя.

Особенно хочется рекомендовать «Смех и горе» в репертуар рабочих клубов и народных домов. Там она найдет своих зрителей. Технически пьеса очень выгодна для народных домов: все три действия проходят в одной и той же обстановке в доме попа, что автор, видимо, и имея в виду, желая свою пьесу сделать доступной даже небольшим драматическим кружкам, бедным постановочными средствами. В пьесе семь действующих лиц: пять мужчин и две женщины.

И. П—в.

Рене Маран. Батуала. Негритянский роман. Госиздат.

Эта маленькая книжка, без сомнения значительное явление в литературном мире, ее шумный успех вполне заслужен. Следует приветствовать, что наш Госиздат сравнительно быстро откликнулся на него.

Этот негритянский роман поднимает завесу над таким уголком капиталистического «культуртрегерства», куда может проникнуть оком художника - реалиста лишь один Маран, сам негр, непосредственный участник этой далекой тихой трагедии в экваториальной Африке, в Конго, где насаждением цивилизации занята «Прекрасная Франция». Роман написан с чувством большого страдания за несчастных негров и внутренним возмущением жестокостями французов, но все же эти переживания не вывели автора из того художественного рав-

вения, которое является необходимой предпосылкой творчества.

«Этот роман,—пишет в предисловии к нему сам Маран,—совершенно об'ективен. Он не пытается даже об'яснять, он лишь констатирует. Он не возмущается, он лишь регистрирует». И от этого протест против эксплоатации несчастных негров белыми лишь выигрывает в силе, правдивости и убедительности. Маран не пытается прикрашивать жизнь его братьев по расе. Он развертывает перед нами такие картины их нравов, которые заставляют содрогаться и переносят читателя в царство примитивных дикарей. Такова, например, потрясающая картина «Ганза», дикого, мерзкого обряда, который должен ознаменовать вступление мужчин и женщин в половую зрелость. Как опытный врач, спокойно, без малейшей гримасы, расчищает смердящий гнойный нарыв, так и художник Маран самым детальным образом описывает эти отвратительные сцены. Более того, он нарочито подчеркивает их и выпячивает.

Или мечты Батуала о том, как отомстить любовнику изменяющей ему Яссигинджи, за которую он заплатил семь передников, ящик соли... собаку, четыре котла и т. д.

> Вот она (жертва), порывистый прыжок. Ее опрокидывают на землю, душат. Потом при помощи зазубренного ножа, острого камня или когтей ей перерезают вены на шее, как это делает пантера, отрезают член за членом, кромсают ее на куски...

Таков обычай мести.

> Да, да. «Делая пантеру». Вот вещь, которой белые тоже не знают. Эхе!

Вы чувствуете, как культурный Маран говорит здесь языком самого дикаря Батуала, думает его думами, упивается его диким восторгом утонченно-жестокой мести. Маран любит описывать; вся книжка полна описаний; действия в ней совсем мало. Весь сюжет можно рассказать в нескольких словах. (Одна из жен Батуала, предводителя негритянского племени, изменяет ему с молодым негром Биссибинги. Умирающий Батуала, истерзанный пантерой на охоте, находит в себе достаточно сил, чтоб отомстить им, когда они, считая его безопасным, предаются ласкам в его же присутствии).

Свои картины Маран набрасывает не широкими мазками, а тонкими, кропотливыми штрихами. Он любит свое дело. Собачке Батуала Джума и ее «мыслям» он посвящает не меньше внимания, чем действующим лицам рассказа. Когда Маран подробно описывает быт негров и окружающую их природу, его проза иногда переходит в настоящую поэзию.

Перед нами, без сомнения, крупный художественный талант.

Политические моменты—взаимоотношения между белыми и неграми—не нарушают художественного тона рассказа.

> — Я ненавижу белых,—восклицает Батуала,—чего только они ни обещали нам?.. Дороги, мосты, машины, которые при помощи огня ходят по железным полосам... Но где это?.. Мало того, они отбирают от нас все до последнего су... Мы—мясо для налогов. Мы только вьючная скотина. Скотина? Даже не скотина! Собаки. Но тех они кормят... А мы хуже этих животных. Они медленно убивают нас.

Достается и высокой морали белых эксплоататоров:

> ... С налитыми кровью глазами он стал кричать: «Белые ничего не стоят... Они считают нас лжецами. Если мы иногда прикрашиваем правду, то это потому, что она недостаточно хороша. А они? Они лгут из-за пустяков, они лгут постоянно по привычке, как дышат.
>
> Только белые имеют право играть в азартные игры... А что касается белых женщин, то они... такие же доступные, как черные женщины, даже более продажные: они обладают пороками, неизвестными последним... А они хотели, чтобы их уважали!

Поскольку Маран выступает, как художник, он хорош. Но в предисловии он выступает в роли политического защитника своих братьев по расе—и весьма

неудачно. Приводя цифры о быстром вымирании негров под сенью французской цивилизации, он там пишет:

> «Что касается туземцев, то они, ослабленные постоянным чрезмерным и неоплачиваемым трудом, они даже поставлены в невозможность посвящать своим посевам необходимое для этого время».

Но он верит, что «представители Франции», нынешней колониальной Франции, могут бороться со всем этим.

> «Я призываю вас исправить все это... Задача ваша прекрасна...»

Как это наивно! Как это абсурдно с точки зрения политического здравого смысла!

И приятно отметить, что уже находятся другие представители негритянской расы, братья по перу Марана, которые говорят с иронией про эти строки.

> — Он талантливый писатель,— сказал про Марана автору этих строк делегат Коминтерна, негр, писатель Клод Мек-Кей,—но он мелкий буржуа... Он верит в капиталистическую Францию.

И, без сомнения, отражая интересы трудящихся масс негров, этих «дровосеков и водовозов человечества», по выражению Мек-Кея, последний заявил на конгрессе Коминтерна:

— Негр найдет свой путь—в Москву.

М. Шанин.

Письма императрицы Александры Феодоровны к императору Николаю II, том I, перевод с английского В. Д. Набокова, к-во «Слово», Берлин 1922 г., стр. 374.

Письма Александры Феодоровны к Николаю, т. е. письма довольно, по своему, неглупой женщины к слабоумному мужу, охватывают 2½ года Европейской войны, начинаясь со дня ее об'явления и обрываясь 17-м декабря 1916 года—днем убийства Распутина.

Они, как говорится в предисловии, «найдены были в Екатеринбурге, после убийства царской семьи, в черном ящике с выгравированными на нем инициалами Н. А.».

Но к ним больше подошли бы сафьяновые крышки институтского альбома, шелковая розовая лента на дневнике той же сантиментальной институтки, и, даже, бювар светской героини из Вербицкой.

Ибо письма последней русской царицы насыщены горячей супружеской любовью, смешанной с восторженной девической влюбленностью и болезненно-пряной нежностью, густо приправленной эротической болезненностью.

Письма пересыпаны банальнейшими эпитетами с карточек провинциального «флирта», вроде «душки», «сокровища» и т. д. Императрица не только целует их, кружочком отмечая поцелованное место, но и душит. Подписывается под ними не только кокетливо-скромно: «женка», но и скромно-застенчиво: «солнышко». И не только клянется в «верности до гроба», но в каждом письме жалуется на «опустевшую кровать».

Часто посылает своему мужу цветы, получая в ответ драгоценный крест, одевая который, томно благодарит:

> «Ты меня балуешь, я ни на секунду не думала, что тебе придет в голову мне что-либо подарить».

Религиозность я, при том, опять болезненная, приторная обволакивает все 199 писем императрицы.

Бог и «святая белая дева»—кроткий Иисус и mater Dolorosa—фигурируют в каждом письме.

> «Дорогая любовь моя, бог да благословит и охранит тебя и пусть святая дева защитит тебя от всякого зла»,

так, обычно, заканчивает свои письма болезненно возбудимая, истерическая женщина.

Дворцовый быт (лучшим источником к изучению которого являются письма) с наступлением войны переменился только в нескольких внешних деталях. «Беби» так называет Александра Феодоровна сына—стал играть в солдатики, а мать и дочери, одевшись в серое платье «сестер милосердия», занялись различными «богоугодными» делами, ухаживая за ране-

ными офицерами и работая в «школе народного искусства», где

> «девочки сами ткут ковры и обучают этому деревенских баб. Потом они получат коров, и кур, и овощи и будут учиться домохозяйству».

Правда, война столкнула императрицу со слезами и горем народным, но это растворяется в ее философических размышлениях, вроде:

> «Война подняла дух, очистила много застоявшихся умов, об'единила чувства»,—

и в семейном счастьи.

И какое пошлое это семейное счастье, и какой бедный, скудный, тупой быт!

Развлекающийся в отцовской ванне больной, худосочный Алексей, заневестившиеся дочери, теплые материнские заботы, послеобеденный сон, пасьянсы по вечерам и почти ни одного упоминания в книге—вот быт дворца, показанный и рассказанный в письмах.

Во дворце есть свои враги, свои друзья и приближенные. У царицы—по старым традициям—есть пажи: она рассказывает мужу то о бледном раненом мальчике-корнете, то—с гордостью и удовлетворением—об офицере, «ударившем по лицу двух людей, дурно о ней отозвавшихся в поезде», то об «улане Гурьеве», который очень мил, интересен и имеет отличный дух». Но если кто-нибудь недостаточно почтителен или длинноязычен,—о, тогда «императрица всероссийская», позируя под «величественную» Софью, гордо и высокомерно выпрямляется во весь рост.

> «Ты должен, — пишет она в письме от 9 сентября 1915 г.,—немедленно сменить Самарина,—я должна буду пострадать, если он останется, так как это падет на мою голову, ты слышал, что сказал губернатор,—и здесь ко мне нехорошо расположены в некоторых кругах, и теперь не время унижать государя или его жену».

Самарин, между прочим, один из злейших врагов императрицы. Но о врагах после. Сначала о друзьях.

Их—два: Распутин и Вырубова, «Аня» и «наш Друг», — как они именуются в письмах. Над Вырубовой императрица не прочь по-дружески поиронизировать:

> «Она только и говорит о том, как она похудела, хотя я нахожу, что ее живот и ноги колоссальны (и крайне неаппетитны)».

Что же касается неотделимого от Вырубовой «Друга», то рассказанное о нем Белецким в 20 № «Былого», в письмах Александры Феодоровны только дополняется и обобщается. В письмах приводится несколько его телеграмм, несколько просьб, в виде освобождения от воинской повинности его сына; личность «Друга» окружена в письмах не только внимательностью и защитой, но преклонением и верой в его миссию—наместника бога на земле.

В числе наставлений императрицы есть, между прочим, такое:

> «Не забудь причесываться перед всяким трудным разговором и решением,—маленькая гребенка Друга принесет тебе помощь».

В другом письме (15 ноября 1915 г.) передается более серьезное поручение «Друга»,

> «внушенное ему ночным видением. Он просит приказать, чтобы начали наступление возле Риги».

А когда императрица говорит о врагах (она говорила о них с дьявольской злобой, стиснув зубы и подняв брови), то решительно заявляет:

> «враги нашего Друга — наши собственные враги».

Кто же враги? О, их слишком много.

— Газеты, Родзянко, Гучков, Николай Николаевич, министры, земство, Дума. Не считая, разумеется, «левых».

Был, разумеется, и более сильный враг—народ, путеводимый этими самыми «левыми», но Александра Феодоровна считала его другом, ибо никогда не забывала костромские торжества 1913 года: бронзовый памятник бородачу-Сусанину и его живых потомков—десяток подносивших ей хлеб-соль волостных старшин.

Письма Александры Феодоровны—это ряд советов, ряд замаскированных приказов императору. Главный из них:

Всем нужно почувствовать железную волю и руку».

Требование от императора железа и крови повторяется неизменно. И, как логическое следствие, вытекает отсюда так же неизменно повторяемое в письмах:

«Никогда не забывай, что ты есть и должен остаться самодержавным императором. Мы не подготовлены к конституционному правлению. Это вина Николаши (в. к. Николая Николаевича. Н. С.) и Витте, что вообще существует Дума, и тебе она причинила более хлопот, чем радости».

И отсюда—с думской трибуны—широкий круг врагов. С «врагами престола и отечества» императрица борется настойчиво. Прочное, крепкое министерство («не надо министра, ответственного перед думой—мы для этого не созрели и это было бы гибелью для России»—письмо от 7/IX—1915 г.)—ее мечта.

«И все эти министры, которые между собой ссорятся, тогда как все должны были бы в такое время дружно работать и забывать свои личные обиды—это приводит меня в бешенство».

Так мыслит царица.

«Прежде, чем дума откроется (из письма в сентябре 1915 г.),—нужно образовать поскорее новый сильный кабинет, так, чтобы они имели время работать и приготовить все заранее, все вместе»,—

так хочет она обезвредить думу.

Императрица просматривает министерские доклады, обсуждает с «Другом» кандидатуры, представляя их на «высочайшее утверждение».

Интересны в письмах ее отдельные министерские зарисовки.

Вот отзыв о Сазонове. В письме от 6/IX—1915 г. она раздражена его поведением:

«Сазонов хуже всех, кричит, всех волнует, не является в совет министров, что совсем неслыханно. Я это называю забастовкой министра».

Но через несколько месяцев—более спокойный тон:

«Я думаю, так как он хороший и честный (но упрямый) человек, когда он увидит коллекцию энергических министров, он может подтянуться и снова стать мужчиной. Сазонов нуждается в хорошем возбудителе—и, если он увидит, что дела идут хорошо—он опять почувствует, что у него есть спинной хребет».

Советуя «взять без всякого страха» Хвостова (IX—1915 г.), она оценивает его со всех сторон:

«Он хорошо говорит, а это плюс. Он мог бы померяться с Гучковым, и бог бы его благословил, я думаю.

Он удивительно умен. Энергичный и преданный человек».

Попутно совершается экскурсия в будущее:

«когда кончится война, все эти тысячи людей, работающих на фабриках на армию, останутся без работы, и, конечно, это будет недовольная масса, поэтому уже теперь надо обо всем подумать, все места, фабрики должны быть переписаны»,—

и т. д.—целая система выхода из грядущей безработицы и поддержки «патриотизма».

И все—с одобрительными кивками на Хвостова. Гораздо короче характеристика Штюрмера:

«Он очень ценит Григория, а это—большая вещь».

А в другом месте—наоборот:

«Наш Друг сказал насчет Штюрмера, чтобы ты его взял, по крайней мере, на время—он такой решительный и лояльный человек и будет держать других в руках».

Характеристиками дело не ограничивается. Она разговаривает с министрами о самых серьезных вещах: с Хвостовым—по поводу муки, сахара и масла, которых не хватает в Петрограде, с Барком—о чеканке звонкой монеты, и снова

составляет план быстрейшей переброски из Сибири маршрутных поездов.

И все это покрывается беспрерывным повторением:

> —«они должны выучиться дрожать перед тобой»;

или:

> —«быть твердым—это единственное спасение».

Облачение Николая II в походную Наполеоновскую форму совершилось благодаря неустанным просьбам его великодержавной супруги. Ее истерическое кликушество о твердости имело целью именно верховное командование. Ибо в Николае Николаевиче она видела не только претендента на престол, но и человека, проигрывавшего «святое дело войны».

Она предупреждает об этом Николая II:

> «У него (Н. Н.) нет права так действовать, как он действует, вмешиваясь в то, что касается тебя. Все возмущены тем, что министры отправляются с докладами к нему, как будто бы он теперь государь».

И—переходит на укоры:

> «Разве ты не можешь понять, что человек, который просто стал предателем божьего человека, не может быть угоден богу, и его дела не могут быть хороши. Ну, ладно, если он должен остаться во главе армии, делать нечего, и весь неуспех падет на его голову—но за внутренние ошибки ты поплатишься, так как кто же внутри поверит, что он царствует рядом с тобой?»

Поздравляя государя с победами—вскоре после принятия им командования—она глубоко вздыхает:

> «если бы только можно было сказать то же самое насчет внутренних вопросов! Надо было бы отделаться от Гучкова, только как?—вот в чем вопрос. Теперь военное время, нельзя ли было бы придраться к чему-нибудь, чтобы его запереть».

А через каких-нибудь два письма заявляет более определенно:

> «Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?»

В то же время от глаз императрицы не ускользает ни деятельность земского союза («он слишком много дел захватил в свои руки—после войны скажут, что мы мало заботились о раненых»), ни пресса, ни российский обыватель, почитывающий «Русское Слово».

> «Прессу в самом деле следует забрать в крепкие руки, они собираются в скором времени выступить с кампанией против Ани—это, ведь, опять значит—против меня».

Это Ал. Ф. замечает так, между прочим.

Вообще же идет гораздо дальше:

> «так плохо, что министры не держат при себе все суждения, которые происходят в совете министров»,—

потому, что

> «наша необразованная—хотя она считает себя интеллигентной—публика все читает, понимает только четвертую часть и потом начинает обо всем рассуждать, а газеты всем недовольны—чорт бы их побрал!..»

Вот, в самых кратких чертах, политическая деятельность последней российской царицы, в медальоне которой так у места был бы аракчеевский портрет.—Ибо она мечтала как раз об аракчеевской России, окружая ее, разумеется, древней церковной оградой и раскидывая над ней широкий, об'единяющий «все славянство», купол.

Личность Александры Феодоровны Романовой—садистки по наклонностям, Гретхен по влюбленности, институтки по сантиментам и болезненно-исступленной властительницы по действиям—с письмах выступает четко, отточенно и ярко.

Ник. Смирнов.

Л. Троцкий. Война и Революция, т. I. Государственное Издательство. Петроград 1923 г., стр. 363.

Наши доморощенные социал-оппортунисты в лице меньшевиков и эс-эров сейчас являются жалкими политическими тенями прошлого. Их теории—лакейские по отношению к буржуазии—изжиты нашим рабочим классом, а сами они, показавшие свою «преданность рабочему делу» на службе у Колчака, Деникина, Врангеля и прочих монархических марионеток реакции, изгнаны из среды рабоче-крестьянской массы и принуждены оплакивать свою судьбу на «Вавилонских реках» капиталистической Европы.

В Западной Европе, Америке и т. д. влияние желтых «героев» Второго Интернационала и розово-желтых людей из двухсполовинного Интернационала еще достаточно сильно среди рабочего класса, ибо там была более крепка кора империалистических предрассудков и настроений среди масс. Но все же, по сравнению с еще недавним прошлым, это влияние значительно упало: хозяйственные и прочие потрясения, которые испытывает разрушающийся буржуазный порядок, и гнет, которым он награждает рабочий класс,—начинают рассеивать среди последнего иллюзии социал-реформизма.

К тому же, поведение самой «социал-демократии», весьма часто выполняющей роль палача буржуазии по отношению к революционному движению пролетариата, помогает весьма сильно освобождению его из-под опеки социал-предателей.

Подтверждением этому служит рост коммунистических партий и Коммунистического Интернационала.

Однако было время, когда «герои» 2-го Интернационала на Западе и у нас всецело владели умами пролетариата всех стран и, прислуживая каждый своему национальному капитализму, влекли рабочих и крестьян на кровавый алтарь его аппетитов. Это было время войны, шовинизма и повсеместного предательства социал-демократическими партиями дела интернационального пролетариата. И только небольшое число революционных социал-демократов России, Германии, Италии и других стран осталось тогда верно интернациональному знамени социальной революции. Эти товарищи шли (даже в одиночку) «против течения» и вели борьбу за создание III Интернационала. Среди них одно из первых мест занимал товарищ Троцкий.

Большинство из тогдашнего левого интернационалистического крыла революционной социал-демократии стоит теперь во главе Коммунистического Интернационала и нашей пролетарской революции.

И, однако, та борьба, которую вели они за дело рабочего класса в эпоху 1914—1916 годов останется незабываемым историческим уроком для нового поколения борцов за коммунизм во всех странах.

«Передовым представителям молодого поколения,—подчеркивает т. Троцкий,—нужно знать вчерашний день, нужно, как можно конкретнее, в живых политических образах, человеческих фигурах, усвоить себе по крайней мере непосредственно-подготовительный период перед октябрьской революцией и возникновением III Интернационала». Иначе невозможно понимание настоящего; с этой целью товарищ Троцкий и выпустил данную книжку.

Она представляет не что иное, как сборник его статей, брошюр и записок, написанных им в период 1914—1916 г.г. для разоблачения гнусной империалистической войны и поведения национальных социал-демократов всех стран, в особенности—Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и России.

Большинство статей, вошедших в эту книгу, было помещено т. Троцким в газете «Наше Слово», издававшееся в годы войны в Париже, группой русских революционных социал-демократов. Памяти одного из участников этого органа, М. С. Урицкого, зверски убитого в 1918 г. рукой эс-эров. т. Троцкий и посвятил первый том «Войны и Революции».

Книга обнимает эпоху от начала войны до конца 1916 года.

Предисловие к ней, как бы суммирует и связывает все содержание сборника, вводя исторически в ту эпоху.

Первый отдел книги озаглавлен: «Из

Австрии—в Швейцарию». В форме очерка он развертывает перед читателем настроения в первые моменты войны в Австрии и Швейцарии, где находился тогда тов. Троцкий, очерчивает тогдашнее состояние австрийской и швейцарской социал-демократии. Второй отдел книги составляет выдержки из швейцарского дневника автора за первые недели войны. Рядом отдельных штрихов и заметок т. Троцкий намечает среди развала Интернационала и шума начальных стадий войны свою оценку событий. Уже 11—12 августа 1914 года он записывает в свой дневник, что только «пробуждение революционного социалистического движения... заложит фундамент нового Интернационала—III».

Характеризуя Россию, он говорит о «неизбежности жесточайшего разгрома, который... развяжет революционную энергию народа» (стр. 57).

Под рубрикой «III» помещена брошюра «Война и Интернационал» (1914 год), за которую немецкий суд заочно приговорил т. Троцкого к тюремному заключению и которую французское правительство конфисковало «ввиду ее немецкого происхождения (!)». Брошюра дает анализ причин войны, лежащих в колониальной политике и в империалистических аппетитах воюющих стран. Особенное внимание уделяет автор роли, так называемого, «Балканского вопроса» в деле войны; далее, он вскрывает циничную лживость германских и других социал-демократов, прикрывающихся: то лозунгом «борьбы против царизма», то указанием на «оборонительный характер войны». Тов. Троцкий доказывает, что причины падения партии II Интернационала заключались в том, что империалистический характер современного капитализма наложил свое влияние на национальные социал-демократии всех стран, сделав их верными помощниками своей политики. Противоречия между революционными фразами и действительностью сказывались в Интернационале еще и до войны. Но только она вскрыла, что существом социал-демократии сделался, так называемый, «социалистический империализм». В конце брошюры т. Троцкий развертывает революционные перспективы и свою принципиальную позицию по вопросу о войне.

Четвертая часть книги—«Война в политике»—в форме статей из «Нашего Слова», развертывает перед читателем картину отражения войны в политической физиономии правительственной Франции. К числу последней принадлежат и социалисты, вошедшие в «министерство национальной обороны» и занявшие посты... «министров амуниции» и т. п.

Вечные правительственные кризисы, закулисная борьба буржуазных и проч. партий, интриги—вот состояние политических верхов Франции. А в ногах у циничной и наглой буржуазии и у министров, сменивших свое социалистическое звание на портфели, болтается Ренодель и прочие, «иже с ним».

Не лучше обстоит дело и «по ту сторону Вогез», и в «демократической» Англии, усмирившей Дублинское рабочее восстание. Полный маразм и разложение царят и там.

И на фоне этого возвышаются фигуры русских оборонцев, в том числе и Плеханова, который издавал архи-патриотический «Призыв». В предисловии к книжке, т. Троцкий дает прекрасное об'яснение такому поведению «отца русского марксизма». Г. В. Плеханов «не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником», «первым крестоносцем марксизма». В этом—его главная заслуга, но из этого же вытекают и все его слабые стороны и его ошибки.

Последние две части книги (V и VI) дают силуэты и характеристику политической жизни России. Пред нами мелькают фигуры отошедших в недоброе прошлое: Хвостовых, Штюрмеров и др., кривляются политические тени—Милюкова, Бурцева и др. так называемых социалистов. Ряд глав посвящен разоблачению теории социал-патриотизма, в которой «из под дешевой марксистской фразеологии торчит ухо обывателя, которого немец, что называется, вывел из себя» (стр. 330). Сборник заканчивается анализом каучуковой позиции Каутского по вопросу о войне.

Нужно ли упоминать, что блестящий стиль автора делает книгу чрезвычайно живой.

Внешне она издана безукоризненно. Внутри книги помещены портреты: Урицкого, Коллонтай, Радека, Лозовского, Раковского, Рязанова,—бывших сотрудниками «Нашего Слова», и приложен снимок с «Нашего Слова» и «Начала» «в обработке французской демократической цензуры».

П. Сапожников.

«Новый Восток», журнал Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения при Народном Комиссариате по Национальным Делам, под редакцией М. Павловича (Вельтмана), Книга I—494 стр. Книга II—735 стр.

Всероссийская научная ассоциация востоковедения официально начала функционировать с 14 января 1922 года. Естественно, что официальное начало существования не совпало с началом органической работы, прежде чем приступить к ней, необходимо было пройти значительный организационный период, неизбежно длительный при том состоянии распыленности, в которой находились публицистически-научные силы области востоковедения и при той совершенно новой задаче, которую ставила созданная революцией ассоциация востоковедения.

До революции в России востоковедение существовало исключительно как археология и языковедение, общественно-политического и экономического изучения Востока—не было, не существовало даже журналов, посвященных такому изучению востока, хотя бы вроде французского «Revue du monde musulman», или немецкого «Der neue Orient».

Задачу создания восточного обществоведения, задачу изучения современного востока в его социологии и экономике, пришлось взять на себя работникам пролетарской революции.

Хотя имя т. М. Павловича, ставшего во главе ассоциации востоковедения, и являлось ручательством, что труды ее не останутся бесплодными, но тем не менее следовало ожидать, что эти труды не так-то скоро дадут реальное выражение. Малая наличность научных сил в области общественного востоковедения, пятилетняя отрезанность от всего мира и сверх всего крайняя скудость материальных средств, не позволявшая сразу широко поставить разрушенную мировую связь и информацию, все это заставляло предполагать, что в ближайший период нечего и думать о каких бы то ни было серьезных изданиях, да еще тем более периодических, постоянно отражающих всю бурно-меняющуюся современность востока нынешнего дня.

Можно было ожидать разве появления тоненьких чисто-информационных тетрадок типа «Известий НКНД». Поэтому появление двух первых книг журнала «Новый Восток» является приятной неожиданностью, лишний раз доказывающей, что в то время, когда работает «локомотив истории—революции», работа во всех отраслях жизненного строительства идет поразительно быстрым темпом.

Две вышедшие книжки журнала «Новый Восток» представляют два солидных тома, общей сложностью в 38 печатных листов (1.230 страниц) и поражают как богатством, так и разнообразием заключающегося в них материала.

Смело можно сказать, что первыми своими выпусками журнал «Новый Восток» стал в первые ряды всех европейских журналов, посвященных востоковедению и далеко оставил за собою такие узко-специальные, главным образом, посвященные вопросам торговли и промышленности журналы, как «Der neue Orient».

«Новый Восток» распадается на два основных отдела: политико-экономический и историко-этнологический и четыре дополнительных: a) материалы и документы, b) письма и корреспонденции, c) обзор печати и d) библиография.

Наиболее полным, богатым и главное п л а н о м е р н о-п о с т р о е н н ы м является политико-экономический отдел.

Уже первые две книги «Нового Востока» дают почти исчерпывающий обзор всего востока в его современном аспекте, со всеми связанными с ним международными проблемами, непосредственно влияющими на ход и развитие мировой пролетарской революции.

В первом номере умелой рукой тов. М. Павловича поставлена «тихо-океанская проблема» борьбы трех могущественнейших левиафанов империализма—Америки, Англии и Японии. Проблема эта поставлена в самом общем и широком виде, позволяющем определить основные тенденции ее исторического развития и возможные фазисы в будущем.

Затем, как в 1-м, так и во 2-м номере, эта проблема детализируется. Изучение, начатое с общего положения, переходит к частностям, ко всем отдельным факторам, образующим в совокупности «международную проблему восточного полушария земного шара».

Это изучение проводится в целом ряде статей, как-то: в большой и обстоятельной статье того же т. М. Павловича «Японский империализм на Дальнем Востоке», прослеживающей политику Японии почти вплоть до конца 1922 г., и затем в статьях Вл. Виленского-Сибирякова, Г. Войтинского, А. Ивина, М. Абрамсона, проф. Дм. Позднеева, посвященных современному Китаю и его революционному движению и в статье Сен-Катаямы (вождя японских коммунистов) «Аграрный вопрос в Японии».

Дальневосточная проблема разрабатывается «Новым Востоком» всесторонне. Кроме политических статей начат печатанием ряд статей экономических, дающих фактический материал, как-то: статья А. Садовского «Железные дороги в Китае», проф. Иванова «Колонизация и эмиграция на Дальнем Востоке» и т. д. Не забыта даже военная сторона вопроса, частично отмеченная в статье Ф. Аристова «Значение Сахалина в стратегическом отношении».

Рядом с дальневосточной проблемой, так же внимательно и разносторонне изучает «Новый Восток» и ближневосточный вопрос. Изучает систематически и последовательно, как в его историческом прошлом, так и в настоящем, прослеженном до самых последних дней, до Муданской конференции.

В целом ряде статей В. А. Кряжина-Гурко: «Национально - освободительное движение на арабском востоке», «Сирия и Палестина», «Месопотамия», «Борьба за проливы» прослеживается с одной стороны преступная захватническая деятельность империалистических держав, с другой—отчаянная борьба за независимость порабощаемых восточных народов.

Среди них естественно выдвигается Турция, — этот гегемон мусульманского мира, первая из всех восточных стран вступившая в открытую борьбу с западно-европейским империализмом. Кроме статей Гурко-Кряжина. Турции посвящен еще ряд статей: А. Ф. Сперанского «Турецкий вопрос на международных конференциях после мировой войны»; Н. Арсеньева «Очерки современной Турции»; Д. Козьмина «Рабочее движение в Турции» и несколько обстоятельных корреспонденций. Кроме того, в отделе библиографии подробно рассмотрен целый ряд новых изданий, как русских, так и заграничных, посвященных Турции.

Статья Адамова «Великодержавная политика Греции и великие державы» дополняет турецкий вопрос с обратной стороны, обрисовывая намерения открытого противника современной Турции—современную Грецию и ее неудачные потуги стать на путь великодержавия и воинствующего империализма. После Турции наилучше освещенным вопросом ближнего востока является персидский, которому в двух вышедших книжках «Нового Востока» посвящено четыре статьи: А. Тимофеева «Империалистическое «мирное» завоевание Персии», А. Султан-Заде «Аграрный вопрос в современной Персии», В. Осетрова «Персидские партии» и А. Вышнеградовой «Революционное движение в персидском Азербейджане».

Изучение ближневосточного вопроса обильно дополняется многочисленными материалами, корреспонденциями и регулярным, весьма подробным обзором турецкой и персидской прессы.

Таким образом, два основных международных вопроса, два главных гордиевых узла востока, разрубить которые сумеет лишь мировая пролетарская революция,—вопрос дальневосточный и вопрос ближневосточный,—рассмотрены и освещены в двух вышедших книгах «Нового Востока» настолько подробно и разносторонне, что, пользуясь этими журнальными материалами, можно составить

краткий курс «обществоведения современного востока», пригодный для чтения на любом факультете общественных наук.

Слабее освещены в журнале другие колониально-восточные вопросы. Так Индии посвящено всего две статьи общего характера: пр. Рейснера «Экономические предпосылки политической борьбы в современной Индии» и Тивель «Пути и перспективы индийской революции» (в № 1) и практическая статья Н. Ванина «Факты и впечатления послевоенной Индии», рисующая малоизвестный у нас рост пролетарского движения в «жемчужине британской короны», рост, несущий с собою неизбежную гибель британской короне и увенчанному ею империализму. Касается «Новый Восток» и положения Африки, Египта, Судана, Абиссинии; но статьи, посвященные этим странам, много бледнее статей, трактующих о ближнем и дальневосточном вопросах. В статьях об Африке и Египте чувствуется недостаток фактического материала и знакомство с происходящими там событиями только через «третьи руки», на основе случайных, не регулярно и не полно подобранных материалов. Об'ясняется это, конечно, тем, что в Африку мы до сих пор не имеем возможности непосредственного проникновения и поневоле принуждены пользоваться материалами из чужих рук. И, конечно, невозможно требовать от «Нового Востока», чтобы в двух книжках были бы одинаково ярко и полно освещены все стороны мирового колониального вопроса. Именно в том обстоятельстве, что прежде всего выдвинуты на первый план самые основные вопросы, наиболее злободневные и имеющие наибольшее значение для пролетарской революции в Европе, и сказывается умелая редакторская рука, которая направляет внимание читателя на те пункты, на которых это внимание прежде всего должно быть сосредоточено.

Историко-этнологический отдел «Нового Востока» поставлен безусловно много слабее. В противоположность политико-экономическому, в нем не чувствуется твердой редакторской руки. Материал производит впечатление случайного подбора рукописей, в данный момент нашедшихся в портфелях ученых. Нет единого фронта, нет строгой выдержанности в идеологическом отношении (есть статьи историко-материалистического направления и есть статьи с некоторым идеалистическим оттенком). Нет выдержанности и внешней. Отдел как-будто еще не решил, что ему следует помещать: статьи ли строго научные, интересные только для специалистов, дающие нечто новое в области науки востоковедения, или же статьи популярные, рассчитанные на ознакомление широких масс, с основами ориентологии.

Из статей, имеющих научное значение, следует отметить статью проф. Захарова «Хеттский вопрос» и короткую заметку академика Бартольда «Эпоха омейядов по новейшим исследованиям».

Из статей, имеющих значение, как материалы для социологически-экономического изучения стран востока, заслуживают внимания: статья Викентьева «Пустыня и Нил» и статья проф. Гордлевского «Религиозное движение кизыл-башей Малой Азии».

Огромность материала, даваемого двумя первыми книгами журнала «Новый Восток», не позволяет дать в библиографической заметке оценки отдельных статей, ибо один только перечень наиболее заслуживающих внимания занимает целые страницы. Приходится ограничиться лишь оценкой журнала в целом.

При оценке же журнала в целом, кроме двух основных отделов, заслуживает быть отмеченным чрезвычайно богато поставленный отдел библиографии. Если в первом номере библиография о заграничных изданиях страдает некоторой неполнотой и случайностью, то во втором она становится уже более регулярной и исчерпывающей. Чувствуется, что связи с заграничным миром все более налаживаются.

Вообще, судя по первым двум книжкам, журнал «Новый Восток» развивается и усиливается. Во втором номере появляется отдел «писем и корреспонденций», значительно усиливается «отдел материалов и документов», развивается хроника, рисующая деятельность Всероссийской Ассоциации Востоковедения, очевидно, развивается параллельно с самой деятельностью ассоциации, постепенно распростра-

няющейся из Москвы на всю Р. С. Ф. С. Р. и на весь С. С. С. Р.

Общее впечатление от первых двух книжек «Нового Востока» чрезвычайно, можно сказать, «неожиданно благоприятное». Создать такой общественно-политический и научный журнал, при настоящих условиях разрухи, оскудения, распыленности научных сил и крайней перегруженности сил публицистическо-политических, является огромным подвигом и первостепенной общественной заслугой.

Единственное пожелание, которое является при просмотре «Нового Востока», это то, чтобы не только его заглавный лист, но и весь текст переводился хотя бы на один из иностранных мировых языков и был бы доступен для чтения западных европейцев. При этом условии «Новый Восток» сможет вполне выполнять свою роль: служить боевым органом мировой пропаганды коммунистического понимания колониального вопроса и ярким доказательством того, на какую научную работу способна «умирающая от истощения Россия».

Задание—издавать такой об'емистый журнал на двух языках, конечно, представляет задание чрезвычайно трудное и его можно высказывать только потому, что Ассоциация Научного Востоковедения быстрым созданием своего органа и «тропическим» его расцветом уже доказала, что для нее нет трудных и неисполнимых задач.

Ан. Сквчко.

Франческо Нитти. Европа без мира. Из-во «Волга», стр. 234.

Книга бывшего итальянского министра-президента. Одновременно с выходом ее в русском переводе, она выходит 2-м изданием на итальянском языке и на английском. «Она издана в Соединенных Штатах, Германии, Венгрии и Испании, переведена и печатается на французском, шведском, финском, португальском, турецком, арабском, голландском, болгарском, польском и других языках». К сожалению, на русском языке она вышла в эмигрантском издании.

Ход событий сегодняшнего дня поше дальше того, что предвидел Нитти. О например, думал, что едва ли францу займут правый берег Рейна и, тем пач едва ли так откровенно будут мотив ровать свой переход за Рейн. К сожал нию, они перешли Рейн и мотивировал свой переход с похвальной откровенн стью. С точки зрения событий се дняшнего дня книга Нитти, пожалуй, д же и устарела, но все же не лишен серьезного интереса.

Прежде всего потому, что в ней весьм подробно разобран Версальский догово При чем разбор этот сделан не с узк экономической точки зрения, как, н пример, в книге Кейнса «Экономическ последствия войны в Европе». Этот ра бор сделан политическим деятелем, пр нимавшим активное участие и в войн и в различных переговорах и договора заключавшихся во время и после войн Поэтому Нитти имеет возможность осве жить сухой разбор Версальского догово ра привнесением туда подчас очень мет ких характеристик целого ряда крупны фигур, сыгравших и еще играющих рол в Европейской политике, как, наприме Клемансо, Пуанкаре, Ллойд-Джордж Непосредственный участник той кухн где стряпались договоры громаднейше политического значения, Нитти име возможность остановить внимание чита теля на ряде закулисных подробносте Так, например, автор говорит, что ря важнейших статей договора был приня путем простого разговора между н сколькими вожаками конференции— Клемансо, Ллойд-Джордж и Гиманс (Бельгия).

Это же дает повод автору несколько выгородить итальянское правительство от ответственности за Версальский договор.

«Можно сказать, что договор был сформулирован между 24 марта и 7 мая: территориальные, финансовые, экономические и колониальные вопросы были решены в этот промежуток времени. Как раз в это время итальянские делегаты решили— в связи с вопросом о Фиуме—удалиться с конференции, куда потом вернулись без приглашения».

Выходит, что итальянское правительство неповинно в важнейших пунктах Версальского договора, но, согласно изложения Нитти, с таким же успехом и другие делегации—кроме французской—могут считать себя неповинными в Версальском грехопадении, ибо каждая из них интересовалась только своими требованиями в такой же мере, как итальянцы—Фиуме. Немудрено, что

...«наиболее важные решения... были приняты почти случайно»:

До Европы в целом, до ее мира, собственно, никому не было никакого дела. Этим пользовался Клемансо, который вновь и вновь требовал вознаграждения за убытки.

Это требование Нитти считает несправедливым, так как по его словам все государства одинаково были повинны в войне, и особенно—царская Россия. Именно с этой-то стороны и интересен автор. Он высказывает много довольно верных положений, раскрывает интимную сторону европейской политической кухни и по некоторым вопросам оказывается протестантом политики Антанты. Это касается и его анализа Версальского договора и выводов, говорящих о том, что пока существует Версальский договор, до тех пор мир есть собственно продолжение войны. При этом автор с полной убедительностью и искренностью доказывает, что виновницей такой войны под флером мира является Франция. Больше того, Пуанкаре, нынешний французский премьер, характеризуется, как человек ограниченный, весьма негибкий, шовинистический и попросту жадный. Здесь опять приходится пожалеть, что Муссолини недостаточно внимательно отнесся к предсказанию и анализу того, в президентском кресле которого он теперь сидит. Правда, выводы Нитти относительно гибельности Версальского договора не новы. Они высказывались не только коммунистами разных стран, но и буржуазными финансистами и экономистами (Кассель, Кейнс). Но никогда так определенно по этому вопросу не высказывались сами активные политики буржуазной Европы.

Если в книге Нитти отбросить его профессорски-буржуазную шелуху, которая в наших условиях и на страницах серьезной книги выглядит просто детским лепетом, то она окажется весьма полезной и подтверждающей много таких соображений, с которыми нельзя не согласиться. Вот, например, его рассуждения о государствах, образовавшихся на территории бывшей Российской Империи:

«За исключением Финляндии, все государства, возникшие на развалинах Российской империи, находятся в тяжелом положении... Латвия прямо погибает. Голод и туберкулез царствуют там, как во многих местах Польши и России. В Риге от голода и болезней погибли бесчисленные жертвы... В одном лишь убежище из 663 детей были 151 истощены, 229—золотушные, 66—анемичные, 217—рахитичные».

Отсюда автор делает вывод, что эти мелкие образования, нужные только Франции для ее барьера между Россией и Германией, обречены на гибель. О России у него не сведены концы с концами. С одной стороны там голод и болезни, с другой—

«Несмотря на свои ужасные недостатки сов. организация является сейчас единственно возможной политической системой. Пройдет еще много времени, прежде чем русский народ снова войдет в международную жизнь. Однако мы можем ускорить это, изменив коренным образом наше отношение к нему».

Отсюда у него вывод—начать немедленные и широкие экономические сношения с Советской Россией. Как истый буржуа, Нитти все-таки должен был провозгласить неминуемую гибель «коммунистического режима в России». Ведь по его словам выходит, что большевистская система—это «не столько революционный взрыв, сколько грубое насилие, поставленное на службу политической партии». Подобных навязок у автора очень много. Вот, например, еще:

«Россия в течение полустолетия, предшествовавшего войне, была, быть может, той страной Европы, которая

достигла наибольшего прогресса».

Это на странице 16, а рядом на странице 17:

«Три великих демократии—Великобритания, Франция, Италия являлись наиболее прогрессивными странами» (Курсив мой. А. А.).

Спрашивается, какие же страны были наиболее прогрессивными: «демократии» или «монархическая Россия»? «Демократ» Нитти запутался. Это судьба всех почти исследователей, которые честно подходят к исследованию положения, созданного в Европе войной. Нитти—экономист. Но буржуазное знание не может об'ять того конфликтного положения, которое создалось в гибнущей капиталистической Европе. Решение вопроса для Нитти заключается в том, чтобы уменьшить германский долг. А французские банкиры уже послали свои войска за Рейн взыскивать долги натурой...

А. А.

Акад. В. Стеклов. Ломоносов. Изд. Гржебина. 202 стр., 1921 г.

Евг. Замятин. Роберт Мейер. Изд. Гржебина. 72 стр., 1921 г.

Между новым и старым, между завтра и сегодня—вечная борьба. Борьба эта идет во всех областях человеческой жизни—в том числе и в науке; и в науке есть свое завтра и сегодня. Сегодняшнее—это все то, что уже устоялось, определилось, пользуется общим признанием, считается неоспоримым и непогрешимым. И вот эта-то вера в свою непогрешимость иной раз делает представителей «сегодняшней» науки элементом *консервативным, задерживающим бесконечное* движение науки вперед. Ведь, чтобы сделать шаг вперед, нужно что-то оставить позади, нужно усомниться в истинности сегодняшнего—а как же усомниться, если оно непогрешимо, как догмат католической церкви. И служители научной «католической церкви» часто не осмеливаются шагнуть вперед и топчутся на месте—пока не появится смелый научный еретик, научный «революционер», носитель научного «завтра».

Судьба научных еретиков—такая же, как и судьба еретиков религиозных. На еретика воздвигают гонение, еретика отлучают от непогрешимой «католической научной церкви», над еретиком издеваются. И часто только после смерти еретика—его идеи побеждают и оцениваются по достоинству. Еретиком был в XVI-м веке Коперник, положивший основание современной астрономии. Еретиком был и его продолжатель Галилей, осмелившийся учить, что земля вертится вокруг солнца — не взирая на непогрешимое, основанное на библии, учение католических астрономов о том, что солнце движется, а земля неподвижна. Еретиком был Джордано Бруно, провозглашавший бесконечность вселенной и множественность миров: его сожгли на костре. Еретиком был Фультон, заявивший, что он построил судно, которое движется без весел и паруса—пароход; над Фультоном смеялись. А между тем только еретиками, только отрицателями сегодняшнего, такого, как будто незыблемого и непогрешимого—жив мир; только еретики—открывают новые горизонты в науке, искусстве, социальной жизни; только еретики, отрицающие сегодня во имя завтра, являются вечным бродилом жизни, обеспечивают бесконечное ее движение вперед». (Замятин).

На первый взгляд может показаться странным, что сопротивление новой идее возникает, прежде всего, в кругу ближайших специалистов; а между тем, это так естественно вытекает из природы людских отношений. Жизни идей нет вне жизни людей. Они спаяны между собою. На идеях вырастают поколения, их исповедуют, на них строят свое миросозерцание и, наконец, более активные их проповедуют и развивают.

Торжество идей несет с собой торжество их носителя; гибель идей связана с удалением со сцены жизни их глашатаев. Но людям присущ инстинкт самосохранения. В этом, отчасти, таится корень консерватизма идей.

Признать новую идею—идею революционера—для многих равносильно при-

знанию своего банкротства, своего отмирания, своей ненужности. Предчувствие печальной судьбы своих духовных детей, которые должны уступить место молодым побегам, нередко неосознанная в связи с этим тревога за свой авторитет и положение, ведет к оппозиции и недружелюбному приему нового пришельца, прежде всего, в тех кругах, которые, как соработники по специальности, казалось должны были бы первыми правильно оценить вновь народившуюся мысль. Отсюда—голос народа: «Нет пророка в своем отечестве».

Замалчивают, протестуют и клевещут из самосохранения. Выделить кого-либо из своей среды, это значит принизить себя, так как человек измеряет свое положение не в абсолютных величинах, а в относительных. Выделить—это значит забыть о чувстве соревнования, которое остро развито в замкнутой среде. На великодушие же способны лишь люди, сохранившие юную любовь к своему делу. Таких немного.

В протесте более молодых не малую роль играет рабское доверие к авторитету старших.

Положение осложняется тем, что новая идея, за весьма редкими исключениями, идет из молодых уст.

Оствальд, опираясь на свой огромный опыт в области жизни великих, готов сделать вывод, что великая мысль, как правило, зарождается в голове лишь до 32-летнего возраста; в позднейшие же годы, когда кривая жизненных сил идет на убыль, она лишь развивается и шлифуется. В самом деле, лишь молодость обеспечивает воодушевление, которое нужно, чтобы совершать великие дела. Man muss jung sein um grosse Dinge zu tun,—сказал Гете. Как хорошо понятен вывод жизни физиологу и как трудно понять девиз Оствальда—«Дорогу юности!» руководителям старой общественности.

А вместе с тем, на психологической почве недоверия к молодым силам, опасения и зависти вырастает сначала сдержанное отношение, растет предубеждение, затем легко подхватывается сплетня, которая, как снежный ком, неудержимо растет, оплетая новатора.

Крупное начинание почти неизбежно влечет за собой не только холодный прием, но и реальные затруднения—«палки в колеса». Нередко прием выливается в отвратительную форму борьбы с их пропагандистом. И средства борьбы несут на себе след человеческого.

Противопоставление внешнему натиску сильной воли в защиту своих прав, попытку завоевать право на работу, если ее не дают без борьбы, быстро и злостно окрещивают честолюбием и карьеризмом. Эпигоны науки, не знающие, что такое страсть к любимому делу, что такое потребность в свободном развитии работы, быстро переводят непонятный им «язык воли к действию» на свой язык мещанского сословия, забывая, что «рожденный ползать летать не может».

В такой психологически нездоровой атмосфере суждено пробивать себе путь всему новому, всему, что противоречит привычному шаблону или задевает чувство соревнования и зависти. Всей тяжестью подобная обстановка обрушивается на нарушителя раз установившегося течения жизни, нередко губя его работу, его прав, его, как человека.

Даже тогда, когда идея становится на ноги, враги ее носителя сначала заявляют, что идея высказана и развита другими, что она, пожалуй, и имеет кое-что за себя; наконец, с нагло-наивной улыбкой говорят, что все это известно каждому и всякому, что доказывать ее глупо и наивно. Многие из великих познали и осознали эту судьбу, вот почему многим из них приписывается мысль: «судьбу открывших что-либо стараются сделать одинаковой: сначала уверяют, что открытие—вздор, а затем заявляют, что все это давно известно каждому дураку».

Все это тысячу раз повторялось и имеет повториться то в большом, то в малом масштабе.

Эти мысли упорно бороздят голову, когда читаешь страницы жизни Роберта Мейера и Ломоносова.

Е. [illegible] в красивой форме подводит итог жизни Мейера.

«У [illegible] мысли Мейера были мощные крылья, у него была богатая науч-

ная фантазия. Для него наука была не ремеслом, а страстью. В свою научную идею он был влюблен, это была его Прекрасная Дама, и потому его биография—это не обычная биография ученого, сводящаяся к перечню научных трудов, а целый роман, полный радостей и страданий, падений и под'емов, поражений и побед».

Любовь к дорогой ему идее люди провозгласили сначала сумасшествием, самовлюбленнием, затем внушали себе и ему, что идея эта не его, а других. Любовь его втаптывали в грязь, обессиливая его тупой, но дружной работой, и, наконец, упорную и протестующую волю загнали в смирительную сумасшедшую рубашку, надломив тем силы одинокого.

Как непохожа жизнь и судьба Р. Мейера на жизнь близкого ему по духу Михаила Васильевича Ломоносова, и как много в то же время в них общего.

Первый из них (Мейер) почти всю жизнь свою прожил в маленьком немецком городке Гейльбронне в кругу семьи своего отца-аптекаря, и семьи своей жены и тестя,—из торгового сословия. Второй—сын крестьянина деревни Болото-Денисовка, Архангельской губернии. Воля к жизни и знанию привела его в столицу и включила в число высшего ученого сословия страны,—в число членов Академии Наук.

Оба они двинулись против течения сложившихся традиций жизни и дерзнули иметь свои мысли в науке.

Оба должны были преодолеть рутину окружающей среды и выносить удары близоруких, подчас и подлых, людей.

Мысль обоих создала поразительные ценности. Но один из них не выдержал и его упорный дух был сломлен тупым упорством мещанской жизни, положив предел творческому взлету; другой, несмотря на все препятствия, интриги и грязь, располагая огромным запасом духовных сил, непосредственностью и прямотой сына земли, сохранил свое высокое положение творца до конца жизни.

200 страниц книги, посвященной Михаилу Васильевичу Ломоносову, выпукло рисуют могучую натуру, пробивающую своим путем поперек потоку жизни. Как много сил и какую веру в свое дело должен был иметь первый русский академик, чтобы преодолеть тьму окружавшей его рутины, тьму интриг, сплетаемых вокруг него коллегами «доброжелателями».

Ломоносов с верой в свою правоту и дело сам шел боем на шипящую, но трусливую среду: его натиск в защиту своих прав и прав дела иногда выливался даже в бурное избиение врагов.

Сильный верой в дело он нередко с успехом боролся с ненавидящими его за прямоту и талант.

И Мейеру и Ломоносову, Лобачевскому и Мечникову, даже тихому Фарадею и многим, многим, искренне преданным своему делу, ставили в вину их любовь *и страсть к рожденным ими идеям*. И готовность взять с боя свое право за развитие любимой идеи, когда им того не позволяли, клеймили честолюбием, карьеризмом, гордостью и прочими скверными словами, забывая, что своей упрямой тупостью, и часто непорядочностью, давали пищу самоуверенности (действие равно противодействию).

И, несмотря на тяжелые условия творчества великих, вера в свое дело спасала их от болота, а любовь к идее облагораживала самоуверенность. Как много говорят нам полные благородства слова из дневника Леонардо-да-Винчи по адресу его хулителей: «Я отлично знаю,—говорит он,—что некоторые высокомерные люди считают себя в праве хулить меня, указывая на мою необразованность, и только потому, что я не книжник. Безумные люди. Они не понимают, что я мог бы им ответить, как Марий римским патрициям: «Украшающие себя чужими, трудами не желают мне оставить плодов моего собственного труда». Они говорят, что я, не зная литературы, не в состоянии ясно говорить об излагаемых мною вопросах; они не понимают, что предметы, которыми я занимаюсь, зависят не от слов, а от опыта: опыт был учителем тех, кто хорошо писал, а я во всем именно его избрал себе наставником». Прочитайте любую из великих биографий и вы убедитесь, сколько гигантских сил должен иметь человек, сколько должен вынести больших и малых ударов, сколь-

ко должен преодолеть, чтобы создать и развить свое детище.

И не удивительно, когда гения определяют, прежде всего, как исключительной силы волю.

Только могучая воля к действию, могучий «рефлекс цели», может обеспечить великую работу.

Мы горячо приветствуем издание серии биографий великих естествоиспытателей издательством Гржебина (Галилей, Кеплер, Ломоносов, Мейер и др.) в проработке лиц, хорошо понимающих научное творчество (акад. Крылов, проф. Меньшуткин, Е. Замятин и др.).

Оствальд в своей замечательной книге «Великие люди» дал блестящие образцы анализа научного творчества на фоне условий жизни всего существа исследователя.

Серия, издаваемая Гржебиным, по тенденции к серьезному анализу продолжает, хотя и менее глубоко, дело Оствальда.

В ней отражаются образцы человеческого гения (в его прекрасных и искалеченных гранях); в ней есть элементы живого тела и духа больших людей. Общение же с большими делает больше тех, кто с ними соприкасается. Большая воля заражает слабую. Воле к жизни и действию нельзя научить, но ею можно заразить.

В этом крупное значение жизнеописания великих, если оно идет от тонко чувствующего и понимающего биографа, дающего гения в живом виде.

Мих. Завадовский.

«Ближе к природе». Биологическая станция юных натуралистов имени К. А. Тимирязева. 1918—1919 г.г. Вып. I и II, стр. 72 и 93, изд. 1921 года.

Две тонких брошюры—тетрадки весьма скромной внешности. Но вместе с тем это первые печатные документы одного из симпатичнейших начинаний, уже успевших получить широкую популярность среди московских педагогов и любителей природы.

Это—материалы, освещающие жизнь и деятельность станции юных любителей природы, организованной в 1918 году в Сокольниках под Москвою.

Первый выпуск открывается статьею заведующего станцией и ее организатора Б. В. Всесвятского, излагающего историю возникновения, характер, условия работы и идейные задания станции. Дальнейшее содержание выпуска, согласно основного принципа организаторов станции—строить свое существование на самостоятельной и активной работе юных членов станции,—составляется из наблюдений и докладов детей на воскресных собраниях станции. Здесь же дается живой пересказ годичного собрания станции, которое явилось большим событием всей жизни, как первая проба сил перед более широким кругом гостей и посетителей. И здесь центральное место занимают доклады юных натуралистов о своих наблюдениях над жизнью природы.

2-й выпуск целиком посвящен двум дневникам—мальчика Васи Р. 13 лет и девочки Тани В. 12 лет, которые с большой простотою и искренностью повествуют о всем том ценном, что дает ребенку близкое соприкосновение с живою природою.

Следует пожелать, чтобы этот и последующие выпуски нашли себе самое широкое распространение среди педагогов на необ'ятных пространствах России. Особенно важно это именно сейчас, когда наша школа, сломав так много старых устоев, мечется в поисках новых путей строительства, и когда проводимая станцией идея сближения с природой является чуть ли не первой реальной попыткой в этом направлении, осуществляемой столь планомерно и полно.

Конечно, как и во всякой попытке, можно и здесь найти те или другие стороны, вызывающие известные сомнения или чувство неудовлетворенности. Можно предвидеть еще не малые трудности на путях развития станции по мере перехода ее питомцев из детского в отроческий и юношеский возрасты, когда от руководителей потребуется еще новые напряжения и свои особые приемы и методы работы. Но эти вызывающие сомнения пункты и возможные трудности

неизбежны во всяком живом деле и незначительны по сравнению с тою суммою полезных достижений и ценного опыта, которые дает станция для новых начал школьного строительства. И, если это, конечно, не все, в чем нуждается школа, то это все же очень многое и составляющее к тому же свое самостоятельное и самодовлеющее значение.

Еще несколько слов о внешних качествах издания.

Эти выпуски, задуманные еще в 1919 году, появились в свет лишь в 1921 году. При этом задуманный первоначально большой сборник по техническим соображениям пришлось разбить на три выпуска, из коих третий выпуск и по сих пор не вышел из печати. А вместе с тем в редакционном предисловии говорится, что в тех пор станция накопила много нового материала, который также ждет своего места.

Наконец, по техническим же условиям пришлось отказаться в последний момент от помещения в рецензируемых выпусках фотографий, иллюстрирующих жизнь станции.

Обо всем этом приходится горько пожалеть: мы все так много говорим о новых устоях школы и так любим ссылаться на примеры западных лесных «образцовых» школ. А когда у нас же под боком возникают такие нужные и симпатичные начинания, которые своими путями на деле осуществляют те же принципы и ищут способов поделиться своим опытом с широкими кругами русских школьных работников, мы не умеем во время оказать им поддержку и дать возможность достаточно прилично издать свои материалы, в которых мы так нуждаемся.

Б. Завадовский.

Mermeix. Le combat des Trois. (Битва трех). Paris 1921, изд. Ollendorff.

«Битва трех»—составляет шестой том «фрагментов из истории 1914—1919 г.г.» и посвящена мирной конференции в Версале. «Трое», это — Вильсон, Ллойд-Джордж и Клемансо.

Если судить по подзаголовку, автор ограничил свою задачу отдельными заметками и приведением официальных документов. Однако на деле его книга, не будучи подробной и исчерпывающей историей конференции, охватывает все существенное, что на конференции происходило. Она содержит в себе прежде всего характеристику различных делегаций, политическую столько же, сколько и психологическую. Автор хорошо знаком со всеми выдающимися персонажами и ему удалось выявить и подчеркнуть политическую физиономию каждого из них. Далее, большое место занимает в книге описание столкновений и расхождений между делегациями, важнейших разногласий, наиболее характерных эпизодов. Первое же столкновение произошло по вопросу о принятии французского языка, как официального языка конференции, и допущении на заседания представителей прессы. В дальнейшем наиболее существенные разногласия касались вопросов об единстве Германии, о судьбах Рейнской и Саарской области, о Верхней Силезии, о репарациях, о сношениях с Советской Россией. Книга Mermeix освещает некоторые детали этих дебатов, которые до сих пор остались неотмеченными. В частности она с подробностью останавливается на попытках Фоша и Клемансо аннексировать левый берег Рейна—попытках, натолкнувшихся на решительное сопротивление Ллойд-Джорджа и Вильсона. Английский и американский империализм, несмотря на все их разногласия по вопросу о господстве над морями и над нефтью, об'единились в протесте против создания новой Эльзас-Лотарингии, на этот раз германской.

«Битва трех» принадлежит перу французского националиста, защитника политики Клемансо, Фоша и Пуанкаре. Автор в некотором роде официальный историк французского империализма и милитаризма. Тем не менее книга его представляет интерес как материал для изучения всех перипетий Версальской конференции, равно как и всей той эпохи европейской истории, начало которой этой конференцией положено.

—

Pierre Albin—La vraie figure de la France (Истинное лицо Франции). Париж 1922. Издание Sorène.

Французская политическая жизнь все еще руководится людьми, продолжающими традицию Клемансо—героями национального блока. Однако даже в среде французской буржуазии все чаще слышатся предостерегающие голоса и все заметнее становится течение, которое противопоставляет крайнему империализму национального блока свой пацифизм—во внешних сношениях и радикализм—в социальных вопросах. Автор этой книги вместе с Гастоном Жез и Жозефом Кайо является видным представителем этого последнего течения. Пьер Альбен занимается преимущественно вопросами финансов и социального законодательства. Настоящая работа его представляет собой развитие идей, уже содержавшихся в книге, выпущенной им анонимно в 1920 г. под заглавием: «Будет ли у нас революция?».

Раскрыть истинное лицо Франции автор пытается путем тщательного анализа всех элементов, из которых слагается страна и нация, всех факторов и сил, которые определяют собой социальную эволюцию Франции. Этот анализ основывается преимущественно на статистических данных довоенного времени. Вследствие отсутствия соответствующих данных применительно к послевоенной эпохе, автор считает возможным определить современное положение той или иной области французского хозяйства или французской жизни лишь путем характеристики ее довоенного состояния и путем попытки установить, в какой именно мере и в каком направлении война это положение изменила. Пользуясь этим методом, автор анализирует распределение населения на классы и на профессии, распределение народного дохода, географическое и экономическое соотношение различных районов.

Этим путем Альбен приходит к определению «истинного лица» Франции, с которого сдернута маска блефа и империализма. В последней главе он формулирует свой основной вывод в области финансовой политики. «Война автоматически обогатила некоторую часть нации, увеличив ее долю национального продукта за счет доли других групп. Это перераспределение сравнительной доли различных элементов населения в национальный доход Франции является важнейшим социальным последствием войны. Очередная задача—найти и определить эти привилегированные категории граждан и обратить против них весь фискальный арсенал государственной власти».

William Macdonald. A new Constitution for a New America. New York B. W. Huebsch 1921. (Новая конституция Новой Америки).

Макдональд—радикал, известный специалист по истории конституционного права. Он подвергает конституцию Соединенных Штатов беспощадной критике. Соединенными Штатами управляет отнюдь не народ. Всеобщее избирательное право, вследствие недостаточной гибкости избирательной системы, не отражает общественного мнения в полной мере. С другой стороны конституция Соед. Штатов построена на принципе дуализма и между законодательной и исполнительной властью—постоянный раздор. Наконец, федеральные суды пользуются властью, которая не поддается контролю. В конечном счете правительство—безответственно. Результатом такого положения вещей является гипертрофия политической жизни за счет экономических и социальных нужд. «Америка переживает опасную эпоху, — подчеркивает Макдональд, — надо поспешить с пересмотром конституции пока борьба классов не превратилась в открытую революцию и ограждение интересов всего народа в его целом не стало немыслимым.

Макдональд, разумеется,—не более как буржуазный радикал. Его конкретные предложения, поэтому, чрезвычайно умеренны—еще более умеренны, чем приведенная выше критика существующих порядков. Кроме того, будучи специалистом по конституционному праву, он проявляет склонность к несколько формальному взгляду на вещи и недостаточно освещает, например, вопрос о роли тре-

стов. Главнейшие изменения, которые он предлагает внести в конституцию, суть: выборы федерального президента, равно как и федеральных судей прямым народным голосованием (в настоящее время президент выбирается двухстепенным голосованием), ответственность министров перед конгрессом, референдум для федеральных законов, контроль центральных властей над промышленностью, деловым миром и натуральными богатствами.

Книга содержит в виде приложения текст конституции Соединенных Штатов со всеми дополнениями, принятыми за период с 1791 по 1920 год.

I. A. Hobson. Incentives in the new Industrial Order. (Стимуляция при новом промышленном порядке). Лондон 1922. Изд. Parsons Zig, стр. 160. 4 ш. 6 пенс.

Видный английский радикал Гобсон, автор известной книги «Problems of the new World» в своем последнем труде задался целью подвести под исповедываемые им буржуазные радикально-либеральные принципы некий психологический базис. Он одновременно разрывает с постулатом фритредерства, утверждающего преобладание и социальную «достаточность» экономических, стяжательных мотивов и с убеждением гильдейских социалистов, что сознание общественного значения работы заставит людей работать еще лучше, чем при прежнем стимуле наживы или страха. Гобсон предлагает национализовать основные отрасли промышленности—таким образом, все, кто ощущает тяготение к работе непосредственно на пользу общества, получат то, чего они хотят. С другой стороны, он хочет оставить значительную область для предприимчивости и стяжания, приняв, впрочем, целый ряд мер для обеспечения рабочих против «выжимания пота» и эксплоатации. Он возражает против гильдейской организации общества и отстаивает «суверенитет потребителя». Вместе с тем он оспаривает построения гильдейских социалистов с точки зрения психологических постулатов. По его мнению, социалисты недооценивают роль эгоистического порыва в человеческом общежитии.

В общем и целом книга Гобсона стоит посредине—между старой школой свободной игры эгоистических интересов и новыми социалистическими учениями.

А. К.

Издатель: Государственное Издательство. Ответственный Редактор: *А. Воронский.*

Члены Редакц. Коллегии *Л. Бубнов.* *В. Смирнов.*

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
М. Горький. Автобиографические рассказы.	3
Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер. Стихи.	44
Алексей Толстой. „Аэлита". Роман (продолжение).	52
С. Обрадович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов. Стихи	92
Николай Огнев. „Евразия". Повесть.	101
Всев. Иванов. „Голубые пески". Роман (продолжение)	127
А. С. Мартынов. Мои украинские впечатления и размышления	146
Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая.	177
В. Смирнов. Наше денежное обращение и пути его оздоровления.	189
С. Членов. Современный Берлин. (Впечатления)	201
И. Майский. Демократическая контр-революция (продолжение).	214

Внутри Сов. России.

Вяч. Шишков. „С котомкой" (окончание)	235

За рубежом.

М. Павлович. Рурские события и угроза будущей войны	259
П. Китайгородский. Власть нефти.	269
Н. Бухарин. По скучной дороге. (Ответ моим критикам)	275

Литературные края.

А. Воронский. Литературные заметки.	290
М. Левидов. Организованное упрощение культуры.	306
Э. Кржижин. История одного отречения.	319

Библиография.

Рецензии *Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Шанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.* и др.	326
Объявления.	353